Институт лингвистических исследований РАН

Языковые изменения в условиях языкового сдвига

Сборник статей

Языковые изменения в условиях языкового сдвига

Институт лингвистических исследований РАН

Языковые изменения в условиях языкового сдвига

Сборник статей

Отв. ред. Н. Б. Вахтин

Санкт-Петербург

2007

УДК : 801

ББК : 81

Языковые изменения в условиях языкового сдвига / Институт лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Б. Вахтин. СПб.: Нестор. 2007. – 307 с. – ISBN 5-98187-197-0

Утверждено к печати Ученым советом ИЛИ РАН

ISBN 5-98187-197-0

Издание подготовлено при поддержке Гранта РГНФ (№ 05-04-04269а) в рамках проекта «Языковые изменения в условиях языкового сдвига (на материале языков малочисленных народов России)» и осуществлено при поддержке Программы президиума РАН

Оригинал-макет подготовлен
в Институте лингвистических исследований РАН



Содержание

Введение

С 30 сентября по 2 октября 2005 года в Институте лингвистических исследований РАН в Петербурге прошла Международная конференция «Языковые изменения в условиях языкового сдвига» [1]. Задачей конференции было рассмотреть последствия, которые имеет для структуры языка ситуация *языкового сдвига*, то есть ситуация постепенной утраты общностью этнического языка и перехода на другой (обычно доминирующий) язык.

Процесс языкового сдвига, как известно, включает ряд стадий: вначале возникает ситуация, когда этот сдвиг становится возможным (обычно это стадия группового двуязычия), затем языковая общность или чаще некоторые ее слои начинают постепенно предпочитать доминирующий язык; функции титульного языка сокращаются, он все более и более выходит из употребления, и наконец остается всего несколько человек, которые его помнят, общность же им практически не владеет и не пользуется. В пределе этот процесс может привести к *языковой смерти*.

Если грубо разделить этот процесс (который может занимать от одного-двух поколений до нескольких сотен лет) на три фазы – начало, середину и конец – то очевидно, что эти фазы значимы для собственно лингвистического анализа не в равной степени.

Относительно воздействия на структуру языка *начальных* этапов сдвига обычно ничего сказать нельзя, поскольку в этот период сам факт сдвига еще неочевиден. Последствия для языковой системы титульного языка в этот период неотличимы от последствий обычных, "неэкстремальных" (Hock 1986) ситуаций языковых контактов.

Финальная стадия сдвига также оставляет не очень много возможностей для рассуждений на интересующую нас тему: в этом случае число

---

[1] Конференция финансировалась из гранта РГНФ 05-04-14038г, 2005 г. В Оргкомитет конференции входили Н.Б. Вахтин, К.В. Викторова, Е.В. Головко, М.З. Муслимов, А.М. Певнов. В подготовке настоящего издания активно участвовала В.В. Баранова.

носителей языка крайне ограничено, а число одноязычных носителей, как правило, равно нулю; что касается изменений в языковой системе, то их зачастую невозможно отделить от особенностей индивидуальной утраты языка (language attrition).

Остается *средняя* фаза – ситуация, когда этнический язык еще в той или иной мере используется, но структура доминирующего языка уже оказала на него (необратимое?) воздействие. Именно эта фаза и была основным объектом рассмотрения на прошедшей конференции.

Было проведено и еще одно разграничение: между ситуациями "чистого" языкового сдвига и смежными и сходными ситуациями, такими как "язык в диаспоре". Если в первом случае у языковой общности, находящейся в той или иной фазе языкового сдвига, нет никаких возможностей контакта со своим родным языком в "непотревоженном" состоянии, и забвение общностью своего языка практически означает его исчезновение, то во втором у "островной" общности возможность контакта с "материковым" языком – через письменные источники, газеты, радио, телевидение – хотя бы теоретически сохраняется. А это, в свою очередь, не может не оказывать влияния на лингвистические процессы в языковой системе: неясно, как отличить фрагменты системы, *сохранившиеся* несмотря на давление доминирующего языка, от фрагментов, которые оказались *восстановленными* (сохраненными) в результате вторичного влияния "материкового" языка. На конференции нас интересовала прежде всего ситуация сдвига в условиях отсутствия контакта с "материковым" языком, а не ситуация "языка в диаспоре" с ее различными вариантами индивидуального (language attrition) или коллективного забвения языка.

На конференции рассматривались прежде всего лингвистические, а не социолингвистические аспекты языкового сдвига; социолингвистическая информация, конечно, привлекалась, но лишь как фон, как подтверждение наличия самой ситуации сдвига; основной акцент был сделан на описание фрагментов языковой системы.

Перед началом конференции участникам был разослан примерный список тем:

Существуют ли лингвистические признаки прекращения воспроизводства языка? Момент прекращения воспроизводства языка, то есть момент, когда поколение детей перестает выучивать его как родной, довольно легко устанавливается социолингвистическими методами. Однако не исключено, что и в языковой системе можно найти индикаторы этого состояния языка – например, исчезновение морфологических моделей или синтаксических конструкций, которые усваиваются детьми на сравнительно поздних стадиях освоения языка; или некие фонологические изменения в этническом языке под влиянием доминирующего; или появление какого-либо особого типа лексических заимствований.

Какие можно предложить критерии различения между изменениями в языковой системе *versus* изменениями в речевой практике? Отсутствующее в языковой системе титульного языка, но присутствующее в системе языка доминирующего грамматическое явление, или звук, или словоформа, когда они употреблены информантом – что это: переключение кодов? смешение кодов? или это явление можно считать вошедшим в языковую систему? В какой момент окказиональные изменения в речевой практике говорящих становятся – и всегда ли становятся – характеристиками новой изменившейся языковой системы?

Есть ли отличия в том, как заимствуются слова, морфологические и синтаксические элементы при языковом сдвиге по сравнению с другими контактными ситуациями?

Например, известно, что одни части речи заимствуются более свободно, чем другие. Будет ли меняться шкала доступности заимствований (borrowability scale) в конкретном языке в зависимости от того, на какой стадии языкового сдвига он находится? Другой вопрос, связанный с заимствованиями, относится к проценту заимствуемых слов и элементов. Есть ли связь между количеством заимствований в язык и степенью языкового сдвига? Существуют предположения о влиянии

типологических характеристик контактирующих языков на процесс заимствования и отбор заимствуемых элементов. Какие свидетельства в поддержку или в опровержение этой гипотезы можно найти в ситуациях языкового сдвига?

Каковы особенности дублетного функционирования заимствованных и исконных элементов в лексике, морфологии, синтаксисе, фонетике? Опять-таки, речь идет о лингвистических, а не о социолингвистических особенностях процесса языкового изменения: если для лексики этот вопрос, как кажется, решается довольно просто, то одновременное существование в языке, находящемся в процессе сдвига, старых и новых морфологических и синтаксических конструкций, их дистрибуция, новое распределение между ними грамматических значений может представлять интерес.

В конференции приняли участие лингвисты из России, США и Финляндии, прежде всего – специалисты по языкам малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Общими усилиями участникам конференции удалось сделать пусть небольшой, но шаг вперед в изучении этой интересной и важной для современной лингвистике проблематики.

* * *

В результате конференции удалось, как кажется, существенно уточнить поставленные организаторами методологические рамки темы "Изменения языка в условиях языкового сдвига".

Прежде всего, "сдвиг" и "изменения языка" – это понятия разных уровней, разных планов. Если "изменения" относятся к структурной области ("внутренней лингвистике") и могут изучаться без каких-либо отсылок к носителям языка, то "сдвиг" – понятие преимущественно социальное, социолингвистическое, и не существует без и вне языковой ситуации.

Далее, само понятия сдвига должно интерпретироваться скорее как процесс, чем как одномоментное явление. Это в первую очередь отно-

сится к структурным результатам сдвига, хотя касается и его хода, его социолингвистической сущности. Термин "языковой сдвиг", таким образом, целесообразно использовать только в его каноническом значении: *языковая ситуация, когда поколение родителей перестает передавать язык детям, поколение детей стремится полностью перейти на другой ("доминирующий") язык, и родители поддерживают их в этом стремлении.*

Этот процесс может занять более одного поколения, что означает, что поколение "детей" может не просто утрачивать исходный язык и переходить на доминирующий, но что в его языковом репертуаре исходный и доминирующий языки могут некоторое время сосуществовать, меняясь местами: доминирующий начинает чаще использоваться, исходный становится функционально вторым, его структура забывается, изменяется, упрощается. Именно эта фаза сдвига и является основным предметом нашего внимания.

Мы усомнились (что кажется нам довольно продуктивным) в том, может ли языковой сдвиг быть *причиной* структурных изменений, или следует скорее говорить о том, что сдвиг создает *условия*, в которых контактные явления и естественные изменения происходят быстрее, ярче и нагляднее, чем в "обычных" контактных ситуациях.

Мы убедились (в очередной раз), что достаточно непросто отделить языковые изменения, происходящие под влиянием языкового сдвига, от "обычных" контактных явлений и от явлений, вызванных внутриструктурными изменениями языка. Общим в этих процессах в предложенных обстоятельствах является их высокий темп, который делает задачу размежевания этих явлений еще более сложной, если вообще решаемой. Все зафиксированные нами примеры языковых изменений сводятся к контактным явлениям; языковые контакты, в свою очередь, являются условием сдвига – необходимым, но не достаточным. Интенсивные языковые контакты могут привести к сдвигу – но могут и не привести.

Мы убедились, что даже быстрые и бурные изменения структуры языка, вызванные контактом, не обязательно приводят к языковому

сдвигу: важным понятием, сформулированным на конференции А.М. Певновым, представляется понятие "прерванного сдвига". В этом случае исходный язык, вступив в контакт с доминирующим, начинает отходить на второй план, забываться, его система начинает меняться под воздействием доминирующего – однако затем социолингвистическая ситуация меняется, и носители вновь полностью возвращаются к исходному языку, оставляя доминирующий в качестве второго или вовсе отказываясь от него. В структуре языка при этом остаются некие следы этого процесса, которые можно (или нельзя?) выделить и описать. Понятие "прерванного сдвига" может, следовательно, оказаться полезным для анализа явлений, которые, возможно, происходили в том или ином языке в прошлом.

Важным выводом, сформулированным на конференции, является идея, что до тех пор, пока в языке происходят системные изменения, язык остается жизнеспособным: говорить о его необратимом исчезновении можно только тогда, когда начинаются хаотические, несистемные, идиолектные изменения, не поддающиеся ни структурному, ни статистическому описанию.

* * *

Предлагаемый вниманию читателей сборник состоит из двух частей: (1) теоретической, где представлены статьи, хотя и опирающиеся на вполне конкретные материалы, но имеющие скорее общетеоретический характер, и (2) практической, в которой представлены статьи, анализирующие материал конкретных языков.

Первая часть. В статье **Е.Ю. Груздевой** рассматриваются вопросы, которые наиболее активно обсуждаются в современной контактологии в связи с исследованием утраты языка (language attrition, языковая аттриция), а именно: какова природа языковой аттриции, каких говорящих следует считать “носителями” аттриционных явлений и какие языковые изменения могут быть источниками этих явлений. В рамках последней темы анализируются несколько гипотез, по-разному трактующих значимость различных типов языковых изменений при возникновении ат-

трициии, и под этим углом зрения исследуется противопоставление контактных и внутриструктурных изменений, а также разграничение контактных изменений и изменений, связанные с утратой языка. Кроме того, в статье подробно изучаются лингвистические признаки аттриции и на материале различных языков показывается, какие редукционные явления могут наблюдаться на тех или иных языковых уровнях.

В статье **К.В. Викторовой** предложен один из возможных способов отличать то, что *является* языковым сдвигом, от того, что им *не* является. Автор разграничивает *языковой сдвиг* как процесс, в результате которого язык может стать мертвым языком, и *языковую смерть* как результат этого процесса и отмечает, что неразличение процесса и результата методологически неточно. Интерпретация ситуации как ситуации языкового сдвига часто опирается на представления исследователя о перспективах ее дальнейшего развития, т.е. о ненаблюдаемом будущем данного языка: исследователь *прогнозирует* исчезновение языка и, исходя из этого прогноза, называет происходящие с языком процессы языковой смертью. Более эвристичным представляется подход, при котором определение социолингвистической ситуации как ситуации языкового сдвига производится на основании *наблюдаемых проявлений* этого процесса, а не на основании их экстраполяции в будущее. Автор делает вывод, что развитие процесса языкового сдвига обусловлено воздействием двух факторов: *доступа* к языку и *языковых установок* говорящих. Под доступом понимается возможность участвовать в коммуникации на данном языке, под языковыми установками – всевозможные проявления эмоционально-оценочного отношения к языку. Эти два фактора в разных ситуациях могут принимать разнообразные формы, сочетаться в различных конфигурациях и могут быть детально охарактеризованы лишь для конкретной ситуации.

Статья **С.А. Бурлак** посвящена попытке ответить на ряд вопросов, возникающих при исследовании процессов сдвига, с позиции компаративистики. Перечислим только некоторые из них. *Вопрос о степени интенсивности контактов*: с какого момента контакт становится достаточно интенсивным, чтобы все подсистемы языка стали проницаемы-

ми для влияния? Автор отмечает, что классическая компаративистика не только не имеет ответа на этот вопрос, но даже, по сути, не ставит его: сама ее идеология видит контакты не как неотъемлемую часть существования языка, а лишь как некую помеху для исследования. *Вопрос о том, чем является сходство между языками – результатом родства или результатом контактов?* Этот вопрос чрезвычайно важен для теории компаративистики, и обращение к современным материалам по языковым изменениям в условиях сдвига оказывается для этой области знаний крайне полезным: наблюдая контакты языков с известной генетической принадлежностью, пишет автор, мы можем сравнительно легко отделить исконные черты от черт, возникших в результате взаимодействия с другими языками; накапливая соответствующий материал, можно более полно, четко и аргументировано сформулировать обобщения относительно того, какие сферы языка более, а какие менее проницаемы для контактного влияния, что даст возможность делать обоснованные выводы относительно языков, история которых неизвестна. *Вопрос о соотношении контактов и конвергенции* также крайне важен для компаративистики: и здесь обращение к материалу современных языков – именно они способны пролить свет на то, могут ли контакты привести к реальному смешению языков, и если да, то при каких условиях. В статье также обсуждаются такие вопросы, как поправка на контакты про построении генеалогического древа; контакты как причина языковой дивергенции; контакты и реконструкция праязыка.

В статье **А.М. Певнова** подчеркивается исключительная важность понятия «степени владения языком». Автор утверждает, что *система* исчезающего языка вряд ли меняется сколько-нибудь существенно, однако у поколения детей по сравнению с поколением родителей, а также поколением дедушек и бабушек заметно снижается степень владения этой системой в *речевой деятельности*. Не только смешение кодов, но и недостаточное владение языком не следует принимать за происшедшие в его системе изменения. Автор вводит понятие «прерванного, или отмененного сдвига» языка, т.е. несостоявшейся по тем или иным причинам или происшедшей фрагментарно смены одного родного языка дру-

гим. Имеется в виду первоначальное развитие языковой ситуации в направлении сдвига, который был «отменен» вследствие благоприятного для исчезающего языка изменения этой ситуации. Одним из результатов «прерванного сдвига» может оказаться, по мысли автора, возможность фрагментарной смены языка или, иначе говоря, возможность возникновения смешанных языков.

Во второй части книги собраны статьи, описывающие различные этапы и параметры языковых изменений под воздействием (или в условиях) языкового сдвига на материале конкретных языков. **Ленор Гренобль** посвятила свою статью описанию двух проблем в изучении процессов лингвистического сдвига: (1) проблеме различия между переключением кодов и заимствованием лингвистических структур; и (2) проблеме «стилистического сокращения» на материале эвенкийского–русского языкового контакта. **А.И. Кузнецова** исследует языковую вариативность как один из факторов расшатывания языковой системы в процессе языкового сдвига (на примере селькупского языка). **Т.Б. Агранат** рассматривает на примере водского языка вариативность и аттрицию словообразовательных суффиксов. **Н.Б. Вахтин** на материале эскимосского языка показывает, как по-разному в условиях сдвига может развиваться система грамматических времен под влиянием двух разных доминирующих языков – русского и английского. Во второй статье **Е.Ю. Груздевой** обсуждаются проблемы разграничения и взаимодействия различных типов языковых изменений и под этим углом зрения анализируются отдельные лексические, фонологические и грамматические процессы, наблюдаемые в настоящее время в речи двуязычных носителей восточно-сахалинского диалекта нивхского языка. Статья **Е.А. Хелимского** посвящена кардинальным изменениям в фиксировавшемся при полевых исследованиях фонетическом облике слов в лесном диалекте энецкого (енисейско-самоедского) языка, происшедшими в период в условиях быстрой утраты этим языком своих позиций. **М.З. Муслимов** рассматривает в своей статье явления, связанные с изменениями в ходе языкового сдвига в близкородственных языках и диалектах Западной Ингерманландии (водский, ижорский, финский, эстон-

ский), прежде всего в области морфонологии и морфологии. Автор демонстрирует интересную методику анализа языкового сдвига на фоне сближения близкородственных языков. Наконец, в статье **Е.В. Перехвальской** рассматривается два типа сдвига в Приморье, первый из которых начался еще в середине XIX века под воздействием китайского языка и был прерван в середине XX века, а второй начался в 1930х годах под воздействием русского и привел к практически полной утрате тунгусо-манчжурских языков, прежде всего удэгейского. Автор показывает, что многие языковые черты, которые отличают южные диалекты удэгейского языка от северных, обязаны своим появлением «прерванному сдвигу» под влиянием китайского языка.

Общий список цитированной литературы ко всем статьям приведен в конце книги. Там же дан список всех языков, о которых идет речь в статьях сборника.

Мы надеемся, что публикуемый сборник будет полезен всем, кого интересуют процессы языковых изменений и, в частности, языковые изменения в экстремальных условиях.

Н.Б. Вахтин

Часть 1

Е. Ю. Груздева [1]

Языковая аттриция в системе языковых изменений

1. Введение

Языковая аттриция, языковая регрессия (De Bot and Weltens 1991), языковая эрозия (Kravin 1992, Smolicz 1992) или "разрушение" языка, наблюдается либо в речи двуязычных или многоязычных говорящих, либо у больных, страдающих различными языковыми патологиями. Аттриция может развиваться индивидуально, у отдельных носителей языка, но может охватывать и целые языковые коллективы, может происходить как в традиционных, так и в иммигрантских сообществах.

В последние тридцать лет аттриция является уникальным полем для тестирования различного рода лингвистических теорий и гипотез. Она изучается с психолингвистической, нейропсихологической, биокультурной, социолингвистической и лингвистической точек зрения, в том числе в связи с проблемами билингвизма / мультилингвизма, языковых контактов, утраты и сохранения языка (см., напр., Lambert and Freed 1982, Weltens et al. 1986, Dorian 1989, Seliger and Vago 1991b, Brenzinger 1992, Fase et al. 1992, Kenny 1996, Maffi 2001, Schmid et al. 2004, Janse and Tol 2003, Heller-Roazen 2005).

Целью настоящей статьи является рассмотрение лингвистических аспектов языковой аттриции, наблюдаемой в речи здоровых носителей языка. При этом основное внимание уделяется аттриционным процессам, характерным для речи говорящих из традиционных языковых коллективов, находящихся в процессе перехода на другой язык.

[1] Ekaterina Gruzdeva, Department of General Linguistics, P.O. Box 9 (Siltavuorenpenger 20 A), FI-00014 University of Helsinki, Finland. gruzdeva@ling.helsinki.fi

В статье рассматриваются вопросы, которые наиболее активно обсуждаются в связи с исследованием языковой аттриции, а именно: какова природа языковой аттриции (раздел 2), каких говорящих следует считать "носителями" аттриционных явлений (раздел 3) и какие языковые изменения могут быть источниками этих явлений (разделы 4–6). В рамках последней темы анализируются несколько гипотез, по-разному трактующих значимость различных типов языковых изменений при возникновении аттриции (раздел 4), и под этим углом зрения исследуется противопоставление контактных и внутриструктурных изменений (раздел 5), а также разграничение контактных изменений и изменений, связанные с утратой языка (раздел 6). Кроме того, в статье подробно изучаются лингвистические признаки аттриции и на материале различных языков показывается, какие редукционные явления могут наблюдаться на тех или иных языковых уровнях (раздел 7). В заключении (раздел 8) формулируются основные положения, рассмотренные в статье, и намечаются перспективы дальнейшего изучения исследуемой проблематики.

2. Природа языковой аттриции

Пытаясь объяснить возникновение языковой аттриции на индивидуальном уровне, исследователи обращаются по крайней мере к двум различным по своей природе когнитивным процессам, один из которых может быть в целом охарактеризован как утрата языка (см. 2.1), а другой — как недостаточное овладение языком (см. 2.2). Несмотря на очевидную несхожесть этих процессов, между ними не всегда проводится различие. Это происходит, вероятно, в силу того, что их результаты довольно близки между собой: в обоих случаях менее компетентный говорящий демонстрирует большое количество заимствований из другого языка и утрату каких-то фрагментов языковой системы по сравнению с более компетентным носителем языка. Тем не менее, противопоставление указанных процессов представляется существенным как при определении степени аттриции, так и при анализе конкретных явлений, наблюдаемых в речи говорящих.

2.1. Аттриция как процесс утраты языка

В соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, языковая аттриция – это по крайней мере частичная утрата говорящим контроля над родным языком (далее – язык L1), которая происходит обычно в результате интенсивных контактов с другим языком или языками.

Контактная ситуация может быть стабильной, но может привести и к языковому сдвигу, то есть к полному переходу говорящего с языка L1 на какой-либо другой известный ему язык (далее – язык L2). В результате массового перехода языкового коллектива с языка L1 на язык L2 первый может полностью прекратить свое существование. В этой связи М. Клайн предлагает различать частичную и тотальную языковую аттрицию, используя последний термин для указания на полную утрату языка (Clyne 1992: 18).

Как правило, аттриционные явления возникают в речи говорящих при отсутствии достаточной коммуникации на родном языке. Р. Андерсен формулирует это положение в виде следующей гипотезы: "Использование языка X некомпетентным говорящим (LA = language attriter) будет значительно ограничено по сравнению с использованием того же языка компетентным говорящим (LC = linguistically competent) и предшествующим использованием языка X говорящим LA в то время, когда он был LC говорящим (если он действительно когда-либо был таковым)" (Andersen 1982: 91).

Другой причиной возникновения аттриции, которая непосредственно связана с первой, является, по мнению Андерсена, прерывание языковой традиции (break in linguistic tradition). Это означает, что, по сравнению с компетентным говорящим, некомпетентный говорящий демонстрирует меньшую приверженность языковой норме (Там же).

Предполагается (ср., например, De Bot and Weltens 1991, 1995), что аттриции может подвергаться не только родной язык говорящего, но и второй, обычно освоенный позднее, язык. При этом существенным признаком является то, какой язык, L1 или L2, является доминирующим в том или ином языковом коллективе. На этом основании различаются

четыре типа языковых ситуаций, в которых может развиваться аттриция, ср. (i–iv):

i. утрата языка L1 в окружении языка L1 (например, утрата родного языка людьми старшего поколения);
ii. утрата языка L1 в окружении языка L2 (например, утрата родного языка языковым меньшинством);
iii. утрата языка L2 в окружении языка L1 (например, утрата второго языка, выученного в школе);
iv. утрата языка L2 в окружении языка L2 (например, утрата второго языка иммигрантами).

Традиционно наибольшее внимание исследователей было направлено на изучение аттриции, характерной для родного языка говорящего в условиях доминирования какого-либо другого языка, то есть случая (ii). Такого рода ситуация характерна либо для традиционных языковых коллективов, оказавшихся в силу исторических причин под давлением какого-либо другого языкового коллектива, либо для иммигрантских сообществ.

Хотя указанные языковые ситуации и различаются между собой, имплицитно предполагается, что в основе всех перечисленных случаев лежит общий процесс изменения от более "качественного" состояния языка к его менее "качественному" состоянию, то есть процесс, при котором происходит определенная "усадка" языка (language shrinkage). По сути дела, в чистом виде этот процесс можно было бы проследить только в индивидуальной речи носителей языка на разных этапах их жизни, однако обычно имеются в виду изменения, происходящие в языке на протяжении жизни нескольких поколений его носителей.

2.2. Аттриция как результат недостаточного овладения языком

К другому типу аттриции относится несовершенная языковая компетенция говорящего, которая возникает в результате исходного недостаточного овладения этим языком, ср. понятие "imperfect learning", используемое в работе (Trudgill 1983: 124–126). Здесь возможны по крайней мере два случая.

Во-первых, говорящий может недостаточно овладеть языком, который является родным для представителей предшествующих поколений и на котором последние говорят или говорили в совершенстве. Такое “недоовладение” языком происходит в силу нарушения естественной трансмиссии языка от поколения к поколению. В этом случае родной язык передается второму поколению в искаженной форме, третьему и последующим поколениям в еще более искаженной форме или не передается вовсе (Sasse 1992).

Часто это означает, что родным языком говорящего становится какой-либо другой язык, и в этом языке говорящий демонстрирует полную компетенцию. Однако известны случаи, когда в результате сложившейся языковой ситуации говорящему не удается овладеть в совершенстве ни одним из используемых в его окружении языков, – явление, известное в лингвистике под названием “полуязычие” (ср. Martin-Jones and Romaine 1986).

В речи говорящих, “недоовладевших” языком, аттриционные явления не появляются, а присутствуют с начала , что, очевидно, представляет собой несколько другой случай аттриции по сравнению с рассмотренной в предыдущем разделе постепенной утратой языка компетентными говорящими. Заметим, что и в речи исходно некомпетентных говорящих может происходить дальнейшая аттриция, только в этом случае процесс изменения происходит от “некачественного” состояния языка к его "еще более некачественному” состоянию.

Вторым случаем рассматриваемого типа аттриции является ситуация недостаточного овладения языком L2, на который говорящий перешел в результате языкового сдвига, в результате чего могут возникнуть новые пиджинизированные формы этого языка. С. Томасон предлагает различать, с одной стороны, заимствование (borrowing), относящееся к инкорпорации заимствованных черт в язык L1, а с другой стороны, субстратную интерференцию (substratum intereference), которая как раз и возникает в результате недостаточного овладения языком L2 во время

языкового сдвига (Thomason 1986, см. также Romaine 1995: 70–71). В рамках настоящей статьи последний тип аттриции не рассматривается.

3. Носители аттриции: некомпетентные говорящие

Очевидно, что объектом исследования языковой аттриции является язык говорящих, которые могут быть отнесены к числу недостаточно компетентных. Ответы на вопросы о том, что считать недостаточной компетенцией и какова ее возможная градация, оказываются не такими простыми и могут опираться на различные лингвистические и социолингвистические параметры. К числу таких параметров относятся: (а) языковая компетенция говорящих (см. раздел 3.1), (б) их уровень исходного овладения языком (см. раздел 3.2) и (в) эмоциональная оценка их языковой компетенции (см. раздел 3.3). Иерархия говорящих в соответствии с данными признаками образует языковой континуум, особенности которого рассматриваются в разделе 3.4.

3.1. Языковая компетенция

Одна из первых классификаций говорящих под углом зрения обсуждаемой проблематики была предложена в работе (Dorian 1981: 117ff.), посвященной гэльскому языку. Н. Дориан предлагает различать три типа говорящих:

i. ‘старшие компетентные говорящие’ (Older Fluent Speakers),
ii. ‘младшие компетентные говорящие’(Younger Fluent Speakers),
iii. ‘полуязычные’ (Semi-Speakers), т.е. не полностью компетентные говорящие.

Обсуждая данное распределение, В. Дресслер оценил выбор терминологии для первых двух групп как “неудачный”, ссылаясь на то, что в указанных случаях основным признаком разграничения является не языковая компетенция говорящих, а их возраст. Анализируя ситуацию, характерную для бретонского языка, Дресслер предложил собственную классификацию, включающую пять типов говорящих (Dressler 1981: 6–7):

i. ‘здоровые говорящие’ (healthy speakers);
ii. ‘ослабленные говорящие’ (weaker speakers), для которых характерна редукция в именном склонении, связанная с сокращением лексического запаса;
iii. ‘предтерминальные говорящие’ (preterminal speakers), которые демонстрируют редукцию и генерализацию;
iv. ‘лучшие терминальные говорящие’ (better terminal speakers), для которых характерна еще большая редукция и генерализация;
v. ‘худшие терминальные говорящие’ (worse terminal speakers); имеющие существенно редуцированный лексикон и еще более редуцированную систему именного склонения.

Как можно заметить, классификация Дресслера опирается в основном на лингвистические параметры: компетентность говорящих определяется в зависимости от степени редукции и генерализации, характерной для их речи. При этом предлагается разграничивать четыре степени редукции, что само по себе вряд ли можно отнести к числу тривиальных задач.

Сходная и впоследствии наиболее часто цитируемая классификация говорящих была предложена в работе (Campbell & Muntzel 1989: 181):

i. ‘сильные’, или ‘(практически) полностью компетентные’ (strong or (nearly) fully competent);
ii. ‘несовершенные’ (imperfect), т.е. достаточно свободно говорящие, так называемые “полуязычные”;
iii. ‘слабые полуязычные’ (weak semi-speakers) с более ограниченной языковой компетенцией;
iv. ‘помнящие язык’ (rememberers), т.е. знающие только отдельные слова и изолированные фразы.

В отличие от В. Дресслера, Л. Кэмпбелл и М. Мюнтцел подошли к оценке компетентности говорящих несколько более осторожно, не ставя перед собой задачу определить степень редукции того или иного некомпетентного говорящего, а дав лишь общую характеристику их языка.

Более развернутое описание особенностей языка различных некомпетентных говорящих предложил Н.Б. Вахтин (2001: 113–114). В шкале, оценивающей степень владения языком, такие говорящие обладают следующими характеристиками:

i. 'говорит на языке свободно, но его односельчане, относящиеся к группам 1 и 2 (полностью компетентные говорящие. – Е.Г.), замечают в его речи незначительные погрешности: нечеткость словоупотребления, упрощения в грамматике, ограниченный словарь, акцент';
ii. 'говорит на языке, но с серьезными погрешностями, ошибками: язык явно не является родным для этого человека';
iii. 'хорошо понимает речь на языке, но говорить не может, за исключением пары десятков бытовых фраз'.

В своей классификации Вахтин не только ясно показывает различные степени языковой некомпетенции, но и достаточно отчетливо формулирует признаки языковой аттриции, а именно "нечеткость словоупотребления, упрощения в грамматике, ограниченный словарь, акцент".

В основе составления всех перечисленных классификаций лежит по сути дела одна и та же процедура, а именно сопоставление языка некомпетентных говорящих с "эталонным" языком компетентных говорящих. Интересным в этом смысле является, метод, предложенный Вахтиным, при котором оценку компетентности в языке дают не лингвисты, а сами "эталонные" говорящие.

3.2. Уровень исходного овладения языком

В классификации некомпетентных говорящих Кэмпбелл и Мюнтцел, а также Вахтина имплицитно учитывается еще один важный для анализа аттриции признак, а именно уровень исходного овладения языком.

Противопоставление некомпетентных говорящих по указанному признаку лежит в основе представлений Андерсена о том, что необходимо отличать некомпетентного говорящего, который по определению

был некогда более компетентным в языке X по сравнению с его нынешней компетенцией, от лица, которое никогда не было компетентным говорящим (Andersen 1982: 84).

Х.-Й. Зассе придерживается аналогичной точки зрения и отмечает, что в языковом коллективе наблюдается обычно два типа носителей языка, обладающих неполной компетенцией (Sasse 1992: 61). С одной стороны, это те, кто хорошо владеют грамматической системой и обладают полноценным пассивным знанием языка, однако имеют пробелы в словаре и в наиболее сложных областях грамматики (группа (ii) у Дресслера, группы (i) и (ii) у Кэмпбелл и Мюнтцел, группа (i) у Вахтина). Эта группа охватывает таких носителей языка, которые овладевали языком в начальный период прерывания процесса языковой трансмиссии и были на пути к совершенному владению языком, однако никогда не достигли этого уровня в силу отсутствия регулярной коммуникации на этом языке

Второй тип некомпетентных носителей языка охватывает так называемых "полуязычных" говорящих (термин, употребляемый также в классификациях Дориан и Кэмпбелл и Мюнтцел), которые овладели языком в недостаточной степени и чья речь во многих случаях является, по выражению Зассе, "несовершенной до патологической степени" (Там же: 61). Эти носители, несмотря на приемлемое пассивное знание языка, имеют значительно более слабый контроль над ним и их речь характеризуется использованием фонетических и грамматических неправильных форм (группы (iii–v) у Дресслера, группа (iii) у Кэмпбелл и Мюнтцел, группа (ii) у Вахтина). Изменения, наблюдаемые в речи таких носителей языка, часто образно называют драматическими, радикальными, непоправимыми и т.п, указывая тем самым на их обширность и необратимость.

Языковая компетенция "полуязычных" говорящих складывается, по мнению Зассе, в период прервавшейся языковой трансмиссии и в ходе несистематического овладения языком. Как результат, она сводится к закрытому списку коротких предложений, используемых в повседнев-

ной речи, формулировок, фраз, слов и различных форм, функции которых достаточно прозрачны. Языковая креативность ограничивается умением каким-то образом соединять эти элементы, в то время как способность к созданию новых предложений на базе грамматических моделей и правил безвозвратно утрачена (Там же: 63–64).

3.3. Эмоциональная оценка языковой компетенции

В работе Р. Андерсена обращается внимание еще на один возможный признак, по которому можно оценить степень компетентности говорящих. Этим признаком является определенная эмоциональная оценка уровня языковой компетенции как самого говорящего, так и компетентных носителей языка. Андерсен предлагает различать (i) дисфункциональную и (ii) косметическую аттрицию (Andersen 1982: 85).

Под дисфункциональной аттрицией понимается утрата языковой компетенции, вызывающая редукцию в коммуникации и передаче информации. Такая аттрициявызывает негативную оценку со стороны компетентных носителей языка, что в свою очередь пробуждает чувства незащищенности, неадекватности, отчуждения или страх отторжения со стороны менее компетентных говорящих.

Косметическая аттриция – это все другие типы аттриции, которые могут быть измерены, но которые никогда не мешают коммуникации и не имеют негативных социо-аффективных признаков.

3.4. Языковой континуум некомпетентных говорящих

Приведенные классификации показывают, что некомпетентные говорящие образуют определенный языковой континуум. На одном его полюсе находятся некогда компетентные, но теперь забывающие язык говорящие, которых иногда образно называют “говорящие, пораженные ржавчиной ” (rusty speakers), а на другом полюсе – те, кто никогда не владел языком в совершенстве и чье знание языка ограничивается в основном пассивным запасом и незначительным числом отдельных фраз (группа (iv) у Кэмпбелл и Мюнтцел, группа (iii) у Вахтина).

Многообразие “носителей аттриции”, которые располагаются между двумя указанными полюсами, во многом затрудняет сопоставительный анализ этого явления, поскольку исследователи нередко описывают индивидуальные случаи языковой компетенции, находящиеся в разных точках рассматриваемого языкового континуума.

По мнению Зассе, “локусом языкового упадка” (language decay), а соответственно и главным объектом изучения для исследователей языковой аттриции, является “полуязычный” говорящий (Sasse 1992: 61). Однако, как мне представляется, при изучении аттриционных явлений интерес представляют также отклонения, зафиксированные в речи говорящих, в той или иной степени забывающих язык. Данные, полученные в ходе исследования языковых особенностей этих двух групп говорящих, естественным образом дополняютт друг друга и дают возможность оценить степень сходства и различия между разнообразными явлениями, происходящими как в процессе утраты языка, так и в результате недостаточного овладения языком.

4. Источники аттриции: языковые изменения при языковом сдвиге

При анализе аттриционных явлений, происходящих в период языкового сдвига, обычно принимаются во внимание следующие типы языковых изменений: (i) изменения, вызванные контактами с другими языками, (ii) внутриструктурные изменения, которые происходят в языке независимо от внешнего влияния и (iii) изменения, связанные собственно с утратой того или иного языка, которые в принципе можно также отнести к внутриструктурным изменениям.

Часть исследователей рассматривает эти языковые изменения в комплексе, не делая попыток их разграничения. К ним относится, например, Андерсен, который подходит к изучению аттриции с четырех “стратегических” позиций: (а) использование языка, (б) языковая форма, (в) компенсаторные стратегии, (г) нелингвистические последствия эрозии языка (Andersen 1982: 87).

Другие исследователи ставят перед собой задачу выявить различия между указанными типами языковых изменений. С одной стороны, де-

лается попытка разграничить внешние и внутренние языковые изменения, приводящие к аттриции (Seliger and Vago 1991a, Seliger 1996), с другой стороны, противопоставляются контактные изменения и изменения, связанные собственно с утратой языка (Sasse 1992).

В разделах 5 и 6 будут рассмотрены соответственно две последние гипотезы.

5. Аттриция как результат языковых контактов и внутриструктурных изменений

Идея о необходимости различать языковые изменения, вызванные внешними и внутренними факторами, доминирует в исторической лингвистике уже на протяжении века, хотя в последнее время активно развивается мысль о множественной каузации этих изменений (ср., напр., Thomason and Kaufman 1988, Dorian 1993). Многочисленные дискуссии на данную тему только подтверждают, что указанная дихотомия является проблематичной, поскольку определить источник тех или иных изменений подчас действительно достаточно трудно. “Является ли изменение в разговорных языковых формах результатом интерференции, конвергенции, независимым автогенетическим процессом или всем этим вместе?” – спрашивает Н. Дориан и оставляет этот вопрос без ответа (Dorian 1989: 9).

Тем не менее, по мнению Г. Селиджера и Р. Ваго, разграничение процессов, которые составляют основные движущие силы, порождающие языковую аттрицию, возможно (Seliger and Vago 1991a: 7–11). С одной стороны, следует выделять изменения, обусловленные внешними причинами: в этом случае происходит моделирование языка L1 по аналогии с доминирующим языком L2 (см. раздел 5.1). С другой стороны, отдельно следует рассматривать внутренне мотивированные изменения, подчиняющиеся универсальным принципам развития языков (см. раздел 5.2).

Рассмотрим указанное противопоставление подробнее.

5.1 Контактная аттриция

Представление о том, что аттриция вызывается контактами языка L1 с другими языками, является, пожалуй, наиболее признанной и наименее спорной точкой зрения. Естественным результатом контактных явлений является возрастание сходства между двумя или более лингвистическими системами, которое может быть достигнуто как путем утраты или реконструирования какого-либо языкового материала, так и путем его непосредственного заимствования из другого языка. При этом в языках наблюдается процесс структурного заимствования, отражающий тенденцию к использованию идентичных систем категорий и структурно сходных средств для маркирования этих категорий (см. раздел 5.1.1), а также лексические заимствования из одного языка в другой (см. раздел 5.1.2).

5.1.1. Структурные заимствования

5.1.1.1. Типы структурных заимствований: конвергенция и интерференция

К структурным заимствованиям относятся два типа явлений, а именно: (i) конвергенция, при которой происходит постепенное исчезновение неконгруэнтных форм в контактирующих языках, и (ii) интерференция, при которой происходит введение новых форм или правил в один из языков под влиянием другого языка, где они уже существуют (см., напр., Romaine 1995: 72–76). Пользуясь терминологией Зассе, конвергенцию можно отнести к “негативному заимствованию”, в то время как интерференцию – к “позитивному заимствованию” (Sasse 1992: 65).

Если исходить из представления о том, что аттриция – это изменение со знаком ‘минус’, то ее потенциальным источником среди контактных изменений следует считать прежде всего конвергенцию, то есть утрату заимствующим языком тех структурных элементов, которые отсутствуют в доминирующем языке. Примеры таких изменений наблюдаются на всех языковых уровнях.

Так, Андерсен отмечает, что фонологические различия, существующие в языках L1 и L2, которыми владеет говорящий, не будут подвергаться значительной редукции, в то время, как фонологические различия, которые существуют в языке L1, но не существуют в языке L2, будут подвергаться редукции (Andersen 1982: 95).

Это утверждение Л. Кэмпбелл и М. Мюнтцел иллюстрируют примером из центральноамериканского языка пипил, некомпетентные носители которого утратили долгие согласные, а вместе с ними и контрастивное противопоставление по долготе гласных, которое отсутствует в доминирующем испанском языке (Campbell and Muntzel 1989: 186).

Примером морфонологической аттриции могут служить изменения в африканском языке дахало, который утратил такие ранее продуктивные способы образования именного множественного числа, как изменение конечного гласного и изменение тоновой модели (без изменения сегментов) под влиянием суахили, в котором такие способы выражения множественного числа отсутствуют. В то же время для маркировки этого значения в дахало стали более активно использоваться частичная редупликация и суффиксация, которые характерны как для дахало, так и для суахили (Tosco 1992: 148).

На морфологическом уровне аналогичным образом было утрачено обязательное суффиксальное маркирование категории посессивности в австронезийском языке серуа. Кроме того, как в серуа, так и в других австронезийских языках, например теун и нила, происходит нейтрализация различия между отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежностью. Эти процессы, зафиксированные во всех языках индонезийской провинции Малуку, происходят, по мнению исследователей, под влиянием малайского языка, в котором посессивная суффиксация и формальное противопоставление разных типов посессивности отсутствует (Van Engelenhoven 2003: 54–55, 71–75).

5.1.1.2. Конвергенция и аттриция

К. Майерс-Скоттон полагает, что между понятиями ‘конвергенция’ и ‘аттриция’ можно практически поставить знак равенства. Единственная

разница между ними заключается, по мнению исследовательницы, в том, что изменения в рамках конвергенции не обязательно ведут к утрате языка и языковому сдвигу, в то время как аттриционные изменения рассматриваются именно таким образом (Myers-Scotton 2002: 196).

В целом, как считает Майерс-Скоттон, "любая гипотеза об аттриции должна соотноситься с другими гипотезами, приложимыми к другим контактным явлениям" (Там же: 193). Автор приводит следующее базовое положение: "Говорящие, для которых характерна аттриция, действуют в рамках морфосинтаксической модели таким же образом, как и одноязычный говорящий или двуязычный говорящий, порождающий различные формы контактных явлений "(Там же: 195).

Свои представления об аттриции Майерс-Скоттон развивает в рамках двух теоретических моделей, а именно: модели абстрактного уровня (Abstract Level model) и модели 4-М.

В основе первой модели лежит идея о природе ментального лексикона, все леммы которого включают три уровня абстрактной лексической структуры. Данные уровни содержат грамматическую информацию, необходимую для поверхностной реализации лексической единицы, и включают (а) лексико-концептуальную структуру (семантическую и прагматическую информацию), (б) предикатно-аргументную структуру (перенос тематической структуры на синтаксические отношения) и (в) модели морфологической реализации (поверхностные реализации грамматической структуры) (Там же: 19).

Что касается модели 4-М, то одной из ее центральных идей является принцип сортировки морфем, в соответствии с которым по своим синтаксическим свойствам морфемы делятся на два основных типа: (i) смысловые морфемы (content morphemes), которые выбираются напрямую в соответствии с интенцией говорящего и которые могут употребляться независимо от других элементов в любой синтаксической цепочке, и (ii) системные морфемы (system morphems), для которых эти свойства не характерны.

Системные морфемы в свою очередь подразделяются на: (а) 'ранние' системные морфемы, которые употребляются в тех же самых поверхностных максимальных проекциях, что и их ядерные элементы, и информация о форме которых определяется этими ядерными элементами (например, детерминанты и показатели множественного числа), и (б) 'поздние' системные морфемы, которые удовлетворяют либо одному, либо другому из перечисленных признаков и которые употребляются для выражения отношений между элементами при построении более крупных составляющих (например, посессивные и согласовательные морфемы и предлоги) (Там же: 195).

Учитывая, что в иерархии различных уровней, входящих в модель порождения языка, ментальный лексикон предшествует функциональному уровню, становится понятным происхождение терминов 'ранние' и 'поздние' морфемы. Леммы, поддерживающие 'ранние' морфемы относятся к ментальному лексикону, тогда как леммы, лежащие в основе 'поздних' морфем, характерны для функционального уровня.

На базе представленных идей Майерс-Скоттон формулирует ряд гипотез, характеризующих аттрицию на уровне морфосинтаксиса, и подкрепляет их эмпирическим материалом в первую очередь из иммигрантских языков (Там же: 195–223).

- Гипотеза 1. Из трех уровней абстрактной лексической структуры уровень лексическо-концептуальной структуры в содержательных морфемах наиболее подвержен изменениям в виде аттриции / конвергенции.

- Гипотеза 2. Уровень моделей морфологической реализации более подвержен модификациям в виде аттриции, чем уровень предикатно-аргументной структуры.

Таким образом, в отношении сопротивления аттриции иерархия различных уровней выглядит следующим образом:

предикатно-аргументная структура < модели морфологической реализации < лексико-концептуальная структура

Следующие три гипотезы описывают поверхностные морфемы языка и степень их сохранности при аттриционных явлениях.

- Гипотеза 3. Смысловые морфемы являются не только "первыми на вход" при овладении языком и в контактных ситуациях, вызывающих заимствование, но также и "первыми на выход" при языковой аттриции.

Это означает, что, во-первых, говорящий забывает смысловые морфемы языка L1 первыми, а во-вторых, что смысловые морфемы из языка L2 первыми входят в язык L1 и либо остаются в нем в виде синонимов к смысловым морфемам L1, либо в конце концов заменяют их.

- Гипотеза 4. Ранние системные морфемы подвержены замене или утрате при аттриции в меньшей степени, чем смысловые морфемы, но в большей степени, чем поздние системные морфемы. Замена более вероятна, чем утрата.

Иллюстрируя данную гипотезу, Майерс-Скоттон приводит примеры из венгерского и финского языков, на которых говорят дети, выросшие в англоязычном окружении. Из этих примеров видно, что показатели локативных падежей, которые относятся к ранним системным морфемам, оказываются более восприимчивыми к замене на другие падежи, чем показатели номинатива и аккузатива, которые относятся к поздним системным морфемам.

- Гипотеза 5. Из всех типов морфем поздние системные морфемы менее подвержены абсолютной утрате.

Для подтверждения данной гипотезы Майерс-Скоттон обращается к материалам Н. Дориан по гэльскому языку (Dorian 1973, 1981). Как и в других кельтских языках, в гэльском существуют фонологические мутации, которые обычно маркируют синтаксические отношения. Например, одна из мутаций является единственным маркером прошедшего времени глагола. Базовая система включает два фонологических явления: леницию и назализацию. Как отмечает Дориан, все компетентные

носители гэльского языка “сохранили активное употребление мутаций начальных согласных как синтаксического средства” (Dorian 1973: 416).

В речи более молодых носителей языка наиболее сильная редукция произошла в области посессивных местоимений, которые относятся к ранним системным морфемам. Кроме того, в речи “полуязычных” произошло выравнивание возникающих в результате мутаций алломорфов, которые обычно употреблялись для маркирования множественного числа и герундия (также ранних системных морфем). В результате этого для образования соответствующих форм стали использоваться главным образом суффиксы. Что касается системы падежей (поздние системные морфемы), то, как это ни удивительно, несмотря на ее общее ослабление в речи некомпетентных носителей языка, многие падежные формы хорошо сохранились. Более того, даже в тех случаях, когда используется неправильная падежная форма, она маркируется мутацией, хотя бы даже тоже неправильной. Все это говорит в пользу того, что поздние системные морфемы сохраняются лучше, чем соответствующие ранние морфемы (Myers-Scotton 2002: 214–215).

Иерархия различных типов морфем с точки зрения их устойчивости по отношению к аттриции выглядит в результате следующим образом (Там же: 206):

поздние системные морфемы < ранние системные морфемы < смысловые морфемы

Обе приведенные иерархии по сути дела дополняют друг друга. В обоих случаях элементы, относящиеся к концептуальной структуре, рассматриваются как более подверженные модификациям и утрате, в то время как элементы, выражающие грамматические отношения, – как менее подверженные этим процессам.

5.1.1.3. Радикальное структурное заимствование

Процесс структурного заимствования, характерный для контактной ситуации может зайти довольно далеко. Так, М. Росс, а вслед за ним и Дж. Боуден полагают, что в результате билингвизма может развиваться

процесс 'метатипии' (metatypy), а именно изменение морфосинтаксического типа и грамматической структуры языка L1 в сторону соответствующего типа доминирующего языка L2 (Ross 1999, Bowden 2002).

Примером такого рода экстремальных изменений является синтаксическая реструктуризация, или "ресинтактизация" (в противопоставление известному явлению "релексификации"), языка конкани, на котором говорят в центральной Индии. Грамматика этого языка не подвергалась каким-либо изменениям, а просто была заменена грамматикой соседствующего языка каннада (Muysken 2000: 272–273).

Другим примером могут служить изменения, произошедшие в греческих диалектах, на которых говорят на п-ове Малая Азия (см., напр., Thomason and Kaufman 1988: 215–222). Изменения, которые произошли в этих диалектах под влиянием турецкого языка, привели к тому, что, по выражению Р. Доукинса, исследовавшего эти диалекты в начале XX века, "их тело осталось греческим, а душа стала турецкой" (Dawkins 1916: 198). Под "душой" в данном случае понимается прежде всего синтаксис, который был практически полностью перестроен по турецкой модели. Кроме того, в одном из диалектов произошел переход от флективной к агглютинативной морфологии. Все эта языковая реструктуризация происходила, однако, за счет внутренних ресурсов греческого языка, без заимствования грамматических морфем из турецкого, и сопровождалась впечатляющей инновационной креативностью.

Последнее обстоятельство дает Зассе основание считать, что если в ходе этого процесса и были утрачены какие-то категории или различия, то их не следует относить к числу аттриционных, а следует рассматривать просто как контактную реструктуризацию, поскольку отказ от этих категорий и различий произошел просто потому, что они отсутствуют в языке – источнике заимствований (Sasse 1992: 68).

В целом, с точки зрения Зассе, "негативное заимствование" никак не связано с редукционной утратой существенных элементов языковой системы (а значит, и с аттрицией. – Е.Г.). Если под влиянием другого языка язык и утрачивает какие-то морфологические категории, это не

означает что язык становится дефектным, так как утраченные категории скорее всего будут заменены другими категориями, например маркируемыми функциональными словами. Если репертуара собственных функциональных слов будет недостаточно, язык будет развивать их путем быстрой грамматикализации или заимствования (Там же: 65).

Как полагает Зассе, все это означает, что в результате контактных изменений не происходит дезинтеграции языка, язык по-прежнему способен функционировать так же, как и раньше, а соответственно явления, наблюдаемые в этом случае, не следует считать языковой аттрицией. Такое утверждение представляется мне слишком сильным, поскольку, несомненно, в результате контактов могут происходить изменения, дезинтегрирующие языковую систему. Примером могут служить, например, изменения в лексике, которые рассматриваются в следующем разделе.

5.1.2. Лексические заимствования

Лексические заимствования являются обычным результатом языковых контактов между здоровыми языками. Однако, по мнению Дресслера, они могут сигнализировать и об опасном состоянии языка в следующих случаях (Dressler 1991):

- Процесс заимствования носит массовый односторонний характер (из языка L2 в язык L1), а обратный процесс (заимствование из языка L1 в язык L2) является спорадическим и сводится к заимствованию только фольклорных слов.
- Лексический материал, заимствованный из языка L2, не интегрируется в языке L1 ни морфологически, ни фонологически.

Так, например, система интеграции заимствованных греческих слов утрачена в арванитика, греческом диалекте албанского языка. Греческие слова используются без адаптации к морфологической системе арванитика. Это явление напоминает переключение кодов, однако, в отличие от него, относится только к отдельным словам и только в тех случаях,

когда компетентный носитель языка ассимилировал бы их (Sasse 1992: 70).

- Заимствованные слова никак не обогащают язык-реципиент, а просто заменяют исконные слова.

В этой связи следует отметить проблему поиска подходящего исконного слова, которая, по наблюдению многих исследователей, характерна для языка некомпетентных говорящих. Во многих случаях такие говорящие просто используют лексику из другого языка.

- Исчезает пуристическая реакция по отношению к массовой интерференции — носители языка, теряющие компетенцию, не в состоянии заметить происходящие процессы, а компетентные носители уже не считают нужным их исправлять.

Данный признак, который относится скорее к числу социолингвистических, по-видимому, отражает ситуацию, характерную для поздних стадий утраты языка. На более ранних этапах наблюдается прямо противоположная картина (Jones and Singh 2005: 91): если в сообществах, говорящих на стабильных языках переключение кодов воспринимается другими носителями языка достаточно спокойно, то в сообществах, язык которых находится под угрозой исчезновения, такие лексические заимствования, как правило, подвергаются критике. Как показывает Дориан, в восточном Сатерленде (северное графство в Шотландии), некоторые люди имели дурную славу только потому, что, по мнению носителей гэльского языка, говорили на полугэльском-полуанглийском языке (Dorian 1981: 98).

Дресслер отмечает, что еще одним, ранним знаком языковой утраты является:

- Отказ от использования исконных имен собственных.

Кроме того, существенным фактором оказывается характер заимствований. Считается, что языки, как правило, сопротивляются заимствованию функциональных слов, например предлогов или союзов из других языков (см., напр., Weinreich 1953). Появление большого количества

таких заимствованных форм является, по мнению Дж. Боудена, свидетельством того, что язык находится в трудном положении. Так, молодое поколение говорящих на австронезийском языке таба используют в речи такие заимствованные из малайского языка слова, как бытийный глагол *ada* 'существовать', союзы *dadi* 'так' и *karna* 'потому что', а также предлог *untuk* 'для' (Bowden 2002: 126).

Известны случаи возникновения новых языков путем релексификации, в результате которой большая часть словаря, включая исконные слова, оказывается заимствованной. Примером такого языка является медиа ленгва — язык, возникший в результате релексификации кечуа испанским языком, описанный, в частности, в работе (Muysken 2000: 266–268).

Все указанные явления говорят о том, что в результате контактов, безусловно, могут происходить процессы, ведущие к дезинтеграции языковой системы и, более того, указывающие на то, что язык находится под угрозой исчезновения.

5.2. Внутриструктурная аттриция

Однако утрату каких-либо языковых категорий не всегда можно объяснить контактами с другими языками.

Анализируя изменения как в иммигрантских, так и в традиционных языках, Дж. Махер показывает, что во всех из них наблюдаются сходные аттриционные явления. К ним относятся парадигматическое выравнивание и категориальный сдвиг, редукция в словоизменении, следствием которой является менее свободный порядок слов, преобладание сочинительных конструкций над вложенными конструкциями, а также сложные аспектуальные конструкции. Махер отмечает, что эти явления, очевидно, не могут быть объяснены влиянием доминирующих языков. С другой стороны, поскольку исследуемые языки относятся как к числу умирающих, так и к числу вполне здоровых, стабильных языков, указанные явления не могут быть объяснены процессами их утраты (Maher 1991: 68). В результате автор не предлагает никакого удовлетворитель-

ного решения и оставляет вопрос о причине происходящих изменений открытым.

Х. Селиджер и Р. Ваго объясняют появление такого рода явлений внутриструктурными изменениями, мотивированными принципами универсальной грамматики. Авторы опираются на понятие 'маркированности', отмечая, что к числу универсалий относится тот факт, что при аттриции языка L1 немаркированные формы сохраняются лучше, чем маркированные формы. При этом первые заменяются последними, но не наоборот (Seliger and Vago 1991a: 10; см. также Dressler 1991).

В более поздней работе Селиджер вновь говорит о маркированности как о главной причине изменений в грамматике языка L1, утверждая, что изменения, которые происходят в грамматике языка L1 в результате аттриции будут отражать предпочтение в переносе таких элементов из L2, которые больше согласуются с центральными универсалиями и являются тем самым менее маркированными (Seliger 1996: 617). Селиджер формулирует также принцип сокращения избыточности (Redundancy Reduction Principle), который гласит, что "двуязычный носитель языка создает новое правило для L1 в тех областях грамматики, где правило L2 проще или каким-либо образом менее маркировано" (Там же: 617–618).

Вообще говоря, маркированность является одним из наиболее популярных объяснений того, что происходит при аттриции. Проблема, однако, заключается в неточности и расплывчатости этого термина. С. Томасон и Т. Кауфман, например, приводят непоследовательный набор признаков, которые исследователи называют маркированными в различных областях лингвистики. Они также отмечают, что лишь немногие из предлагаемых определений маркированности основываются на объективных критериях (Thomason and Kaufman 1988).

Некоторые исследователи считают, что маркированность не является универсальным критерием. Как полагает М. Клайн, наиболее вероятно, что в языке исчезнут именно маркированные черты, однако это наибо-

лее вероятно в менее сложных языках, чем в более сложных (Clyne 1992: 24).

Говоря о внутриструктурных изменениях, приводящих к аттриции, Селиджер и Ваго выделяют четыре типа явлений (Seliger and Vago 1991a: 10–11):

- Выравнивание по аналогии (analogical leveling), при котором маркированная черта или нерегулярная модель заменяется немаркированной или регулярной моделью.

Р. Андерсен также считает, что когда происходит сверхгенерализация морфемы, то именно морфема, которая употребляется часто, является слогообразующей, свободной и менее многозначной, будет наиболее вероятным кандидатом для сверхгенерализации (Andersen 1982: 103–104).

В работах по гэльскому языку Дориан приводит примеры выравнивания по аналогии алломорфов в некоторых конструкциях (Dorian 1973, 1981, *inter alia*). Так, "полуязычные" предпочитают использовать только один алломорф для множественного числа (-ə*n*) и один алломорф для образования герундия (-*al*).

- Парадигматическое выравнивание (paradigmatic leveling), при котором, происходит утрата алломорфной вариативности, приводящая к образованию более однородных парадигм.

В качестве примера можно привести редукцию алломорфов эргативно-инструментального, локативно-аверсивного и генитивного аффиксов, которая наблюдается в северноавстралийском языке дирбал (Schmidt 1991: 119).

- Категориальное выравнивание (category leveling), нейтрализующее категориальные различия путем распространения области одной категории на другую.

Все для того же дирбал характерна нейтрализация различий между отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежностью. Молодые носители

языка “расширили” значение суффикса *-gu*, выражающего отчуждаемую принадлежность, в результате чего он стал использоваться как общий суффикс генитива (Schmidt 1991: 119).

Еще одним примером может служить система местоимений другого австралийского языка – валбири, в котором существует противопоставление инклюзивных и эксклюзивных форм первого лица двойственного и множественного числа. Как показывают исследования, в речи носителей языка младше шестидесяти лет, это противопоставление отсутствует (Bavin 1989: 280–284).

- Категориальный сдвиг (category shift), при котором категория сохраняется, но выражается другими языковыми средствами (так, существует общая тенденция замены синтетических форм аналитическими, а также использования предлогов вместо аффиксов).

Как нетрудно заметить, понимание аттриции, предложенное Селиджером и Ваго, является чрезвычайно широким и охватывает по сути дела любые изменения, связанные с утратой языковых единиц. Понятие ‘утраты’ действительно является ключевым в понимании аттриции, однако не всякая утрата приводит к нарушениям в языковой системе и уж тем более к разрушению языка – признаку, лежащему в основе определения аттриции. В истории развития различных языков зафиксированы многочисленные потери, которые являются естественными языковыми процессами и никак не влияют на функциональность языка. Аттриция же, как полагают многие исследователи, относится в первую очередь к невосполнимым языковым потерям, которые препятствует нормальному функционированию языка.

6. Аттриция как результат языковых контактов и изменений, связанных с утратой языка

Помимо рассмотренных выше языковых процессов в качестве источника аттриции называют также изменения, которые связаны собственно с утратой языка и которые, как я уже отмечала, также можно отнести к числу внутриструктурных. В этом случае встает вопрос о том, отличаются ли принципиально языковые изменения, которые происхо-

дят в конкретном языке в процессе его умирания, или, другими словами, в условиях языкового сдвига, от изменений, вызванных контактами с другим языком или языками, при которых языковой сдвиг не происходит. На этот вопрос исследователи предлагают три различных ответа.

Во-первых, указанные изменения могут анализироваться как тождественные. Например, Дориан подчеркивает, что нет ничего необычного в типах изменений, которые происходят в умирающем языке (хотя количество и скорость изменений могут быть нетипичными). Такие же виды изменений происходят и в "здоровых" языках (Dorian 1981: 151).

С точки зрения С. Ромэйн, возможность разграничить контактные явления и явления, связанные с утратой языка предполагала бы, что лингвист способен идентифицировать данную контактную ситуацию как сдвиг или сохранение независимо от результатов контакта. Может быть, это и возможно при долгосрочном стабильном билингвизме, но на практике без долгосрочного наблюдения контактной ситуации трудно определить, в какой момент, скажем, ситуация стабильного сохранения языка дает путь языковому сдвигу (Romaine 1995: 71). Дориан, например, показывает, что язык, который в течение нескольких веков оставался демографически стабильным, может испытать неожиданный "легкий удар", после которого демографический поток начинает течь в сторону какого-либо другого языка (Dorian 1981: 51).

Поскольку динамика любой контактной ситуации может со временем меняться, ситуация сохранения языка может постепенно перейти в ситуацию языкового сдвига. Это означает, что в каждый данный момент времени лингвист будет иметь дело с заимствованием и / или субстратом в одном и том же языке и ему будет трудно или невозможно точно определить источник этих типов изменений, поскольку они будут иметь один и тот же результат (Romaine 1995: 72).

В итоге Ромэйн подвергает сомнению какую-либо возможность разграничения контактных изменений и изменений, связанных с утратой языка. "Поскольку все языки постоянно изменяются, даже если они не находятся в контакте с другими языками, как мы можем быть уверены в

том, что те изменения, которые мы наблюдаем в умирающем языке, не появятся даже в отсутствии влияния другого языка как мотивирующего фактора? Простой ответ заключается в том, что быть уверены в этом мы не можем" (Romaine 1995: 73).

В соответствии с другим подходом, высказанным, в частности, в работе (Campbell & Muntzel 1989: 195), между двумя рассматриваемыми типами языковых изменений существуют различия, однако обнаружить их достаточно сложно.

Одним из примеров, многократно обсуждавшихся в исследовательской литературе, в том числе и в работе (Romaine 1995), а также упоминавшееся выше, является разрушение комплексной системы чередований в кельтских языках. Дориан описывает утрату смыслоразличительной функции у леницении в диалектах гэльского языка, на котором говорят в восточном Сатерленде (графство Шотландии), где язык постепенно умирает (Dorian 1977). Редукция морфонологической системы характерна как для уэльского, так и бретонского языков. Хотя в английском языке нет подобной системы чередований, тем не менее, как полагает Дориан, совсем не очевидно, что причиной подобных изменений в кельтских языках является влияние английского языка. Эта утрата скорее всего объясняется тем фактом, что при нарушении процесса нормальной передачи языка, более сложные аспекты языка являются наиболее вероятными кандидатами для утраты или реструктуризации. Это может привести к тому, что один язык будет находиться в большем соответствии с другим языком, с которым он находится в контакте, однако стремление к сходству с последним не будет исходной причиной этих изменений. Из этих рассуждений можно, как кажется, вполне очевидным образом сделать вывод о том, что, по мнению Дориан, в период утраты в языке помимо контактных явлений действительно могут наблюдаться еще какие-то другие процессы.

Именно такой точки зрения придерживаются исследователи, которые полагают, что контактные изменения и изменения, происходящие в процессе умирания языка, следует рассматривать как принципиально

различные. В работе (Jones and Singh 2005: 87) утверждается, что языковые изменения, которые наблюдаются в период постепенной утраты языков являются уникальными для умирающих языков. Зассе, соглашаясь с тем, что анализируемые типы языковых изменений подчас действительно довольно трудно различить, тем не менее полагает, что это вовсе не означает, что в принципе не существует возможности показать, каким образом они могут быть отграничены друг от друга (Sasse 1992: 60).

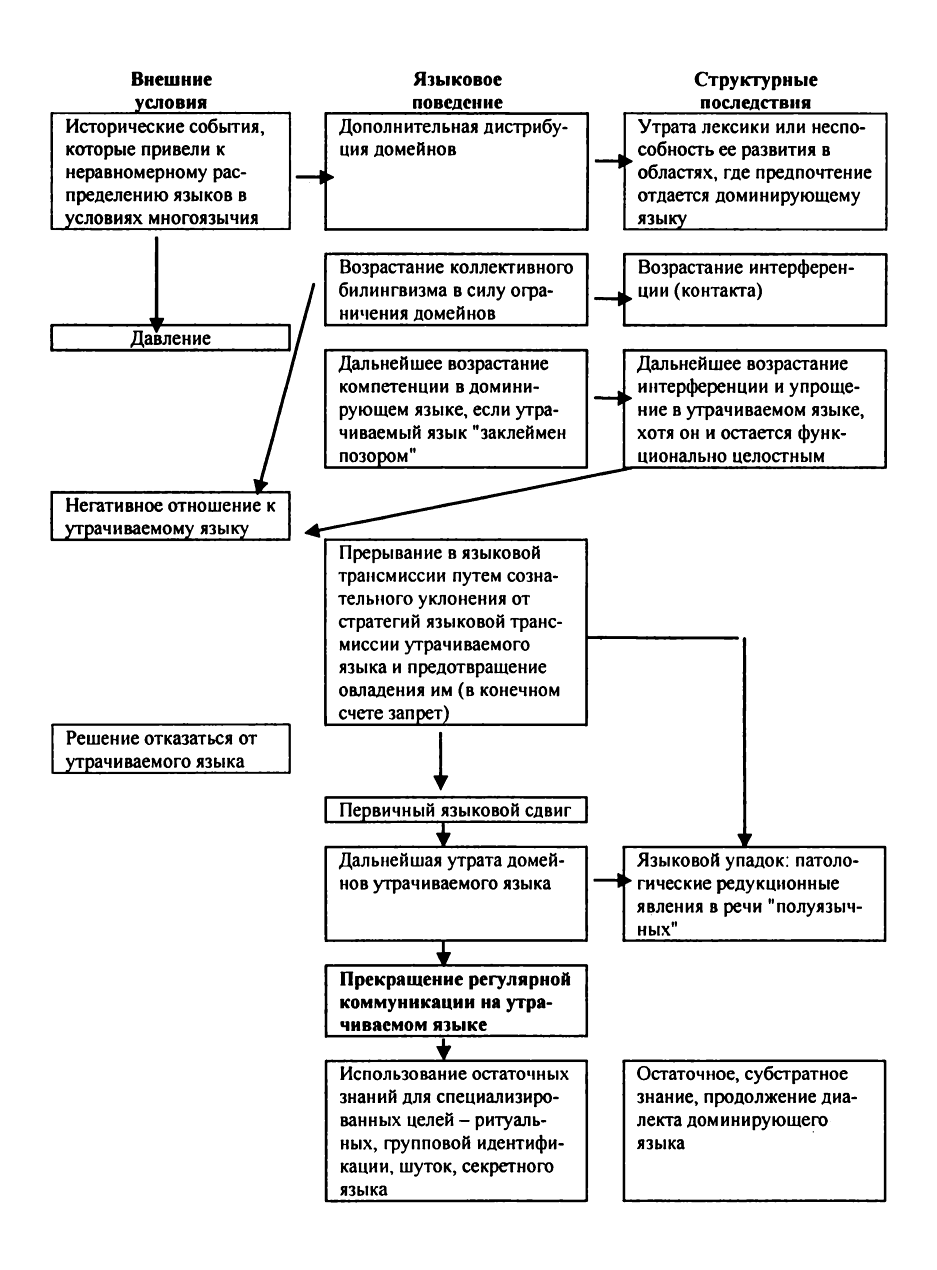
Делая попытку установить, какие процессы обычно приводят к языковой смерти, Зассе перечисляет три набора условий, которые влияют на это более или менее последовательно (Sasse 1992: 9–10):

1. Внешние условия, включающие культурные, социологические, этноисторические, экономические и т.п. процессы, которые создают в определенном языковом сообществе ситуацию давления, заставляющую сообщество отказаться от собственного языка.

2. Языковое поведение, проявляющееся в регулярном использовании переменных, которые в данном языковом сообществе привязаны к социальным параметрам, например использование разных языков в многоязычном окружении, использование различных стилей одного и того же языка, домены (domains) языков и стилей, отношение к вариантам языка и т.д.

3. Структурные последствия, а именно изменения в фонологии, морфологии, синтаксисе и лексиконе в языке, который находится под угрозой исчезновения.

В качестве примера Зассе приводит модель языковой смерти гэльского языка и арванитика (см. Схему 1). В рамках этой же модели Дж. Бродерик описывает также утрату мэнкского на о-ве Мэн (Британские острова) (Broderick 1999).



Внешние условия
Языковое поведение
Структурные последствия
Исторические события, которые привели к неравномерному распределению языков в условиях многоязычия
Дополнительная дистрибуция домейнов
Утрата лексики или неспособность ее развития в областях, где предпочтение отдается доминирующему языку
Возрастание коллективного билингвизма в силу ограничения домейнов
Возрастание интерференции (контакта)
Давление
Дальнейшее возрастание компетенции в доминирующем языке, если утрачиваемый язык "заклеймен позором"
Дальнейшее возрастание интерференции и упрощение в утрачиваемом языке, хотя он и остается функционально целостным
Негативное отношение к утрачиваемому языку
Прерывание в языковой трансмиссии путем сознательного уклонения от стратегий языковой трансмиссии утрачиваемого языка и предотвращение овладения им (в конечном счете запрет)
Решение отказаться от утрачиваемого языка
Первичный языковой сдвиг
Дальнейшая утрата домейнов утрачиваемого языка
Языковой упадок: патологические редукционные явления в речи "полуязычных"
Прекращение регулярной коммуникации на утрачиваемом языке
Использование остаточных знаний для специализированных целей – ритуальных, групповой идентификации, шуток, секретного языка
Остаточное, субстратное знание, продолжение диалекта доминирующего языка

Оставаясь в рамках лингвистического анализа, по данной схеме можно довольно четко проследить представления Зассе о развитии языковой аттриции в умирающих языках:

интерференция → упрощение → редукция → остаточное знание

Если исходить из идеи о том, что в какой-то момент развития языка, находящегося под угрозой исчезновения, к контактным явлениям действительно "подключаются" еще и другие изменения, связанные непосредственно с процессом языковой утраты, то как раз эти последние изменения и следует, видимо, считать собственно аттриционными, поскольку именно они ведут к языковой дезинтеграции. В этом случае, естественно, возникает вопрос о том, каковы их лингвистические признаки и по каким параметрам можно отличить их от контактных изменений. Эта проблема подробно рассматривается в следующем разделе.

7. Лингвистические признаки аттриции

По мнению Зассе, для контактной ситуации характерны заимствования и интерференция, в то время как утрачиваемому языку присуще упрощение и необратимая редукция языковой системы. Процессы, относящиеся к двум указанным группам, являются разными по своей природе явлениями (Sasse 1992: 60).

Итак, в качестве признаков аттриции Зассе предлагает рассматривать упрощение и редукцию. Однако не все исследователи придерживаются аналогичной точки зрения, указывая на то, что эти явления являются по своей природе различными.

Под упрощением (симплификацией) обычно понимается элиминация одной или более конкурирующих структур или переразложение (reanalysis) структур, в результате чего язык становится более регулярным и / или прозрачным (Romaine 1995: 72). Другими словами, если в языке есть, например, три способа для выражения какого-либо понятия, два из них оказываются избыточными. Для говорящих с недостаточной языковой компетенцией характерна генерализация одной из таких конструкций за счет остальных (Jones and Singh 2005: 88).

Изменения, понимаемые под упрощением, модифицируют систему, но не влияют на способность говорящего выражать то или иное понятие (Mühlhauser 1974: 22). Как известно, упрощение, примером которого может служить выравнивание по аналогии (см. раздел 5.2), относится к регулярным внутриструктурным изменениям и наблюдается как в здоровых, так и в умирающих языках, а значит, является, возможно, и необходимым, но не достаточным признаком языковой утраты. Это означает, что упрощение, по-видимому, нельзя рассматривать в качестве отличительного аттриционного параметра. (См. Схему 1).

В отличие от упрощения, редукция подразумевает исчезновение отдельных структурных компонентов языка без их компенсации какими-либо другими компонентами (Mühlhauser 1974: 22). Как считают В. Дресслер и А. Шмидт, именно редукция является отличительной чертой умирания языка, поскольку в силу редукции язык теряет часть выполняемых ранее функций, которые начинает выполнять доминирующий язык. Очевидно, что процессы редукции и перехода на другой язык можно считать взимозависимыми и они образуют саморегулирующую систему (Dressler 1991: 107, Schmidt 1991: 119).

Помимо установленных качественных (редукционных) характеристик языковой утраты, существенными являются также количественные временные характеристики изменений, происходящих в языке.

Как полагает А. Айхенвальд, разница между языковыми изменениями в "здоровых" и умирающих языках лежит не столько в *типах* изменений, сколько в их *качестве* и в *скорости*, с которой изменяется умирающий язык (Aikhenvald 2002a: 144). По мнению А. Шмидт, одной из отличительных черт ситуации умирания языка дирбал является тот факт, что огромное число изменений спрессовано в короткий временной отрезок около 25 лет (Schmidt 1985: 213).

Если согласиться с приведенными выше рассуждениями, то можно с большой вероятностью утверждать, что язык находится на пути к исчезновению, если наблюдаемые в нем аттриционные изменения носят

преимущественно редукционный характер и развиваются достаточно быстро.

Подводя итог дискуссии, еще раз подчеркнем, что составляющими аттриции являются как упрощение, так и редукция, однако именно последний признак следует, вероятно, считать определяющим для понимания этого явления.

Одним из первых исследователей, попытавшихся провести систематический анализ языковой аттриции, стал Р. Андерсен, который сформулировал двенадцать гипотез (некоторые из них включают также от двух до пяти более мелких положений), описывающих ее социолингвистические и лингвистические признаки (Andersen 1982). К числу собственно лингвистических гипотез относятся девять, большинство из которых я рассмотрю в дальнейшем изложении.

Следует отметить, что Андерсен не проводит различия между упрощением и редукцией: все рассматриваемые явления считаются им редукционными. Редукция может наблюдаться на лексическом (см. раздел 7.1), фонологическом (см. раздел 7.2), морфологическом (см. раздел 7.3), синтаксическом (см. раздел 7.4) и дискурсном (см. раздел 7.5) уровнях. При объяснении причин аттриции используются, в частности, такие теоретические понятия, как маркированность, частотность и прозрачность. В целом Андерсен полагает, что в речи некомпетентного носителя языка превалируют упрощенные свободные формы с прозрачной семантикой.

7.1. Лексическая редукция

Для лексической редукции характерны следующие признаки (Andersen 1982: 94):

- Менее компетентный носитель языка будет иметь в своем запасе меньшее число и меньшее разнообразие лексических единиц по сравнению с компетентным носителем языка.
- Лексический репертуар менее компетентного носителя языка будет отражать его недавний (и предшествующий) опыт в использовании

тех или иных пластов лексики и семантических областей. Его лексикон будет наиболее обеднен в тех областях, в которых он имеет наименьший опыт или не имеет этого опыта совсем.

- В лексиконе менее компетентного носителя языка останутся общие, наиболее частотные, немаркированные лексические единицы; лакунами будут менее общие, менее частотные и сильно маркированные языковые единицы.

В подтверждение данных гипотез можно обратиться к материалам различных языков, показывающим, что быстрее всего забываются лексемы, обозначающие объекты, которые вышли из употребления или о которых в силу разных причин больше не говорят в языковом коллективе. Кроме того, родовые термины забываются быстрее, чем видовые. По данным М. Митун, даже наиболее компетентные носители североамериканского языка каюга уже не помнят слов ‘бедро’ и ‘колено’ и употребляют вместо них ‘нога’; они знают ‘глаза’, но никогда не слышали исконного слова ‘брови’, помнят ‘лицо’, но не ‘щеки’ (Mithun 1989: 248).

7.2. Фонологическая редукция

Для фонологической редукции характерны следующие черты (Andersen 1982: 95):

- Менее компетентный носитель языка демонстрирует меньше фонологических различий в языке L1 по сравнению с компетентным носителем этого языка.

- Фонологические различия, которые имеют большую фукциональную нагрузку (фонологическую и / или морфологическую) будут сохраняться в языке L1 дольше, чем соответствующие различия, несущую меньшую функциональную нагрузку.

Кэмпбелл и Мюнтцел отмечают, что в случае редукции, в том числе фонологической, всегда происходит утрата маркированного члена оппозиции. Это подтверждается приведенным в разделе 5.1.1.1 примером из языка пипил, утратившим долгие согласные, поскольку именно долгие согласные являются таким маркированным членом (Campbell and

Muntzel 1989: 186). Идея, высказанная авторами, представляется им особенно важной потому, что она позволяет рассматривать редукцию как внутриструктурное изменение, происходящее независимо от влияния доминирующего языка.

Кэмпбелл и Мюнтцел рассматривают и другие фонологические явления, характерные для речи некомпетентных носителей языка. К ним относится, в частности:

- Сверхгенерализация маркированных черт.

Этот процесс является, по своей сути, противоположным процессу генерализации немаркированных черт, отмеченному Селиджером и Ваго (см. раздел 5.2). Примером чрезмерной генерализации маркированных черт может служить еще одна особенность, отмеченная в речи современных носителей пипил, а именно употребление глухого *l* не только на конце слова, как это было характерно для традиционного языка, но и в других позициях, в которых он раньше не употреблялся (Campbell 1985).

Сверхгенерализация такого рода, примеры которой зафиксированы во многих языках, может рассматриваться, по мнению Ромэйн, как попытка создания социальной идентичности (Romaine 1989: 378–379). Аналогичной точки зрения придерживается и Зассе, полагая, что причиной гиперкоррекции отдельных звуков в арванитика является желание некомпетентных говорящих сделать эти звуки менее похожими на греческие и более похожими на арванитика. Так, некоторые молодые люди произносят традиционный /h/ перед /e/ и /i/ как *x*. В современном греческом *h* отсутствует, перед задними гласными произносится аллофон *x*, а перед передними гласными — *ç*. Таким образом, слово, которое в арванитика звучало бы как /herə/, произносится в греческом как /çerə/. "Полуязычные", пытаясь произнести "что-то негреческое", похожее на то, что они помнят из речи старших носителей языка, избегают использовать звук *ç*. Однако, будучи не в состоянии произнести *h*, они заменяют его звуком *x* (Sasse 1992: 72–73).

Еще одной отличительной чертой речи некомпетентных говорящих является, по мнению Кэмпбелл и Мюнтцел:

- Развитие вариативности.

Как и предыдущий процесс, данное явление идет вразрез с типичными внутриструктурными изменениями, а именно с парадигматическим выравниванием (см. раздел 5.2). Развитие вариативности приводит к тому, что обязательные правила начинают использоваться факультативно, утрачиваются или заменяются другими правилами. Так происходит, например, в североамериканском языке окуилтеко: говоря на нем, некомпетентные носители языка нарушают исконное правило озвончения смычных после носовых, результатом чего является свободное варьирование алломорфов *nd* и *nt* (Campbell and Muntzel 1989: 189).

Исключительно сильное фонологическое варьирование характерно и для арванитика, где конкурируют стандартный и нестандартные варианты (Sasse 1992: 72):

стандартный вариант /ʃtəpi/ ~ /stupi/ ~ /stepi/ ~ /stipi/ 'дом'

стандартный вариант /maereps/ ~ /majereps/ ~ /maireps/ ~ /majireps/ 'повар'

7.3. Морфологическая редукция

Морфологическая редукция, или утрата морфологической сложности, относится в плане исследования аттриции, пожалуй, к наиболее изученным областям. Примеры морфологической редукции приводятся практически во всех работах, так или иначе имеющих отношение к данной проблематике, и охватывают редукцию как в области словообразования (см. раздел 7.3.1), так и в области словоизменения (см. раздел 7.3.2).

7.3.1. Словообразование

Наиболее очевидным аттриционным процессом в области словообразования является:

- Утрата продуктивного словообразования.

Она проявляется, в частности, в тенденции к заимствованию из доминирующего языка слов для новых понятий вместо образования морфологических неологизмов по исконным моделям.

Это, вообще говоря, достаточно хорошо известное явление Дресслер иллюстрирует на примере бретонского языка. Для этого языка поворотным моментом в процессе словообразования стал период после окончания первой мировой войны, когда бретонские солдаты вернулись со службы, которую они несли в окружении французов, не владевших бретонским языком. В настоящее время никто из говорящих на бретонском языке не способен к активному словообразованию, хотя у более компетентных носителей языка еще сохраняется пассивная способность к пониманию структуры морфологически прозрачных форм, которая, как правило, остается неясной менее компетентным носителям (Dressler 1991: 104–105).

По мнению Митун, продуктивность является одним из первых аспектов морфологии, исчезающих из языка каюга. На каюга в настоящее время говорят в канадской провинции Онтарио, где язык пока еще сохраняется, и в американском штате Оклахоме, где он находится на грани исчезновения. Морфология каюга не только очень сложна, но и исключительно продуктивна. Наиболее компетентные носители языка в Оклахоме в принципе используют все словообразовательные аффиксы, но иногда испытывают затруднения при необходимости комбинировать аффиксы в пределах одного слова. Там, где говорящий из Онтарио использует сложные агглютинативные глагольные формы, как в примере (2а), где употреблена глагольная форма с четырьмя префиксами, включая префикс репететива *-s-*, говорящий из Оклахомы предпочитает использовать частицы, как в примере (2б), где репететивное значение передается частицей é:ˀ ‘снова’ (Mithun 1989: 248–249):

(2) а. Онтарио: tosasatkahaté:nih
DUALIC-REPETETIVE-2SG-SEMI.REFLEXIVE-повернуться
‘повернуться снова’

б. Оклахома: teskaa:téni é:ˀ
DUALIC-2SG.AG-SEMI.REFLEXIVE- повернуться снова
'повернуться снова'

Зассе отмечает, что полная замена исконных словообразовательных механизмов на систему интеграции заимствованных слов, которая произошла в арванитика под влиянием современного греческого языка, стала возможным сигналом зарождающейся смерти арванитика. После этого шага симбиоз с греческим стал жизненно необходим дла этого диалекта, поскольку никаких внутриязыковых (точнее внутридиалектных) источников для инноваций у арванитика не осталось (Sasse 1992: 69).

7.3.2. Словоизменение

Для морфологической редукции в области словоизменения характерно следующее (Andersen 1982: 97):

- Менее компетентный носитель языка демонстрирует знание меньшего числа морфологически маркированных категорий и бóльшую вариативность в маркировании этих категорий в языке L1 по сравнению с компетентным носителем этого языка.

Так, Зассе отмечает, что "полуязычные" носители арванитика не помнят супплетивные формы, а нестандартные (= маркированные. – Е.Г.) модели словоизменения не наблюдаются вовсе или применяются к формам, для которых они не характерны (Sasse 1992: 71).

В рамках морфологической редукции может происходить утрата словоизменительных аффиксов. Например, менее компетентные носители дирбал практически не используют глагольные аффиксы будущего времени *-ny* и отрицательного императива *-m*. При этом во многих случаях утрата этих показателей не компенсируется никакими другими средствами и указанные значения остаются никак не выраженными (Schmidt 1991: 119).

Разрушение грамматических категорий и тотальная дезинтеграция морфологической системы впечатляюще описаны на примере арванити-

ка (Sasse 1992: 70–72). В речи “полуязычных” говорящих полностью смешались категории времени, аспекта и наклонения. Частицы будущего времени *do* и сослагательного наклонения *tə* используются вперемешку или смешиваются, превращаясь в *de* или *də*. Система времен сократилась до настоящего времени и аориста. У имен перестали образовываться формы множественного числа, смешались падежные формы и т.п. Наиболее забавным явлением является импровизированная морфология, когда образование словоформ происходит по произвольным правилам, ср. *stəpirəra* ‘дома’ (вместо регулярной формы ʃtəpi, к которой присоединяется ничего не означающий *-r-,* а затем суффикс мн.ч., употребляемый с вещественными существительными).

- Степень сохранения или редукции морфологически маркированных различий в значительной степени коррелирует с частотой употребления этих различий компетентным носителем языка. Наиболее частотные различия будут сохраняться в языке менее компетентного носителя дольше, а наименее частотные различия будут соответственно утрачены раньше.

В качестве примера можно привести характерную для различных языков утрату достаточно редко используемых носителями языка числовых классификаторов. Так, например, произошло в австронезийском языке таба (Bowden 2002: 132–134) или нивхском (палеоазиатском) языке (Gruzdeva 2002: 97–99).

- Те морфологические различия, которые имеют бóльшую функциональную нагрузку будут сохраняться в языке некомпетентного носителя языка дольше.

- Грамматические морфемы, которые усваиваются в процессе овладения языком раньше, будут сохраняться в речи некомпетентного носителя языка дольше, в то время как морфемы, усвоенные позже, будут утрачены раньше.

Последнее утверждение напрямую связано с теорией регрессии, которую обычно связывают с именем Р. Якобсона (Jacobson 1941). Ж. Берко-Глисон, впрочем, отмечает, что указания на взаимосвязь между

овладением языком и его утратой встречаются в лингвистической литературе уже начиная с XIX века (Berco-Gleason 1982: 17). Эта теория, к которой в последнее время вновь обращаются исследователи, рассматривает утрату языка как развитие или "распутывание" в обратном направлении усвоенных ранее языковых форм. Вообще говоря, она может быть применима не только к морфологическому, но и к другим уровням языка. Исследователи, критически настроенные по отношению к этой гипотезе (см., напр., Scmidt 1985, Mithun 1989), отмечают, однако, что овладение языком детьми и утрата языка взрослыми происходит поразному. Язык детей ограничивается не только структурными параметрами, но и их когнитивным развитием. У говорящих на умирающем языке нет никаких ограничений в когнитивных способностях: они просто используют для коммуникативных целей другой язык.

7.4. Синтаксическая редукция

Для синтаксической редукции характерны следующие черты (Andersen 1982: 99):

- Менее компетентный носитель языка будет использовать меньшее число синтаксических средств (трансформаций, конструкций) и будет проявлять большую вариативность в применении той или иной обязательной трансформации, чем компетентный носитель языка.
- Менее компетентный носитель языка будет иметь тенденцию сохранять и "злоупотреблять" такими синтаксическими конструкциями, которые отражают глубинные семантические и синтаксические отношения более прозрачно.

К числу прозрачных синтаксических конструкций обычно относят аналитические и изолирующие конструкции, которым, как показано во многих работах по конкретным языкам, явным образом отдают предпочтение исчезающие языки. Одним из примеров может служить африканский язык коре, описанный в работе (Dimmendaal 1992). В этом языке активно развиваются аналитические конструкции вместо использовавшихся ранее флективных и агглютинативных структур. Другим примером может служить разрушение полисинтетизма в каюга, которое, по

мнению Митун, происходит в результате стремления к аналитизму (Mithun 1989).

Еще один случай стремления к прозрачности описан в работах Шмидт (Schmidt 1985, 1991), посвященных языку дирбал. В речи молодых носителей этого языка происходит утрата морфологической эргативности и реструктуризация языка по номинативно-аккузативному типу, маркируемому порядком слов.

- В том случае, если существует более одной возможной поверхностной структуры для того или иного глубинного отношения, менее компетентный носитель будет иметь тенденцию сокращать количество этих структур до одной.
- Если результатом утраты той или иной трансформации (или синтаксической конструкции) является утрата информации, то менее компетентный говорящий будет либо (а) иметь тенденцию к сохранению этой трансформации, либо (б) утратит эту трансформацию, но компенсирует эту утрату каким-либо другим способом.

Все из перечисленных Андерсеном синтаксических признаков можно проиллюстрировать на примере современного пипил. Этот язык, помимо других форм, утратил исконный морфологический пассив, вместо которого используются безличные глагольные формы третьего лица, а также суффикс будущего времени, в результате чего в последнем случае стали использоваться перифрастические конструкции (Campbell and Muntzel 1989: 192), ср.:

(3) ni-yu ni-k-chiwa
я-идти я-это-делать
'Я буду это делать.'

На более продвинутом этапе утраты языка может происходить разрушение и дезинтеграция синтаксических правил, как это видно на примере уже неоднократнто обсуждавшегося в данной статье арванитика. В речи "полуязычных" говорящих на этом языке не действуют, например, правила согласования, а предлоги употребляются с каким угод-

но падежом (Sasse 1992: 71). В дирбал наблюдается разрушение правил согласования, действующих в именных и структурных комплексах, утрачиваются традиционные подчинительные и сочинительные модели (Schmidt 1991: 119).

7.5. Дискурсная редукция

Под дискурсной редукцией в данном случае понимается в первую очередь стилистическая редукция, или, как ее иногда называют, "стилистическая усадка". Андерсен отмечает, что:

- Менее компетентный носитель языка демонстрирует более ограниченный набор стилей, регистров и т.п. по сравнению с компетентным носителем языка (Andersen 1982: 112).

Дресслер, в свою очередь, подчеркивает, что все умирающие языки имеют тенденцию к моностилизму (Dressler 1991: 101).

Например, в австронезийском языке таба существовало три языковых уровня. Один из них, *alus*, использовался при обращении к старшим или при желании подчеркнуть свое уважение к слушающему. Другой, более нейтральный стиль *biasa* использовался в разговоре с ровесниками или младшими. И наконец, грубый стиль *kasar* использовался для намеренно уничижительного обращения к собеседнику или при разговоре с провинившимися детьми. В настоящее время младшее поколение практически не владеет уважительным стилем *alus* и использует только два оставшихся стиля (Bowden 2002: 130–132).

8. Заключение

В статье были проанализированы различные вопросы, связанные с лингвистическим анализом аттриции, в первую очередь под углом зрения языковых изменений, лежащих в ее основе. Суммируя различные точки зрения, попытаемся кратко сформулировать основные выводы.

Аттриция возникает в речи говорящих при отсутствии достаточной коммуникации на языке или в силу нарушения передачи языка от поколения к поколению. Естественным фоном для развития аттриции явля-

ются контакты с другим языком / языками, которые сопровождаются различными внутриструктурными языковыми процессами, в том числе упрощением и редукцией. При таких условиях в ходе последующего развития языка может, по-видимому, постепенно наступить момент, когда внутриструктурные изменения начнут приобретать преимущественно редукционный характер и аттриция начнет развиваться как бы сама по себе, независимо от каких-либо других языковых факторов. Этот момент может стать переломным – после этого язык либо будет утрачиваться, либо будет приобретать какие-то другие, далекие от исходной формы. Впрочем, даже наличие большого количества аттриционных явлений еще не означает, что язык непременно в скором времени исчезнет, поскольку, по меткому замечанию Н. Денисон, "языки умирают не от потери правил, а от потери говорящих" (Denison 1977: 21).

Дальнейшее исследование языковой аттриции, в том числе в плане типологического анализа, вне всяких сомнений, должно было бы опираться на более обширный корпус языкового материала. В настоящее время явным образом ощущается недостаток детальных описаний структурных изменений в речи индивидуальных носителей языка и языковых коллективов. Не секрет, что приводимые в исследовательской литературе данные по языковой аттриции во многих случаях представляют собой "побочные" результаты других исследований. Кроме того, даже в тех случаях, когда такое детальное описание существует, авторы обычно не располагают репрезентативным количеством примеров для подтверждения той или иной выдвигаемой гипотезы. Как отмечает Майерс-Скоттон, единичные примеры, приводимые авторами, подчас не доказывают, а напротив, опровергают высказываемые ими идеи (Myers-Scotton 2002: 185–187).

Другая проблема, в силу которой сопоставительное изучение аттриции оказывается затруднительным, заключается в том, что исследователи анализируют языки, находящиеся на несопоставимых стадиях развития (Romaine 1989: 370). В процессе утраты языка сама аттриция как языковое явление переживает различные этапы – от первичной редукции отдельных языковых элементов до полной дезинтеграции языковой

системы. По этой причине многие аттриционные явления просто не могут быть сопоставимы между собой, что существенно затрудняет разработку теоретического аппарата, применимого для описания данной проблематики.

Кроме того, более полное описание аттриции как языкового явления, несомненно, должно было бы учитывать, помимо собственно лингвистических, также и другие факторы. По мнению Андерсена, языковая аттриция могла бы быть наилучшим образом исследована, описана, документирована, объяснена и понята только в рамках структуры, которая включает другие явления овладения языком и его использования (Andersen 1982: 86). Среди этих явлений особую роль играют социополитические факторы, которые являются определяющими при развитии различных языковых ситуаций в целом и языковой аттриции в частности (Thomason and Kaufman 1988, Poplack 1997, Jones and Singh 2005).

К.В. Викторова [1]

Языковой сдвиг как социолингвистическое явление

Задача этой статьи – предложить способ отличать то, что *является* языковым сдвигом, от того, что им *не* является. Что общего между всеми ситуациями, которые описываются в других статьях сборника, между ними и другими ситуациями, описанными в массе других сборников, статей и монографий под названием языкового сдвига? Чем они отличаются от всех других ситуаций, которые языковым сдвигом не называют? Что такое языковой сдвиг и какими факторами он обуславливается?

Языковой сдвиг и языковая смерть

Представляется необходимым отличать *языковой сдвиг* как процесс, в результате которого язык может стать мертвым языком, от *языковой смерти* как результата этого процесса. Неразличение процесса и результата приводит к тому, что интерпретация явления как ситуации языкового сдвига часто опирается на представления исследователя о перспективах ее дальнейшего развития, т.е. о ненаблюдаемом будущем данного языка: исследователь прогнозирует исчезновение языка в (скором) будущем и, исходя из этого прогноза, называет происходящие с языком процессы языковой смертью. См., например, классическое определение endangered languages в работе (Krauss 1992: 6): «под угрозой» находится тот язык, который, если ничего не изменится, в следующем поколении перестанет передаваться детям.

Между тем, многие авторы отмечали, что исчезновение языков [2] пока недостаточно изучено для того, чтобы делать прогнозы: большинство

---

[1] Ксения Владимировна Викторова, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. matone@eu.spb.ru.

[2] На протяжении этой статьи мы будем использовать выражение *исчезновение языка* при пересказе работ, авторы которых не противопоставляют языковой сдвиг и языковую смерть в тех значениях, которые здесь приписываются этим

прогнозов о судьбе того или иного языка не сбывается, ср. (Gal 1989: 315; Вахтин 1998 и др.). В отсутствие теории, обладающей достаточной прогностической силой, основывать определение объекта изучения на прогнозах едва ли имеет смысл. Более эвристичным представляется подход, при котором определение социолингвистической ситуации как ситуации языкового сдвига производится на основании *наблюдаемых проявлений* этого процесса, а не на основании их экстраполяции в будущее.

Предлагаемое терминологическое решение подготовлено представлением о языковом сдвиге (language shift) как о процессе, разворачивающемся во времени в рамках конкретной языковой общности и противопоставленном языковой смерти (language death) как понижению языкового разнообразия; последнее обычно не рассматривается как процесс и имеет место не в рамках языковой общности, а на уровне человечества в целом. Ср.: «*Языковой сдвиг* имеет место, когда усвоение нового языка на уровне сообщества сопровождается отказом от использования бывшего основного языка этого сообщества. Если язык, от которого оно отказывается, не используется ни в каком другом сообществе, можно говорить, кроме того, о *языковой смерти*» (Mesthrie 1994: 1957-8). В одних ситуациях имеют место и сдвиг, и смерть (например, при исчезновении корнского языка в Англии в XVIII в. имел место языковой сдвиг – с корнского на английский – и языковая смерть: корнского языка больше не существует). В других случаях языковой сдвиг не сопровождается смертью (например, среди американцев норвежского происхождения имеет место языковой сдвиг – с норвежского на английский, но поскольку норвежский язык продолжает существовать в Норвегии, в данном случае не приходится говорить о языковой смерти). В третьих языковая смерть происходит без языкового сдвига (например, тасманийский язык исчез не потому, что его носители

терминам. В русскоязычных цитатах сохраняется терминология авторов, в переводных при необходимости в скобках приводится вариант оригинала. Язык, который перестает использоваться в процессе языкового сдвига, будем называть исчезающим языком, а язык, на который переходят носители исчезающего языка, – доминирующим языком.

перешли на английский, а по более трагической причине: сообщество его носителей было физически истреблено) (Там же). Аналогичная точка зрения представлена в (Dressler 1988, Trudgill 1974, Kloss 1984).

Несколько ближе к предлагаемому здесь противопоставлению определение языкового сдвига (language shift) как постепенного или внезапного перехода с одного языка на другой в отличие от утраты языка (language loss) – утраты способности говорить на том языке, на котором говорили раньше (Crystal 2000: 17ff). Дэвид Кристал предлагает использовать эти термины по отношению как к сообществу, так и к индивиду, что вновь несколько размывает терминологическую четкость. В большинстве же случаев языковой сдвиг (language shift), языковая смерть (language death), а также многие другие, менее употребительные термины (см. Waas 1991; Вахтин 2001: 12) не противопоставляются и определяются как «замена привычного пользования одним языком пользованием другим» (Вайнрайх 1979: 110, ср. Gal 1979: 1), или как «крайний случай языкового контакта, при котором заимствуется целый язык за счет отказа от собственного языка» (Campbell 1994: 1961), и т.д.

Представляется, что неразличение процесса и результата в данном случае обусловлено двумя основными причинами.

Во-первых, исчезновение языков сравнительно недавно привлекло внимание исследователей (об истории изучения языкового сдвига см. Вахтин 2001: 194 и след.). На этапе накопления материала, т.е. описаний конкретных ситуаций, в которых языки исчезли или, по мнению исследователя, скоро исчезнут, различать языковой сдвиг и языковую смерть не было необходимости: с одной стороны, не накопилось достаточное число неоправдавшихся прогнозов, с другой стороны, если описывается конкретное сообщество, переходящее с одного языка на другой, то очевидно, что в центре внимания исследователя находится *процесс*, т.е. языковой сдвиг в нашем понимании, а не его *результат* – то, что здесь называется языковой смертью. Введение такого противопоставления может быть обусловлено лишь накоплением эмпирического материала и возникшей потребностью в его теоретическом осмыслении.

Авторы обобщающих работ, признающие необходимость отличать процесс исчезновения языка, который называется здесь языковым сдвигом, от прочих социолингвистических ситуаций, часто используют термин gradual language death (постепенная языковая смерть), подчеркивая таким образом процессуальность обозначаемого им явления и противопоставляя его обобщающему термину language death и обозначениям других ситуаций исчезновения языков – radical language death, "tip", bottom-to-top death и др. (Campbell 1994, Campbell, Muntzel 1989, Dorian 1989, Wolfram 2003, ср. также Dimmendaal 1992).

Во-вторых, критериев, позволяющих отличить исчезающий язык от исчезнувшего, т.е. языковой сдвиг от языковой смерти в предложенном здесь понимании, нет, и едва ли они могут появиться. Заключительные этапы языкового сдвига представляют собой такие социолингвистические ситуации, в которых невозможно признать язык ни еще существующим, ни уже исчезнувшим. При языковом сдвиге изменяется функциональная нагрузка языка (он используется все реже и все в меньшем числе функций), его структура (в исчезающем языке происходят различные изменения, которые часто характеризуются как разного рода упрощения), сообщество его носителей (средний возраст носителей исчезающего языка повышается по мере развития языкового сдвига, появляется много разного рода некомпетентных носителей, которые в течение жизни могут как улучшать, так и ухудшать свое владение исчезающим языком), языковые установки сообщества по отношению к данному языку. Подробнее все эти проявления языкового сдвига будут рассматриваться ниже. Сейчас мы хотим подчеркнуть непрерывность всех этих процессов: невозможно указать минимальный набор языковых функций, в которых должен использоваться живой язык, максимальное число структурных изменений, допустимое при сохранении тождественности языка самому себе, минимальный уровень владения языком, необходимый для того, чтобы признать человека носителем данного языка. Точка зрения сообщества на все эти проявления языкового сдвига может сильно отличаться от точки зрения исследователя – следует ли учитывать точку зрения сообщества и если да, то в какой степени? Спе-

циально о сложностях, связанных с определением момента окончания языкового сдвига, см. (Вахтин 1998).

Таким образом, дать четкое определение языковой смерти практически невозможно. Однако это не означает, что следует отказаться от противопоставления языковой смерти и языкового сдвига. Во-первых, как уже говорилось, употребление терминов *языковой сдвиг* и *языковая смерть* как синонимов приводит к тому, что ведущую роль при классификации той или иной ситуации как ситуации языкового сдвига играют представления исследователя о дальнейшем развитии ситуации, а не процессы, наблюдаемые в сообществе. Во-вторых, языковой сдвиг является не единственной причиной языковой смерти: языки исчезают и в результате других процессов (исчезновение сообщества, декреолизация, сдвиг «снизу вверх» – см. классификации видов языковой смерти в Campbell 1994). В-третьих, рассмотрение языкового сдвига как одной из возможных причин языковой смерти облегчает изучение причин собственно сдвига. Как будет показано ниже, изучение причин языкового сдвига является одной из первоочередных задач в этой области исследований, но попытки рассматривать причины языковой смерти и языкового сдвига как явления одного порядка не приводят к желаемым результатам. Если же рассматривать языковую смерть как результат языкового сдвига, то сдвиг, собственно, и является причиной языковой смерти: действие этого процесса приводит к тому, что язык становится мертвым языком. Начинается же этот процесс по другим причинам, которые и должны рассматриваться отдельно.

Чтобы продемонстрировать негативные последствия неразличения языкового сдвига и языковой смерти, рассмотрим, какие точки зрения на причины исчезновения языков представлены в литературе.

Изучение причин исчезновения языков

Направление поисков причин исчезновения языков было, видимо, задано в статье (Denison 1977), содержавшей критику работы (Dressler 1972) (ср. Campbell 1994: 1991). В описании Дресслера языковой сдвиг с бретонского языка на французский предстает как процесс утраты бре-

тонским языком языковых правил: обязательные правила становятся факультативными, общие – частными, возрастает необоснованное варьирование и т.д.; в результате разрушается структура языка. Главное возражение Денисона заключается в том, что «язык умирает не от того, что теряет правила, а от того, что теряет носителей» (Denison 1977: 21), и причины исчезновения языка лежат не в структуре языка, а в социальных и психологических условиях, в которых оказались его носители. Именно по этому пути пошли дальнейшие исследования: среди характеристик социолингвистической ситуации были выделены факторы, влияющие на сохранение или исчезновение одного из контактирующих языков. Такие списки факторов, более или менее детальные и структурированные, можно найти практически в любой работе по языковому сдвигу, как обобщающей, так и посвященной конкретной ситуации. Приведем пример такого списка из работы, в которой суммируются итоги многолетних исследований (Campbell 1994: 1963): «дискриминация, репрессии, быстрое сокращение населения, ... процесс индустриализации, быстрые экономические изменения, приток мигрантов, взаимодействие с другими регионами, переселение, дисперсное расселение, миграция, грамотность, обязательное образование, официальная языковая политика, ... аккультурация, разрушение культуры, война, рабство, голод, эпидемии, религиозный прозелитизм...» и т.д. См. подробно (Вахтин 2001: 211-216).

Нельзя не отметить, что Сьюзен Гэл, автор первого фундаментального описания языкового сдвига (с венгерского на немецкий в городке Оберварт, Австрия), еще за пятнадцать лет до публикации Кэмпбелла писала: «Не так уж сложно составить список макросоциальных условий, в которых произошли зафиксированные случаи языкового сдвига <...> Но, по моему мнению, расширение и усложнение этой комбинации факторов (предлагаемое некоторыми исследователями) не даст удовлетворительного решения» (Gal 1979: 3).

Более продуктивны попытки выделить факторы более высокого порядка, чем перечисленные в списке Л. Кэмпбелла. Рассмотрим список, предложенный на материале языков малых коренных народов России в

работе (Кибрик 1991): «численность этнической группы и говорящих на данном языке..., возрастные группы носителей языка..., этнический характер браков..., воспитание детей дошкольного возраста..., место проживания этноса..., языковые контакты этноса..., социально- общественная форма существования этноса (т.е. степень сохранности традиционных занятий, традиционного семейного уклада и т.п. – К.В.)..., национальное самосознание..., преподавание языка в школе..., государственная языковая политика» (стр. 68–70). Вариант А.Е. Кибрика более структурирован в том смысле, что, например, приток мигрантов, взаимодействие с другими регионами, дисперсное расселение, миграция, перечисленные в списке Л. Кэмпбелла, влияют на сохранение / исчезновение языка не непосредственно: этими факторами определяется выделенный Кибриком фактор (интенсивности) языковых контактов этноса, который, как представляется, теснее связан с сохранением / исчезновением языка.

Попытки выделить независимые факторы более высокого порядка, непосредственное воздействие которых определяет судьбу языка, кажутся плодотворными. В рассматриваемой статье А.Е. Кибрика, однако, такая задача не ставилась: например, преподавание языка в школе и государственная языковая политика очевидно не являются независимыми факторами, воспитание детей дошкольного возраста отчасти зависит от этнического характера браков (отчасти – потому, что у Кибрика учитывается существовавшая в СССР система интернатов для детей народов Севера и Дальнего Востока) и, в свою очередь, определяет возрастные группы носителей языка и т.п. Имеется множество других работ, в которых списки факторов строятся иерархически: А приводит к В, а В приводит к исчезновению языка, или воздействие А, В и С на исчезновение языка опосредовано фактором D. Так, Д. Кристал делит все факторы языкового сдвига на 1) физически угрожающие людям (т.е. сокращающие численность популяции) и 2) изменяющие культуру (отказ от традиционных занятий, СМИ и т.д.) – в конечном итоге язык умирает от того, что численность его носителей сокращается, а их культура изменяется (Crystal 2000: 68 ff.). Р. Вильямсон полагает, что главными фак-

торами языкового сдвига являются изменения экономической, демографической и политической ситуации (Williamson 1991: 20 ff.), Л. Гренобль и Л. Вэйли основными факторами называют изменения в экономике, доступ к языкам (зависящий от таких переменных, как изолированность поселения, интенсивность контактов, возраст и число носителей языка, доступ к СМИ – последний, в свою очередь, зависит от экономического положения сообщества) и мотивацию сообщества к сохранению языка и культуры (Grenoble, Whaley 1999: 52-55) и т.п. Н.Б. Вахтин рассматривает несколько других попыток построения иерархических списков факторов языкового сдвига и приходит к следующему выводу: «Попытки расположить факторы, влияющие на языковой сдвиг, в причинно-следственной последовательности (утрата престижа *вызывает* утрату сфер функционирования, что, в свою очередь, *влечет за собой* изменение предпочтений и т.д.) соблазнительны, однако <...> не слишком убедительны» (Вахтин 2001: 214-215).

На наш взгляд, кроме упоминаемых во многих работах сложности, многогранности и неисчерпаемости не только ситуаций языкового сдвига, но и любой социолингвистической ситуации, и взаимосвязанности социальных процессов, неубедительность этих построений обусловлена упоминавшимся выше неразличением процесса и результата языкового сдвига. Например, во многих работах в качестве одного из главных факторов исчезновения языка упоминается отсутствие новых поколений носителей данного языка. Это утверждение может принимать различные формулировки: «если... дети и подростки уже не усваивают язык своих родителей, то сохранение этого языка в ближайшем будущем, без вмешательства каких-либо чрезвычайных обстоятельств, нереалистично» (Кибрик 1991: 68); «степень владения родным языком в большинстве районов Севера связана с возрастом носителей: старшие еще составляют группу, для которой основным языком общения является национальный язык, а младшие, напротив, ориентированы на язык более крупного этноса, как правило русский» (Домашнев 2003: 100-101); мероприятия по поддержке бретонского языка неэффективны в частности потому, что младшее поколение бретонцев вынуждено приобретать но-

вую идентичность (Dressler, Wodak-Leodolter 1977); «языковая ассимиляция франкоязычного сообщества в Онтарио означает, что все больше молодых членов этого сообщества овладевают французским языком только в школе» (Mougeon, Beniak 1989: 307); принадлежность к тому или иному поколению является одной из трех главных переменных, определяющих, владеет ли данный представитель сообщества исчезающим провансальским языком (Schlieben-Lange 1977); «молодые родители, свободно владеющие языком, не говорят на нем с детьми», что делает неэффективными мероприятия по поддержке индейских языков Аляски (Dauenhauer & Dauenhauer 1999: 69); введение школьного образования по-английски, а затем системы интернатов – одна из главных причин исчезновения инуитского языка (Hallamaa 1996, цит. по Вахтин 2001: 218) и т.п.

Все эти высказывания с разных сторон освещают одну проблему: язык не передается новому поколению, и это является одной из важнейших причин его исчезновения. Однако требуется уточнение: то, что младшее поколение носителей не овладевает или в недостаточной степени овладевает исчезающим языком, безусловно является причиной *языковой смерти*, но никак не причиной *языкового сдвига* как процесса, к ней приводящего, т.е. все приведенные высказывания – о причинах языковой смерти, а не языкового сдвига в нашем понимании, хотя их авторы не проводят разграничения этих двух понятий. Формирование возрастного континуума компетенции (термин, насколько нам известно, принадлежит Н. Дориан), зависимость компетенции в исчезающем языке от принадлежности к тому или иному поколению (чем младше поколение, тем ниже компетенция), на наш взгляд, целесообразно рассматривать как одно из *проявлений* процесса языкового сдвига, обусловленное, в свою очередь, такими факторами, выделенными в цитировавшихся выше работах, как обязательное образование, межэтнические браки, внесемейное воспитание детей дошкольного возраста, влияние СМИ и пр. Не отличая причины процесса от его проявлений, вряд ли возможно дать четкое описание как первых, так и вторых.

Изучение проявлений языкового сдвига представляется менее сложной задачей, чем поиск его причин, поскольку оно требует лишь фиксации наблюдаемых фактов. Поэтому мы рассмотрим сначала проявления языкового сдвига, а затем вернемся к поиску его причин, учитывая противопоставление языкового сдвига и языковой смерти.

Проявления языкового сдвига

Исчезающий язык и, соответственно, происходящий с ним процесс языкового сдвига может быть исчерпывающе охарактеризован в сопоставлении с ситуацией стабильного двуязычия с трех точек зрения: 1) функциональной, 2) социальной и 3) структурной.

1) Для стабильного двуязычия характерно дополнительное распределение языков по коммуникативным сферам: в одних ситуациях используется только один язык, в других – только другой. Нарушение этого распределения рассматривается как нарушение социальных поведенческих норм или несет дополнительное значение (например, воспринимается как игра и т.п.). Для ситуации языкового сдвига характерно отсутствие коммуникативных сфер, закрепленных за исчезающим языком: в ряде сфер обязательно должен использоваться только доминирующий язык, но использование его и во всех остальных сферах воспринимается как норма.

2) При стабильном двуязычии языковая компетенция в каждом из контактирующих языков не зависит от возраста носителей, хотя и могут коррелировать с другими социальными характеристиками носителей (место проживания, уровень образования и т.п.). Языковой сдвиг характеризуется наличием возрастного континуума компетенции: чем младше представитель сообщества, тем менее вероятна его высокая компетенция в исчезающем языке (другие социальные переменные, такие как место проживания, уровень образования и т.п., тоже могут иметь значение).

3) При стабильном двуязычии в контактирующих языках происходят языковые изменения, вызванные взаимодействием идиомов; это прежде всего лексические заимствования, а также различные виды интерферен-

ции на других уровнях. При языковом сдвиге в исчезающем языке имеет место не только интерференция со стороны доминирующего языка, но и изменения, характерные именно для самого процесса сдвига и не зависящие от характеристик доминирующего языка.

Несколько модифицируя цитировавшееся выше утверждение Денисона о том, что «язык умирает не от того, что теряет правила, а от того, что теряет носителей», мы можем теперь определить язык, исчезающий в ситуации языкового сдвига, как язык, теряющий и носителей, и правила, и сферы использования.

Каковы соотношения между этими тремя сторонами сдвига? Прежде всего отметим, что характеристики исчезающего языка с точки зрения структурных изменений (3) и с той стороны, которую мы назвали социальной (2), описывают одно и то же явление с разных сторон. При формировании языкового континуума компетенции (2) появляются такие представители сообщества, компетенция которых в исчезающем языке неполна. Именно их речевая продукция и вынуждает исследователей констатировать, что в исчезающем языке происходят специфические структурные изменения (3). Чтобы аргументировать эту мысль, остановимся несколько подробнее на том, что известно о структурных изменениях в исчезающих языках.

Н. Дориан пишет: «в исчезающих языках, судя по гэльскому в Южном Сазерленде, происходят в общем те же изменения, которые мы наблюдаем в обыкновенных «благополучных» языках: падежные конструкции заменяются предложными, аналогическое выравнивание уменьшает число алломорфов, синонимичные синтаксические конструкции смешиваются» (Dorian 1981: 151). К аналогичным выводам приходит А. Шмидт: изменения в исчезающем языке дьирбал «отличаются от изменений в «благополучных» языках не качеством, но количеством» (Schmidt 1985: 213, ср. Campbell 1994: 1962–1963). Утрата фонологических оппозиций (Dressler 1972), грамматических категорий (Schmidt 1985), синтаксических конструкций (Gal 1989), языковых стилей (Hill

1978) и другие изменения, описанные в исчезающих языках, встречаются и в «благополучных» языках.

Структурные изменения в исчезающих языках сопоставляли с процессами, происходящими при формировании пиджинов и креольских языков (Romaine 1989), с особенностями детской речи и речи афатиков (Menn 1989), с отклонениями при усвоении языка как второго (Andersen 1989). Хотя при этом всякий раз оговаривается, что изменения в исчезающем языке нельзя полностью уподоблять ни одному из этих процессов, несомненно сходство между речевой продукцией носителей исчезающих языков, с одной стороны, и носителей пиджинов, вторых языков и т.п., с другой. Очевидными представляются и причины этого сходства: во всех этих случаях речь идет о носителях с не вполне сформировавшейся или утраченной языковой компетенцией в описываемом языке. Структурные изменения, вызванные языковым сдвигом (а не влиянием контактирующего языка, которое можно наблюдать и в контактных ситуациях других типов), связаны с появлением среди носителей данного языка большого количества не вполне компетентных носителей. Говоря, например, что в исчезающем языке исчезает противопоставление инклюзивного и эксклюзивного местоимения 1Sg., мы имеем в виду, что появилось много носителей этого языка, которые не обязательно маркируют это противопоставление, что маркирование этого противопоставления не стало частью их активного владения этим языком (хотя пассивное владение может включать умение понимать противопоставление инклюзива и эксклюзива) (Bavin 1989). При таком подходе, т.е. если рассматривать структурные изменения в исчезающем языке как следствие появления большого числа не вполне компетентных носителей, становятся понятны и ошеломляющие, с точки зрения «благополучного» языка, темпы и масштабы изменений.

Во-первых, языковые изменения в процессе языкового сдвига распространяются не так, как, согласно теории Лабова, распространяются языковые изменения в «благополучных» языках. Распространение структурных изменений в исчезающем языке – это скорее психолингвистический, чем социальный процесс. Новый вариант не передается от

одних членов сообщества к другим, а вновь возникает в языковой компетенции каждого не вполне компетентного носителя исчезающего языка, из-за незнания правил, интерференции или, возможно, действия каких-то универсальных когнитивных механизмов. При «нормальном» изменении инновация исходит из некоторого центра, и ей требуется время на то, чтобы дойти до периферии; при изменении в исчезающем языке инновация возникает много раз во всем сообществе одновременно. Видимо, вполне оправданной будет здесь аналогия с усвоением второго языка: носители одного языка допускают одинаковые ошибки при усвоении другого языка не потому, что эти ошибки распространяются в их сообществе подобно языковым изменениям, а потому, что выбирают одинаковые стратегии решения коммуникативных проблем, неправильные с точки зрения изучаемого языка – эти стратегии оказываются одинаковыми, т.к. они подсказаны либо их родным языком, либо, может быть, какими-то универсальными когнитивными механизмами. Кроме одинаковых ошибок, каждый усваивающий второй язык может делать и свои собственные, неповторимые ошибки. Поскольку при языковом сдвиге не вполне компетентные носители исчезающего языка живут одновременно с полностью компетентными носителями, а различия между языковой продукцией первых и вторых мы трактуем как изменения, мы вынуждены констатировать стремительность этих изменений: они происходят на протяжении жизни одного поколения.

Во-вторых, индивидуальные отклонения от дескриптивной нормы, связанные с тем, что тот или иной член сообщества по каким-то причинам не вполне овладел языком этого сообщества, обычно (в «благополучных» языках) не рассматриваются как языковые изменения. Об изменениях начинают говорить тогда, когда у большого (относительно сообщества в целом) числа индивидов фиксируются одни и те же отклонения. При языковом сдвиге создаются благоприятные условия для появления многих носителей, речевая продукция которых характеризуется разнообразными отклонениями – об этих условиях см. ниже, – а разнообразие этих отклонений ограничено, с одной стороны, влиянием одного и того же доминирующего языка, которым эти носители овладе-

ли как родным, с другой стороны, универсальными характеристиками неполной компетенции в любом языке. Варьирование при языковом сдвиге может быть ограничено и другими факторами, например зафиксированной в нескольких ситуациях тенденцией к сохранению и усилению черт, которыми исчезающий язык отличается от доминирующего (Campbell, Muntzel 1989: 189, Hill 1983; в конфликте диалектов (диалект о. Мэн → стандартный английский) Parrott 2002). Эти ограничения дают возможность описывать индивидуальные отклонения не просто как неструктурированный набор вариантов, но как направленное изменение, в ходе которого утрата одного варианта сопровождается распространением другого.

То, что было сказано о связи формирования континуума компетенции и структурных изменений в исчезающих языках, не следует понимать так, будто любое изменение в исчезающих языках можно описать как отклонение большого количества некомпетентных носителей в одном и том же направлении независимо друг от друга. Нет оснований утверждать, что при языковом сдвиге не происходят «нормальные» изменения, затрагивающие носителей любого уровня компетенции, обусловленные или не обусловленные влиянием доминирующего языка, или что все не вполне компетентные носители совершают только одни и те же отклонения, или что варианты, возникающие в речи не вполне компетентных носителей, никогда не распространяются от одних носителей к другим. Здесь необходимо подчеркнуть лишь тот факт, что говоря о носителях исчезающего языка, мы отмечаем их неполную компетенцию в этом языке, а говоря о структуре исчезающего языка, отмечаем, что в этой структуре происходят быстрые и масштабные изменения, и по крайней мере некоторые из этих изменений представляют собой именно те особенности языковой компетенции, которые вынуждают нас характеризовать ее как неполную.

В качестве конкретного примера, поясняющего предположение о тождественности континуума компетенции и структурных изменений, вызванных сдвигом, рассмотрим ситуацию перехода с водского на русский. По мнению Т. Агранат и И. Шошитайшвили (Агранат, Шошитай-

швили 1997), носителей водского языка насчитывается 15 человек от 59 до 85 лет. Авторам «очевидно, что водский язык в скором времени совсем отомрет», но при этом он «продолжает оставаться полноценным языком на всех уровнях, сохраняя специфичную для него архаичную фонетику, не подвергшуюся изменениям в результате контакта, грамматику и лексику, которая не пополняется без необходимости русскими заимствованиями» (Там же: 77). Отсутствие обычных для сдвига изменений удивляет авторов, и они полагают возможным, что «водский язык, считающийся более «сложным», чем окружающие его языки, оказался устойчивее к внешним воздействиям, поскольку спектр его функций был гораздо более ограничен» (Там же). К сожалению, объяснение того, как именно могут быть связаны оценка языка как «сложного», его функциональная ограниченность и устойчивость к внешним воздействиям, в работе отсутствует.

Мне кажется более чем вероятным другое объяснение отсутствия изменений в водском языке. Т. Агранат работает с «полноценными» информантами, т.е. с теми, которые выучили исчезающий язык, когда он еще не был исчезающим, отвергая тех, кто не овладел им в достаточном объеме. Но именно в речи последних и должны проявляться изменения, связанные со сдвигом, – неудивительно, что Агранат и Шошитайшвили этих изменений не обнаружили. Предположение, что сдвиг водский → русский сопровождается появлением не вполне компетентных носителей, подкрепляется прежде всего свидетельством М. Муслимова, который включает не вполне компетентных носителей в число информантов. Среди своих информантов он насчитывает не меньше 27 водскоязычных, у которых степень владения водским колеблется от 1 до 5 (по обратной 5-балльной шкале, оценка исследователя; материалы конца 1990-х – начала 2000-х гг.); в это число входят не только люди, родившиеся в 1920-х – 30-х гг., но и их дети и внуки (Муслимов 2005, рукопись), которым было меньше 59 лет во время полевой работы Т. Агранат и которых она исключает из числа носителей водского. Именно отклонения в речевой продукции не вполне компетентных носителей, не попавших в выборку Агранат и Шошитайшвили, и могут

быть описаны как структурные изменения в процессе языкового сдвига; состоятельность такого подхода убедительно продемонстрирована в основополагающих трудах в этой области (Dorian 1981; Schmidt 1985) и во многих других работах.

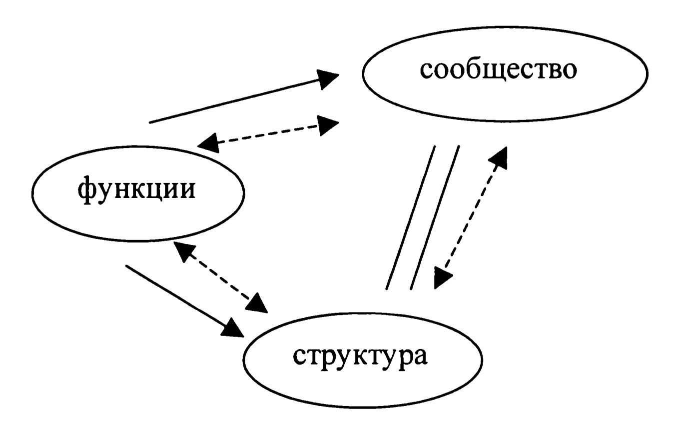
Эта связь между носителями исчезающего языка и его структурой очень отчетливо сформулирована в статье (Mithun 1990). Митун также провела предварительный отбор информантов, исключив из их числа «полуязычных» в смысле Дориан»: каждый из ее информантов родился и рос среди носителей интересующего ее языка – центрального помо (Там же: 2); общее число таких носителей центрального помо, по ее оценкам, не превышает дюжины человек. Среди шести информантов Митун была «выдающийся, по всеобщему мнению, носитель – миссис Фрэнсис Джек. (...) Когда мы расшифровали записи диалогов (в которых участвовали все шесть информантов, в т.ч. миссис Джек – К.В.), я подумала, насколько иным было бы мое представление об этом языке, не будь у меня такого информанта, как миссис Джек, не будь мое грамматическое описание основано и на ее речи, а не только на речи остальных, отражающей сильное влияние английского и последствия редкого употребления центрального помо» (Там же). По словам Митун, ко всякому правилу, описывающему структуру центрального помо, можно подобрать исключения в речевой продукции ее информантов (Там же: 23); если бы в число информантов вошли и «полуязычные» носители, размах варьирования, надо полагать, был бы еще больше.

Таким образом, такие проявления языкового сдвига, как континуум компетенции и специфические структурные изменения, представляют собой одно и то же явление.

С другой стороны, как заметила С. Гэл, «распад» системы и «выход языка из употребления» (demise) представляют собой не двойную угрозу существованию языка, но одну угрозу (Gal 1989). Использование языка является необходимым условием приобретения и сохранения языковой компетенции, а ограниченное использование может привести к тому, что компетенция в данном языке не сформируется или утратит-

ся. Анализ того, каким именно образом использование переходит во владение, – задача теорий усвоения и утраты первого и второго языка, и в рамках данного исследования эти проблемы не рассматриваются. Положение об использовании языка как необходимом условии для формирования и поддержания компетенции в данном языке представляется очевидным и не требует специальной аргументации.

Таким образом, сокращение функций исчезающего языка – третье проявление языкового сдвига – является необходимым условием появления некомпетентных носителей и, соответственно, структурных изменений, характерных для сдвига. Графически предложенное представление об отношениях между тремя проявлениями языкового сдвига выглядит следующим образом:



Это – крайне огрубленное представление процесса, но для первой стадии сдвига в каком-то приближении оно кажется верным. Здесь имеется в виду, что функциональная ограниченность является фактором первого порядка, непосредственно обусловливающим разделение языкового сообщества на более и менее компетентных носителей. Появление некомпетентных носителей не *влечет за собой* изменения, а *является* специфическими для сдвига изменениями в структуре. Появление некомпетентных носителей и появление специфических для сдвига структурных изменений не связаны причинно-следственной связью:

это, как мы говорили, описание одного и того же явления с разных сторон. То, что с социолингвистической точки зрения представляется появлением некомпетентных носителей, на языке «чистой» лингвистики интерпретируется как возникновение структурных изменений. Простые стрелки отражают ситуацию на воображаемом первом этапе, а пунктирные соответствуют периоду развития сдвига, когда начиная с некоторого момента между функциональными, социальными и структурными проявлениями сдвига возникает положительная обратная связь: все они становятся и причинами, и следствиями друг друга. Плохое владение исчезающим языком побуждает молодых людей не использовать его в разговорах со старшими, которые могут упрекать или высмеивать их за ошибки, и это означает уменьшение функциональной нагрузки языка (сообщество → функции). Отсутствие собеседников вынуждает носителей с более или менее высокой компетенцией в исчезающем языке чаще пользоваться доминирующим языком, и динамика их компетенции в исчезающем языке оказывается нулевой или отрицательной (хотя могла бы быть положительной) (сообщество → структура). Оккупация «высоких» коммуникативных сфер доминирующим языком препятствует развитию стилистического разнообразия в исчезающем языке (функции → структура). Отсутствие необходимого стилистического разнообразия, в частности терминологии, в исчезающем языке вынуждает носителей переходить на доминирующий язык при обсуждении тех или иных тем, характерных для тех или иных коммуникативных сфер (структура → функции).

Я хочу подчеркнуть, что на этом воображаемом первом этапе изменения и в структуре исчезающего языка, и в сообществе его носителей обусловлены сокращением его функциональной нагрузки. Вопрос о причинах языкового сдвига превращается, таким образом, в вопрос о причинах сокращения функциональной нагрузки одного из контактирующих языков.

Причины языкового сдвига

Для описания функциональной нагрузки языка будем пользоваться понятием *сфера использования языка* (англ. *domain*) – «область внеязыковой действительности, характеризующаяся относительной однородностью коммуникативных потребностей, для удовлетворения которых говорящие осуществляют определенный отбор языковых средств и правил их сочетания друг с другом» (Беликов, Крысин 2001: 59). Сферы использования выделяются по таким признакам, как обстановка, тема, участники коммуникации. Провести строгие границы между сферами использования языка даже в конкретном сообществе, не говоря уже об общем случае, невозможно, т.к. невозможно учесть все характеристики обстановки, темы и участников, которые могут оказаться релевантными для отбора языковых средств и правил, и выработать критерий значимости различий в этом отборе. Но можно выделить некоторые прототипические сферы использования (например, сферы семейного общения, богослужения, публичных выступлений обычно отличаются друг от друга как с точки зрения обстановки, темы и участников коммуникации, так и выбором языковых средств). Необходимо, кроме того, иметь в виду, что функционирование языка в качестве маркера групповой идентичности, особенно существенное для последних этапов сдвига (Вахтин 1998), достаточно сложно описать в терминах сфер использования языка.

Распределение языков по сферам использования может быть стабильным или меняться со временем. Изменения могут быть вызваны самыми разными факторами. Например, образование независимой Украины потребовало смены языка администрации, приток русскоязычного населения на Сахалин – смены языка бытового общения в поселках коренного населения, обращение коми-пермяков в православие – смены языка в религиозной сфере и т.п. Примерами стабильного распределения контактирующих языков (вариантов) по сферам использования могут послужить диглоссные ситуации, описанные в (Ferguson [1959] 2000), когда замены одного языка (варианте) другим в какой-либо сфере использования не происходит.

Выше мы говорили о том, что первым проявлением языкового сдвига является сокращение функциональной нагрузки языка, т.е. сокращение сфер его использования. Именно так можно определить начало языкового сдвига: сдвиг начинается тогда, когда один из контактирующих языков начинает вытесняться из тех сфер, в которых он раньше использовался. Часто это связано с возрастанием доли иноэтничного населения: при сохранении темы и обстановки общения повышается вероятность, что один из участников коммуникации не владеет языком, который ранее использовался в этой сфере (ср. выше пример нивхского языка на Сахалине). Однако это не объясняет, во-первых, каким образом контактирующие сообщества "решают", какое из них останется одноязычным, во-вторых, почему носители исчезающего языка начинают использовать доминирующий язык и в общении между собой, а также в общении с детьми, которые еще не начали говорить и которые в результате овладевают доминирующим языком как первым.

Языковые установки

Решающее значение здесь имеют чувства, которые носители испытывают по отношению к контактирующим языкам, оценки этих языков по тем или иным параметрам, «лояльность» или ее отсутствие по отношению к тому или иному языку, желание или нежелание говорить на нем (ср. Grenoble, Whaley 1999: 22, Вахтин 2001: 230). Весь этот комплекс мы будем называть *языковыми установками*, понимая под этим социальные установки, объектом которых являются функционирующие в данном социуме языки. П. Традгилл назвал языковые установки иррациональными и не имеющими никаких оснований (Trudgill 1974: 175), имея в виду, что представители языковых сообществ, вовлеченных в языковой конфликт, при обосновании своих установок приводят в пример структуры этих языков, а в структуре языка нет ничего, что могло бы оцениваться как более или менее полезное, выгодное, престижное и т.п. В действительности же языковые установки базируются не на структурных, а на функциональных характеристиках языка. Язык, используемый в сферах работы, образования, администрации, в общении с носителями более высокого статуса, оценивается как более престиж-

ный, а также полезный, выгодный и т.п., т.к. владение этим языком – необходимое условие повышения благосостояния и социального статуса. Язык, используемый только в семейном и бытовом общении, оценивается как менее престижный, бесполезный, невыгодный и т.п. При языковом сдвиге менее престижный язык вытесняется более престижным.

Языковые установки – многомерный конструкт, включающий в себя не только оценку по шкале престижности или полезности. Так, доминирующий язык может оцениваться выше исчезающего по шкале статуса, но ниже по шкале солидарности (см.: Вахтин, Головко 2004: 93). В разных случаях могут оказаться релевантными разные оценки, например выразительность / невыразительность, простота / сложность и др. Положительная установка по отношению к одному языку не обязательно подразумевает отрицательную установку по отношению к другому. В социальных установках принято выделять когнитивный, аффективный и поведенческий компонент, и смена языкового выбора является проявлением поведенческого компонента положительной установки по отношению к тому языку, в пользу которого совершается выбор. Установка по отношению к другому языку также может быть положительной, но с менее выраженным поведенческим компонентом.

Проявление положительных установок по отношению к двум языкам, находящимся в конфликте, можно наблюдать на примере многих сообществ, в которых предпринимаются неудачные попытки возрождения или поддержки исчезающего языка: аффективный компонент установки по отношению к исчезающему языку может быть очень ярко выражен, но в регуляции поведения эта установка уступает установке по отношению к доминирующему языку. Как пишут Ричард и Нора Дауэнхауэры, на вопрос «*действительно* ли мы хотим сохранить язык?» политически и эмоционально правильно решительно ответить «да!», но это «да» означает, «что кто-нибудь сохранит язык и культуру для нас» (Dauenhauer & Dauenhauer 1999: 63), т.е. поведение самих носителей исчезающего языка (в данном случае – носителей индейских языков Аляски) не обязательно регулируется аффективным компонентом по-

ложительной установкой по отношению к этому языку. Случай смены языкового выбора под влиянием установки с очень слабо выраженным аффективным компонентом приводит Дон Кулик: носители языка тайап, имеющие положительную установку по отношению к своему языку, стали разговаривать со своими детьми на ток писин, к которому не питали никаких чувств, но считали его гораздо более простым языком, чем тайап, оцениваемый ими как богатый и сложный – ведь с маленькими детьми следует разговаривать как можно проще (Kulick 1993).

Для того, чтобы изменение языкового выбора произошло, необходимо еще одно условие. Прежде чем язык начинает утрачиваться, сообщество должно (как правило) пройти стадию двуязычия. На начальных стадиях контакта двух разноязычных сообществ в каждом из них очень невелико число людей, имеющих доступ к неродному языку: число социальных связей, пересекающих границы сообществ, ограничивается из-за малого количества носителей доминирующего языка, отсутствия инфраструктуры, в которой функционирует доминирующий язык, различий в статусе и социальных норм, запрещающих контакты «по вертикали», отсутствия общих дел и тем, отсутствия, наконец, общего языка. Контакты могут иметь место лишь на индивидуальном уровне, и взаимодействие сообществ происходит через этих индивидов.

При этом носители доминирующего языка не стремятся овладеть вторым языком, а языковые установки по отношению к доминирующему языку со стороны представителей сообщества с более низким статусом могут быть сколь угодно положительны, но не приведут к языковому сдвигу в отсутствие *доступа* к этому языку.

Доступ

Многие факторы, называвшиеся разными исследователями в числе условий языкового сдвига, ответственны именно за повышение *доступа* представителей сообщества, говорящих на языке с более низким статусом, к доминирующему языку: использование его в образовании, в средствах массовой информации, относительная численность населения, смешанные браки и т.п. Эти факторы формируют не только *по-*

требность овладеть доминирующим языком, но и *возможность* удовлетворить эту потребность. Многократно отмеченные случаи лучшего сохранения языка в замкнутых, труднодоступных сообществах тоже легко объяснить через понятие доступа: положительная установка к доминирующему языку в этих сообществах может присутствовать, но никак себя не проявляет за отсутствием доступа к нему, зато дает себя знать, как только доступ появляется. Отрицательные установки доминирующего сообщества по отношению к исчезающему языку и его носителям могут препятствовать расширению доступа (созданием непреодолимых социальных барьеров между сообществами), но чаще способствуют ему: рассматривая этот язык как препятствие на пути приобщения соответствующего сообщества к благам цивилизации, представители доминирующего сообщества вводят свой язык в образование, распространяют его вместе с религией, не возражают против деловых и других социальных связей, пересекающих границы сообществ, при условии, что в этих ситуациях используется доминирующий язык.

В какой-то момент двуязычных становится столько, что они сами могут обеспечить доступ к доминирующему языку другим членам этого сообщества. Это и есть та точка, в которой начинается вытеснение исчезающего языка из ранее закрепленных за ним коммуникативных сфер. Доминирующий язык может использоваться в присутствии одноязычных или плохо владеющих им носителей исчезающего языка в разговорах на темы, связанные со сферами его использования, в разговорах с представителями доминирующего сообщества или просто в их присутствии, а также в таких коммуникативных ситуациях, в которых выбор доминирующего языка не обусловлен ничем, кроме желания говорящих продемонстрировать свое владение им.

Ключевой момент в процессе языкового сдвига, своеобразный point of no return – прекращение использования исчезающего языка в общении с детьми. Первое поколение носителей с не вполне сформировавшейся компетенцией в исчезающем языке рождается у родителей, которые *могли бы* предоставить своим детям доступ к исчезающему языку в объеме, необходимом для усвоения его как родного, но *не сделали* это-

го, т.к. под влиянием языковых установок (положительных по отношению к доминирующему языку, отрицательных по отношению к своему или и тех, и других) предпочли, по разным причинам, чтобы дети получили как можно более широкий доступ к доминирующему языку (см.: Вахтин 2001: 217–220). В результате начиная с какого-то момента доступ к доминирующему языку начинает превосходить доступ к исчезающему.

Скорее всего, это первое поколение будет иметь весьма значительную компетенцию и в исчезающем языке, поскольку доступ к нему в сообществе пока еще широк. Но именно они послужат расширению доступа к доминирующему языку и сокращению доступа к исчезающему, и расширение их социальных связей будет способствовать нарастанию сдвига. Детальное описание того, как исчезающий язык покидает те или иные коммуникативные сферы, как прекращают или не начинают им пользоваться те или иные категории носителей, может быть дано только для конкретной ситуации; сформулировать его "в общем виде" вряд ли возможно.

Однако ясно, что уменьшение доступа к исчезающему языку приводит к появлению не вполне компетентных носителей разного рода. Они предпочитают не пользоваться исчезающим языком даже в тех сферах, в которых другие представители сообщества его еще используют: им проще говорить на доминирующем языке. По мере того, как их число нарастает, изменяются и нормы языкового выбора в этих сферах [3]. Их речевая продукция отражает несформированность их компетенции, и мы говорим о стремительных и масштабных языковых изменениях, поскольку люди, имевшие достаточный доступ к исчезающему языку и овладевшие им (почти) как родным, еще живы, и отличия в их речевой продукции очевидны.

[3] Кроме численности некомпетентных носителей, имеет значение еще один фактор: доступ к исчезающему языку сужается в первую очередь для тех людей и их детей, которые близки к доминирующему сообществу, т.е. имеют высокий социальный статус и могут диктовать нормы.

Итак, мы рассмотрели превращение двуязычной ситуации в языковой сдвиг и выделили два параметра: *доступ* и *отношение к языку* (установки). В XX в. мы потеряли и можем потерять столь бóльшое число языков из-за языкового сдвига отчасти потому, что доступ к доминирующему языку расширился с распространением средств массовой информации, образования, улучшением путей сообщения и возможностей коммуникации; Нэнси Дориан формулирует это следующим образом: «в современном мире увеличилась не столько тенденция к овладению доминирующим языком, сколько возможность овладеть им» (Dorian 1989: 5). Во многих сообществах, находящихся в ситуации, когда языковой сдвиг возможен, эти же параметры в другой конфигурации могут тормозить процесс сдвига: положительная установка по отношению к доминирующему языку существовала начиная с первых стадий контакта, но ее воздействие не приводит к сдвигу из-за ограниченного доступа к нему. Доступ и отношение к языку, таким образом, представляются центральными условиями языкового сдвига.

Индивидуальные стратегии некомпетентных носителей

Выше уже говорилось о трудностях, связанных с описанием структуры исчезающего языка. Многие авторы предпочитают говорить не об одной структуре, а о «гэльском компетентных носителей» и «гэльском некомпетентных носителей» (fluent speakers' Gaelic и semi-speakers' Gaelic), см. (Dorian 1980b), о «настоящем языке васко» и «ломаном языке васко» (Moore 1989, цит. по Hill 1993), об «ограниченном венгерском» (Gal 1989), о языке дьирбал, которым владеет молодое поколение, как об отдельной системе (Schmidt 1985) и т.п., причем отмечается, что даже если постулировать не одну систему исчезающего языка, а две или несколько систем, индивидуальные различия даже между индивидами, отнесенными к носителям одной и той же системы, остаются значительными.

Исчезающий язык в таких описаниях превращается не в единую структуру, а в совокупность идиолектов. Носители с неполной компетенцией в исчезающем языке испытывают трудности, когда им прихо-

дится говорить на нем, и с этими трудностями каждый сражается в одиночку: прибегая к заимствованиям, переключениям кодов, образуя новые слова по известным словообразовательным моделям (Gal 1989), маскируя эти трудности с помощью сверхгенерализации маркированных черт (Campbell, Muntzel 1989) и т.п. Вряд ли можно найти двух не вполне компетентных носителей любого языка, которые абсолютно одинаково отклонялись бы от полной компетенции и выбирали бы к тому же абсолютно одинаковые стратегии восполнения пробелов. В то же время у нас нет другой возможности описать структуру языка, кроме анализа речевой продукции говорящих на нем.

Примерно то же можно сказать и о функциональной нагрузке языка. Использование языка в той или иной сфере означает, что для коммуникации в данной обстановке, на данную тему и с данным собеседником представители сообщества делают выбор в пользу одного и того же языка – по крайней мере, те представители сообщества, характеристики которых как носителей совпадают. Поскольку языковой сдвиг представляет собой процесс, в частности, вытеснения языка из коммуникативных сфер, мы описываем не просто распределение языков по функциональным сферам, а *изменения* этого распределения, а значит, здесь должно присутствовать варьирование, не наблюдаемое в ситуациях стабильного двуязычия, подобно тому, как варьирование языковой переменной при языковом изменении отличается от варьирования при отсутствии изменения.

В качестве очевидного примера такого варьирования можно привести связь между правилами языкового выбора и возрастом говорящего: в одной и той же коммуникативной ситуации, например при общении с хорошо знакомыми и равными по статусу собеседниками на бытовые темы в бытовой обстановке, представители младшего поколения выбирают доминирующий язык, а старшего – исчезающий идиом. Самым существенным фактором в данном случае представляется уровень владения исчезающим языком: представители младшего поколения не имели достаточно широкого доступа к нему и не владеют им в достаточном

объеме. Представителям старшего поколения, напротив, может быть сложнее общаться на доминирующем, чем на исчезающем языке.

Однако возраст является хотя и наиболее вероятным, но не единственным фактором. Соотношение доступов к исчезающему и доминирующему языкам меняется не равномерно для всего сообщества, поэтому уровень компетенции, как говорилось выше, может зависеть от места проживания, рода занятий, семейного статуса, наличия старших братьев и сестер, бабушек, и пр. Смена языковых установок также происходит неравномерно. Поэтому описание исчезающего языка с функциональной точки зрения должно представлять собой такой же континуум, как и его структурное описание.

* * *

Суммируя сказанное, можно высказать следующие два положения.

Языковой сдвиг следует рассматривать как развивающуюся во времени ситуацию языкового контакта, которая отличается от прочих контактных ситуаций в трех аспектах: функциональном (вытеснение исчезающего языка из коммуникативных сфер начиная с более «высоких»), социальном (формирование особого типа языкового сообщества – возрастного континуума компетенции) и структурном (наличие специфических языковых изменений). Результатом развития этой ситуации может стать языковая смерть.

Развитие процесса языкового сдвига обусловлено воздействием двух факторов: доступа к языку и языковых установок. Под доступом понимается возможность участвовать в коммуникации на данном языке, под языковыми установками – всевозможные проявления эмоционально-оценочного отношения к языку. Эти два фактора в разных ситуациях могут принимать самые разнообразные формы, сочетаться в различных конфигурациях и могут быть детально охарактеризованы лишь для конкретной ситуации.

С.А. Бурлак [1]

Языковой сдвиг и теория компаративистики

Проблема языкового сдвига имеет по крайней мере два аспекта – социолингвистический и собственно-лингвистический. С социолингвистической точки зрения наиболее важен такой аспект языкового сдвига, как прекращение передачи языка следующему поколению носителей. Как показывают наблюдения (см., например, [Агранат 2005]), сам язык (тех представителей старшего поколения, которые знают его, но не передают детям) может при этом не претерпеть (почти) никаких изменений. Совсем другой случай – когда язык вследствие контактов с другим языком подвергается радикальным системным преобразованиям, сохраняя тем не менее свою генетическую принадлежность, что может быть обозначено термином "прерванный сдвиг" (А.М. Певнов, устное сообщение). Такой язык может, как и любой другой, либо полностью исчезнуть в результате контактов (что, увы, чаще всего и происходит), либо продолжить существовать, будучи не хуже других языков способным к изменениям, дивергенции на языки-потомки и т.д. Именно этот последний случай – сохранение языка в сильно измененном под влиянием контактов виде – наиболее интересен для сравнительно-исторического языкознания, и именно эти изменения мы будем рассматривать в настоящей работе. Отметим также, что под "контактами" мы в настоящей работе будем иметь в виду прежде всего такие интенсивные контакты, которые рассматриваются в рамках проблематики языкового сдвига (для компаративистики не менее интересны случаи, когда в результате языковых контактов возникают пиджины, преобразующиеся затем в креольские языки, но они не входят в круг тем, затрагиваемых в настоящем сборни-

---

[1] Светлана Анатольевна Бурлак, Институт востоковедения РАН, Москва. isv@gol.ru.

ке[2]). Дело в том, что между поверхностными и интенсивными контактами есть принципиальная разница. В первом случае в исконный язык проникает некоторое количество заимствований из области небазисной лексики (которые достаточно легко отсеиваются квалифицированным исследователем), грамматика же практически не затрагивается. Именно с такого рода контактами предпочитала иметь дело классическая компаративистика: "очистив" языковой материал от результатов таких контактов, легко увидеть унаследованные от праязыка черты и построить генеалогическое древо. В случае же интенсивных контактов ситуация принципиально иная, поскольку носители по крайней мере одного языка оказываются билингвами и все подсистемы языка – и фонетика, и лексика, и грамматика – становятся доступными контактному влиянию. Естественно, в результате не только повышается процент лексических заимствований (и они обретают возможность проникать даже в область базисной лексики), но также происходят изменения в фонетической, грамматической, семантической системах, что не может не вызвать отдаленных последствий для дальнейшей эволюции этого языка (разумеется, если эта дальнейшая эволюция будет иметь место). И в этом случае попытка "очистки от контактов" будет встречать сопротивление материала, и даже если такая "очистка" будет доведена до логического завершения, ценность полученного результата может оказаться сомнительной.

Ряд проблем, изучаемых в связи с ситуацией языкового сдвига, имеет важное значение для теории компаративистики. Рассмотрению этих проблем и посвящена настоящая работа.

---

[2] Вообще говоря, образование пиджинов в некотором смысле также представляет собой языковой сдвиг, поскольку люди, говорившие на некоторых одних языках (африканских, океанийских или др.), перестают передавать эти языки своим потомкам и переходят на другой язык ("параанглийский", "парафранцузский" и т.п.); главное отличие здесь в том, что язык, на который они переходят, до этого момента не существовал.

1. Вопрос о степени интенсивности контактов

С какого момента контакты становятся достаточно интенсивным, чтобы все подсистемы языка стали проницаемыми для влияния? Классическая компаративистика не только не имеет ответа на этот вопрос, но даже, по сути, не ставит его: она располагает методами, позволяющими исключить результаты контактного влияния из рассмотрения при, например, реконструкции праязыка, но сама ее идеология (в частности, возможность разрабатывать такие методы) оценивает контакты не как неотъемлемую часть существования языка, а лишь как некую помеху для исследования. Если в случаях поверхностных контактов подобная идеология не препятствует анализу, то для случаев интенсивных контактов это уже не столь очевидно. Однако разграничение поверхностных и интенсивных контактов возможно лишь на основе анализа максимально возможного количества данных по языковым изменениям в условиях сдвига.

2. Сходство между языками – результат родства или контактов?

Одна из основных задач сравнительно-исторического языкознания – это установление языкового родства. Наблюдаемое сходство между языками может быть обусловлено (если не учитывать случайные совпадения) либо общим происхождением, либо заимствованием. Таким образом, вопрос "родство или результат контактов" имеет для сравнительно-исторического языкознания ключевое значение. Решение о генетической принадлежности языка X к семье A или к семье B (или даже к группе 1 или к группе 2 в рамках одной семьи) требует понимания того, чем отличается его сходства с языками семьи A от схождений с языками семьи B: одни из них свидетельствуют об общем происхождении, другие – о прошлых контактах[3].

---

[3] Отметим, что существует даже такая точка зрения, согласно которой язык семьи A, испытавший интенсивные контакты с языком семьи B, должен быть отнесен к обеим семьям сразу. Однако она мало полезна для изучения древнейшей истории языков (а именно такую задачу ставит перед собой компаративистика), поскольку и в этом случае необходимо установить, в какую из семей исследуемый язык входил изначально, а в какую стал входить впоследст-

В современной компаративистике нередки разногласия по поводу наличия или отсутствия родственных связей между теми или иными языками или языковыми семьями. Так, например, существует точка зрения (впервые высказанная П.К. Усларом и отраженная в таком авторитетном справочнике, как "Лингвистический энциклопедический словарь"), согласно которой картвельские языки родственны абхазо-адыгским и нахско-дагестанским, поскольку в них имеется "ряд параллелизмов" – и лишь "отставание этимологических исследований" мешает "обоснованию гипотезы об их генетическом родстве" [ЛЭС 1990: 208]; в то же время, согласно другой точке зрения (наиболее доказательное воплощение получившей в работах С.А. Старостина и, кстати, отчасти тоже отраженной в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" [ЛЭС 1990: 338-339]), кавказские языки не составляют единой семьи (несмотря на наличие в них ряда параллелизмов): картвельские языки относятся к ностратической макросемье (и тем самым, родственны уральским, алтайским, индоевропейским и дравидийским языкам), в то время как абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки составляют северокавказскую ветвь сино-кавказской макросемьи (куда входят еще сино-тибетские и енисейские языки, а также язык бурушаски) [Бурлак, Старостин 2005: 114-127].

Аргументация противников алтайского родства сводится к тому, что лексические схождения между этими языками суть заимствования, а грамматические являются следствием вхождения их в один языковой союз (или даже в принципе ничего не доказывают). Сторонники же заявляют, что они умеют отделять родственные элементы от заимствованных, и этих родственных элементов достаточно для признания реальности алтайской семьи.

Даже споры об индоевропейском родстве, вызванные давней статьей Н.С. Трубецкого [Трубецкой 1939/1987], до сих пор сохраняют актуальность – если не для лингвистов, то, по крайней мере, для представите-

---

вии, – а это фактически равносильно тому, чтобы отнести язык генетически к семье А, а семью В признать источником заимствований.

лей других гуманитарных наук (см. [Дыбо 2004]). Такого рода примеры можно множить, и споры эти будут бесконечны до тех пор, пока не будет разработана теория, позволяющая отделить (если не строго, то хотя бы в виде ранжирования по вероятности) те элементы, сходство которых может возникнуть в результате контактов, от тех, чье сходство является надежным индикатором родства, – причем так, чтобы это было убедительным для всех, а не только для представителей какой-то одной (пусть даже наиболее авторитетной) научной школы, столь же убедительным, как, например, гелиоцентрическая модель устройства Солнечной системы. Результаты собственно-компаративистических исследований, по-видимому, не могут лечь в основу такой теории, поскольку любые гипотезы относительно того, что было с древними языками в дописьменную эпоху, в принципе непроверяемы.

Поэтому для теории компаративистики так важно обращение к современным материалам по языковым изменениям в условиях сдвига. Наблюдая контакты языков с известной генетической принадлежностью, мы можем сравнительно легко отделить исконные черты от черт, возникших в результате взаимодействия с другими языками. Накапливая соответствующий материал, можно будет более полно, четко и аргументированно сформулировать обобщения относительно того, какие сферы языка более, а какие менее проницаемы для контактного влияния (такой критерий, как базисная лексика, признается не всеми учеными, кроме того, границы этого лексического пласта довольно размыты). Это даст возможность делать обоснованные выводы относительно языков, история которых неизвестна: если язык X роднят с семьей А черты, легко передающиеся при достаточно интенсивных контактах, а с семьей В – черты, мало подверженные контактному влиянию, то вопрос о генетической принадлежности языка X к семье В решается более обоснованно.

Вообще, само понятие языкового родства в известном смысле предполагает отсутствие интенсивных языковых контактов: языки изменяются, ирландский язык, например, не слишком похож на праиндоевропейский, и говоря о том, что ирландский язык является потомком, "результатом эволюции", праиндоевропейского, компаративист непремен-

но имплицитно подразумевает, что, хотя индоевропейский язык и менялся, передаваясь из поколения в поколение, всегда в двух соседних поколениях язык был "один и тот же", то есть, при движении от праиндоевропейского к ирландскому нигде не было перехода на другой язык. Без глубокого понимания того, что такое языковой сдвиг, подобные утверждения становятся голословными, переходят из числа обоснованных гипотез в число неясных догадок, не имеющих доказательной силы, и вопросы о существовании тех или иных языковых семей решаются голосованием (см. [Бурлак, Старостин 2005: 9]).

3. Контакты и конвергенция

В лингвистике существует точка зрения, согласно которой по крайней мере некоторые языки (а возможно, даже все, как утверждал И.А. Бодуэн де Куртенэ в статье 1901 г. "О смешанном характере всех языков" [Бодуэн де Куртенэ 1963: 367]; см. тж. [Шухардт 1950]) являются смешанными, и, тем самым, возможно возникновение языков путем конвергенции – смешения первоначально неродственных языков. Если это верно, компаративистика в значительной мере лишается права на существование, поскольку практически никакие генеалогические деревья при таком устройстве мира не могут соответствовать реальности. Для того, чтобы решить этот нескончаемый теоретический спор, необходимо обратиться к изучению современных материалов по языковым изменениям в условиях сдвига – именно они способны пролить свет на то, могут ли контакты привести к реальному смешению языков, и если да, то при каких условиях; если же существуют как смешанные, так и несмешанные языки, то чем первые отличаются от вторых[4]. Это позволит узнать границы применимости компаративистической методики – все ли языки доступны сравнительно-историческому изучению, а если нет, то как про каждый следующий язык определить, можно ли его исследовать сравнительно-историческими методами. В книге [Бурлак,

---

[4] Отметим, кроме того, что понимание "смешанности" языков у разных исследователей разное, и четкое определение того, какую ситуацию разумно (и полезно для исследований) называть языковым смешением, также должно явиться следствием изучения интенсивных языковых контактов.

Старостин 2005: 55-64] предпринимается попытка решения этой теоретической проблемы, однако материал, на котором строятся обобщения, практически ограничивается полевыми наблюдениями одного из авторов (С.А. Бурлак). Разумеется, чем больше материалов будет включено в рассмотрение при построении теории, тем более эта теория будет адекватна и тем более обоснованными будут ее положения, поэтому исследование современных изменений, происходящих в условиях языкового сдвига, имеет, на наш взгляд, огромное значение для теории компаративистики. Большее количество данных позволит сформулировать типологические обобщения, проследить корреляции между отдельными изменениями, а также соотношение с условиями, в которых эти изменения происходят, – в конечном счёте это позволит, как кажется, построить теорию, объясняющую принципы изменений в условиях интенсивных контактов, и решить одну из "вечных" проблем компаративистики – проблему дивергенции и конвергенции.

Помимо таких глобальных теоретических проблем, исследование современных материалов по языковым изменениям в условиях сдвига имеет значение для решения целого ряда частных вопросов сравнительно-исторического языкознания.

4. Поправка на контакты про построении генеалогического древа

При построении генеалогического древа языков, родство которых доказано, результаты контактов должны учитываться сразу в нескольких аспектах. Например, языки, подвергшиеся сильному контактному влиянию, нередко выглядят так, как если бы они отделились от праязыка раньше прочих, поскольку более значительные, чем у других языков, изменения, отдаляющие эти языки от праязыка, видны невооруженным глазом. Даже при глоттохронологических подсчетах датировка дивергенции для языков, подвергшихся сильному контактному влиянию, может быть удревнена (см. [Бурлак 2000]), хотя глоттохронологическая методика имеет специальную "защиту от контактов": заимствованные слова, согласно процедуре, вычеркиваются из списка. Метод, который бы позволял про каждый данный язык сказать, подвергался ли он в ходе

своей истории контактному влиянию, достаточно сильному для того, чтобы делать на это поправку, пока нет. Нет и инструкции, как именно вводить соответствующую поправку. Между тем, это представляется необходимым, поскольку интенсивные языковые контакты – далеко не редкость (и вряд ли были редкостью в древние времена), и неучет их, как кажется, способен серьезно исказить картину языковой истории. Разработать же соответствующую методику можно, по-видимому, только на базе наблюдаемого материала по интенсивным контактам – то есть, именно того, что изучается в рамках проблематики языкового сдвига.

Не менее сложную проблему для построения генеалогического древа представляют вторичные контакты диалектов и близкородственных ("заметно родственных", по терминологии, принятой в [Бурлак, Старостин 2005]) языков. Такие контакты смазывают и затемняют первоначальную картину дивергенции. По мнению одних исследователей, независимо от контактов, "в любом случае мы можем изобразить соотношение между языками в виде генеалогического древа" [Бурлак, Старостин 2005: 159] и следует разрабатывать методику, которая сделает процедуру классификации (контактирующих) близкородственных языков наиболее простой и операциональной (такую цель, в частности, ставил С.А. Старостин, совершенствуя методику глоттохронологии). Другие исследователи считают, что целесообразно строить разные деревья по разным инновациям, так, чтобы за древом, отражающим ныне существующие родственные связи между близкими языками или диалектами, видеть контуры более древнего древа (возможно, и не одного), отражающего более раннюю картину родственных связей (см. [Дыбо 1996]). Для третьих исследователей способность близкородственных языков вступать в контакты, при которых переход с одного языка на другой происходит фактически незаметно для носителей, вообще служит поводом для отказа от классификации внутри неглубокой подгруппы (А.Б. Долгопольский, устное сообщение). Представляется, что накопление и систематизация материала по языковым изменениям в условиях сдвига – в том числе, при контактах языков, *не* связанных близким родством, –

поможет создать теорию, способную решить такого рода проблемы. В частности, не исключено, что такая теория сможет ответить на вопрос, являются ли изменения, происшедшие в диалекте X под влиянием диалекта (или заметно родственного языка) Y, еще "изменениями диалекта X" или уже языковым сдвигом – переходом на диалект (язык) Y.

Только исследование максимально возможного количества данных по языковым изменениям в условиях сдвига даст возможность узнать, есть ли что-то общее в изменениях, возникающих под действием контакта с близкородственным языком (или диалектом), и изменениях, появляющихся в результате контакта языков, не связанных близким родством. Если это общее есть – у исследователей будет возможность использовать данные по одним изменениям для понимания других, если же нет – можно будет поставить (и затем решить) проблему, какой степени родства достаточно, чтобы контакты проходили "по близкородственной модели".

5. Контакты как причина языковой дивергенции

Языковые контакты могут индуцировать дивергенцию, причем дивергенцию двух типов. Первый тип составляют случаи, когда какой-либо диалект языка A под влиянием языка B (а иногда не только B, но и C, и D...) сильнейшим образом меняется, но тем не менее остается языком той же семьи, что и A, – в этом случае происходит дивергенция языка A на L (A, испытавший влияние B, – например, так возник, отделившись от нидерландского, язык африкаанс) и M (A, не испытавший такого влияния, в данном случае – нидерландский). Другой тип составляют случаи, когда в результате контакта языков A и B группа, бывшая изначально носителем языка A, перешла на язык, близкий к B, но не тождественный ему (т.е. люди стали говорить на B, но выучили его при этом плохо). Это ситуация языкового сдвига (поскольку язык A с некоторого момента перестал передаваться следующим поколениям носителей), – но здесь есть некоторая дополнительная тонкость: если нет необходимости "доучивать" язык B до совершенства, такая ситуация может положить начало дивергенции, правда, не языка A, как в предыду-

щем случае, а языка B. Язык B оказывается распавшимся на L (то, что получилось из языка B у бывших носителей A, т.е. язык со следами субстратного влияния языка A, – например, так возник, отделившись от якутского, долганский язык) и N (та часть языка B, которая не контактировала с A, – в данном случае якутский). Проводить границу между этими двумя типами важно для того, чтобы уметь в каждом случае определить генетическую принадлежность языка L. Существует мнение, что переход от первого типа ко второму происходит очень быстро, возможно, за одно-два поколения, поэтому промежуточных случаев (т.е. таких, когда язык L оказывается ровно "на полпути" от языка A к языку B) не может быть: как сказано в учебнике [Бурлак, Старостин 2005: 14], "нельзя признать случайным тот факт, что среди многих сотен исследовавшихся языков нет **ни одного** такого, в котором половина базисной лексики происходила бы из одного источника, а половина – из другого". Это предположение представляется верным, однако строгое его доказательство (а также теоретическое обоснование – объяснение, почему бывает так, а не иначе) может быть получено, как кажется, лишь в результате исследования значительного количества материала по языковым изменениям в условиях сдвига.

К последнему случаю дивергенции близка ситуация с креольскими языками, представляющими собой большую проблему для сравнительно-исторического языкознания (с одной стороны, они не могут быть включены в древовидную классификацию, с другой – отсутствуют способы определения, является ли язык X, история которого неизвестна, креольским или нет). Действительно, и в том, и в другом случае этнос A переходит на язык, близкий к языку B, но не тождественный ему, и этот получившийся язык оказывается возникшим как бы "с чистого листа" – нет такого языка-предка, с которым бы его связывала цепочка непрерывной лингвистической преемственности. Возможно, лучшее понимание природы контактных взаимодействий могло бы помочь включить креольские языки в число полноправных объектов исследования для сравнительно-исторического языкознания, а также дать возможность установить, были ли креольскими, в частности, некоторые праязыки.

6. Контакты и реконструкция праязыка

Не менее важно исследование языковых изменений в условиях сдвига и для реконструкции праязыка. Здесь имеется целый ряд нерешенных вопросов. Что может дать для реконструкции язык, подвергшийся сильному влиянию? Могут ли в таких случаях сохраняться какие-то контрасты, утраченные в других ветвях соответствующей семьи, – и если да, то как может быть доказана их древность? Кроме того, поскольку контрасты могут не только утрачиваться, но и возникать под контактным влиянием (как, например, возник в результате контактов с дравидийскими языками ряд церебральных согласных в санскрите, – при этом церебральные согласные появились не только в заимствованных, но и в исконных словах), необходимо иметь методы, которые давали бы возможность отличать исконные корреляции от контактно-индуцированных не только в таких очевидных, как приведенный, но и в более сложных случаях. Это необходимо для реконструкции, поскольку остерегает исследователя от возможности необоснованно спроецировать какие-то языковые черты на праязыковой уровень.

Кроме того, возможно, что по каким-то признакам, характерным для языков, подвергшихся сильному контактному влиянию, можно будет получить дополнительную информацию о праязыке – с какими языками он контактировал и как именно. Если это так, открываются дополнительные возможности для восстановления праязыка – а именно, для социолингвистической реконструкции, о которой говорил на конференции Е.А. Хелимский.

Заключение

В социолингвистике накоплено уже немало наблюдений и теоретических обобщений, касающихся языковых контактов. Так, в работе [Thomason, Kaufman 1988] проводится разграничение двух таких социолингвистических ситуаций, как сохранение языка при контактах и языковой сдвиг, а также анализируются разные типы доминирования языков при языковом контакте. В работе [Trudgill 2002] показано, что последствия для контактирующих языков будут различаться в зависимо-

сти от того, являются ли языковые контакты длительными и стабильными или же краткими и включающими неполное усвоение языка взрослыми носителями. В докладе А.Ю. Русакова рассматривался вопрос о том, существуют ли – и если да, то насколько распространены, – контактообусловленные изменения, представляющие собой не результат конкретного интерференционного воздействия одного языка на другой, а следствие языкового контакта как такового (Русаков 2005). В работе Е.Ю. Груздевой (см. статью Е.Ю. Груздевой в первой части настоящего издания. – *Ред.*) предпринимается попытка разделить изменения, происходящие в контактирующем языке на те, которые вызваны влиянием доминирующего языка, и те, которые происходят по причинам внутриструктурного характера и напрямую с контактами не связаны. Такого рода результаты постепенно становятся достоянием компаративистической теории, не только западной, но и отечественной, стоящей на более традиционных позициях и в большей степени ориентированной на доказательство родства и реконструкцию праязыков. Представляется, что накопление включенных в рассмотрение материалов по языковым изменениям в условиях сдвига будет способствовать дальнейшему развитию теоретической базы сравнительно-исторического языкознания. Не будет преувеличением сказать, что объединение усилий контактологии и компаративистики в деле осмысления языковых контактов будет плодотворным для лингвистической теории в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что стремление исследовать в первую очередь современные языковые изменения лежит в русле общемировых тенденций: так, например, в новейшем западном учебнике по сравнительно-историческому языкознанию [Joseph, Janda 2003] изложение собственно-компаративистических методик занимает лишь первые триста страниц – остальные четыре с половиной сотни посвящены анализу практически исключительно тех изменений, которые можно наблюдать при синхронном изучении языков, в крайнем случае – при проведении исследований с интервалом в несколько десятилетий (или изменений, прослеживаемых по письменным памятникам). И это объяснимо, поскольку в качестве одной из главных задач сравнительно-

исторического языкознания в этой книге выдвигается "построение теории языковых изменений" [Joseph, Janda 2003: 214]. Несомненно, что исследование изменений, вызванных контактами, должно занять в этой теории достойное место.

А. М. Певнов [1]

Язык на грани смены [2]

По мере стремительного и неизбежного сокращения числа языков на Земле в лингвистике все более возрастает интерес к выявлению причин и механизмов смены одного языка другим. Немалое количество зарубежных публикаций на эту тему проанализировано в книге [Вахтин 2001], что дает мне возможность адресовать к ней тех, кто интересуется историей изучения смены языка, и сразу перейти к обсуждению проблемы, сформулированной в названии статьи (отмечу лишь две работы, связанные с этой тематикой и опубликованные относительно недавно: [Muysken 2000; Myers-Scotton 2002]).

Смену языка в русскоязычной лингвистической литературе уже довольно давно (правда, далеко не все) стали называть «сдвигом». Например, при переводе статьи У. Вайнрайха [Вайнрайх 1972] на русский язык А.К. Жолковский использовал именно этот термин [3]. Русский термин «сдвиг» выступает эквивалентом слова «shift», принятого в англоязычной социолингвистической литературе. Безусловно, это многозначное английское слово в некоторых случаях может переводиться при помощи русского слова «сдвиг» (например: the Great Vowel Shift 'великий сдвиг гласных'), однако для выражения понятия смены языка, замены одного языка другим (language shift) такой перевод не совсем удачен. Можно было бы, конечно, воспользоваться русским словом «смена», но и оно как термин не вполне подходит из-за наличия у него, так сказать,

---

[1] Александр Михайлович Певнов, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. pevnov@iling.nw.ru.

[2] Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проекты № 05-04-04269а, № 06-04-00354а). Основные идеи этой статьи были мною апробированы в докладе в 2001 г. в Киото (опубликован [Pevnov 2004]).

[3] Е.В. Головко, устное сообщение.

фоновых значений, устраняемых только в словосочетании «смена языка». Есть еще один вариант – заимствовать, а не переводить английский термин (*shift* > *шифт*). В качестве лингвистического термина слово «шифт» кажется мне вполне приемлемым, тем не менее, в данной статье по некоторым причинам будет использоваться термин «сдвиг».

Языковой сдвиг – это происходящая при особых социолингвистических условиях в рамках всего этноса на протяжении жизни нескольких поколений замена одного языка, бывшего родным, иным языком, который становится родным вместо прежнего. Родным языком является тот, на котором родители научили говорить ребенка в первые годы его жизни и который он освоил настолько, что, повзрослев, он в принципе мог бы аналогичным образом передать его своим детям. Таким образом, **для ребенка и для взрослого должны быть разные критерии определения родного языка: для ребенка это язык, которому *его* способны обучить родители, для взрослого же человека это язык, которому *он* способен научить своих детей**. Необходимо уточнить, что обучение родному языку всегда проходит совершенно естественно и, как правило, неосознанно (причем с таким результатом, чтобы обучаемый смог впоследствии сам стать «учителем»). Случается, впрочем, и так, что у родителей разные родные языки – тогда у ребенка может быть два «первых родных языка».

Иногда язык, усваиваемый ребенком от родителей, бывает иным, нежели тот, который он в будущем окажется способен передать своим детям. Иначе говоря, ко времени рождения детей человек обретает второй родной язык, причем язык родителей он может знать уже не так хорошо, как второй, который становится для него «более родным» (соответственно и двуязычный с детства человек вовсе не обязательно владеет обоими языками в одинаковой степени и поэтому передает своим детям также только «более родной»). Когда такой процесс у представителей какого-либо народа постепенно охватывает всех или очень многих носителей, через какое-то время вполне вероятна (но еще не неизбежна) смена языка, или языковой сдвиг.

В соответствии с тематикой конференции мой доклад, на основе которого написана эта статья, был посвящен одному вопросу – как меняется язык (языковая система) на финальном этапе языкового сдвига. Мой ответ на этот вопрос и в докладе, и в данной статье предельно прост: никак (или почти никак).

Языковой сдвиг в ускоренном темпе может происходить по следующей схеме:

A → A → Ab → AB → Ba → B → B

Стрелки в этой схеме указывают смену поколений; символом ***b*** обозначен потенциальный, а символом ***B*** – реальный язык-победитель; заглавными буквами обозначен язык, которым человек владеет настолько, что способен передать его в качестве родного своему ребенку; строчными, наоборот, такой язык, который человек не способен передать в качестве родного своему ребенку.

Аналогичные буквенные символы, которыми выражается динамика постепенного развития и угасания двуязычия, использованы в книге В.А. Аврорина [Аврорин 1975]. Вот как комментирует Аврорин эту запись: «Допустим, что перед нами процесс постепенного перехода от одноязычия к идеальному двуязычию с равной степенью владения обоими языками, который можно изобразить так: $А > Аб_1 > Аб_2 > Аб_3 \ldots Аб_n > АБ$, где между одноязычием *А* и идеальным двуязычием *АБ* располагается бесчисленное количество ступеней постепенного овладения вторым языком $Б$ ($б_1$, $б_2$, $б_3$, … $б_n$)» [Аврорин 1975: 141].

Приведенная выше схема языкового сдвига в зависимости от конкретных обстоятельств, по-видимому, может, как гармошка, либо растягиваться, либо, наоборот, сжиматься. Однако именно такую динамику языкового сдвига (точнее: ***Ab → AB → Ba → B***) мы с М.М. Хасановой наблюдали у негидальцев [4] на протяжении почти двадцати лет (симво-

---

[4] Негидальским языком, относящемся к числу тунгусо-маньчжурских и близко родственным эвенкийскому и эвенскому, в настоящее время в разной степени владеет в лучшем случае лишь несколько десятков двуязычных людей, проживающих в некоторых селах в низовьях Амура (в Ульч-

лами ***A*** и ***a*** в данном случае обозначается негидальский язык, а символами ***b*** и ***B*** – русский). В начале восьмидесятых годов, когда мы начали изучать негидальский, языковую ситуацию у негидальцев в целом можно было охарактеризовать (по трем поколениям: бабушки/дедушки – родители – дети) как ***Ab*** – ***AB*** – ***Ba***; в настоящее время ситуация уже иная: ***AB*** – ***Ba*** – ***B***, причем через несколько лет она неминуемо сменится ситуацией ***Ba*** – ***B*** – ***B***. Функционально-языковой статус ***AB*** является критическим для дальнейшего развития языковой ситуации («критическое двуязычие»), статус же ***Ba*** можно рассматривать как «точку невозврата» (point of no return) для языка ***a***. Иначе говоря, языковой сдвиг вступает в необратимую фазу с уходом из жизни последних в данном языковом коллективе индивидуумов с функционально-языковой характеристикой ***AB*** (билингвов).

Следует уточнить, что цепочка ***Ba*** → ***B*** → ***B***, по-видимому, несколько упрощает реальную картину финального этапа смены языка. В действительности у нескольких поколений постепенно может утрачиваться умение пользоваться своим «бывшим родным языком»: ***Ba*** → ***Ba*** → ***Ba***... Кстати, В.А. Аврорин процесс «полного вытеснения языка *А* в пользу языка *Б*» изображает так: «$АБ > Ба_n > Ба_1 > Б$» [Аврорин 1975: 147].

Для нашей темы исключительно важным является понятие степени владения языком. *Система* исчезающего языка вряд ли меняется сколько-нибудь существенно, однако у поколения детей по сравнению с поколением родителей, а также поколением дедушек и бабушек заметно снижается степень владения этой системой в *речевой деятельности*. Не только смешение кодов, но и недостаточное владение языком не следует принимать за происшедшие в его системе изменения.

Степень владения языком (языковой системой) можно назвать речевой способностью, т.е. способностью использовать языковую систему в

ском и Николаевском районах Хабаровского края) и на реке Амгунь (главным образом в деревне Владимировка района им. Полины Осипенко Хабаровского края).

речевой деятельности (ср. термин «language competence»). Таким образом, язык как система противопоставлен речи, реализующейся в виде триады: речевая способность – речевая деятельность – результат(ы) речевой деятельности. Интересно, что в условиях языкового сдвига редукция речевой способности проявляется в значительно большей степени в порождении речи, нежели в ее понимании. Сами представители некоторых народов Севера характеризуют русским словом «слышу» свою не очень высокую степень владения языком своих предков, например: «Он по-эвенкийски-то говорит?» – «Да слышит ...». Этим словом выражается то, что человек понимает всё или почти всё, но говорит плохо (а при чужих вряд ли вообще заговорит).

Ограниченное владение языком (языковой системой), или различная речевая способность, проявляется у начинающих говорить детей, у тех, кто страдает афазией, у изучающих чужой язык и, наконец, у тех, кто в условиях языкового сдвига уже не способен передать детям язык своих предков в качестве родного. Применительно ко всем этим маргинальным видам речевой способности вряд ли можно говорить о каких-то изменениях языковой системы. Например, у ребенка по мере накопления опыта речевого общения изменяется не языковая система, а совершенствуется владение ею в процессе говорения и понимания чужой речи, т.е. развивается речевая способность, при этом система языка, которому он учится в процессе речевого общения, постепенно получает в его голове все более и более отчетливые очертания, как бы выкристаллизовывается. Иначе говоря, языковая система в голове ребенка не меняется, но постепенно появляется и становится все более четкой, подобно изображению на фотографии в процессе ее проявления. То же происходит в обратном направлении при утрате языка, когда человек постепенно теряет навыки порождения речи, постоянно общаясь на каком-то другом языке. Следует поэтому ожидать наличие общих особенностей между всеми видами, так сказать, динамической, т.е. усиливающейся или ослабевающей речевой способности (таких видов несколько и некоторые из них были только что названы).

Тот, кто знаком с англоязычной социолингвистической литературой, скорее всего скажет, что у индивидуумов с функционально-языковой характеристикой ***Ba*** наблюдается language attrition – индивидуальное разрушение, буквально «стирание языка», т.е., надо понимать, языковой системы (см. напр. [Andersen 1982; Maher 1991]). Такой подход предполагает возможность наличия у носителя языка своего, лишь ему свойственного варианта языковой системы, а по сути индивидуальной языковой системы, что невозможно в принципе, так как в отличие от речи языковая система по определению всегда надындивидуальна, социальна.

Ограниченная степень владения языком своих предков (редуцированная речевая способность) у индивидуумов с функционально-языковой характеристикой ***Ba*** проявляется в том, что 1) сокращается общее количество используемых в речи слов и синтаксических конструкций; 2) постоянно и каждым индивидуумом по-своему калькируется в речи лексическая семантика и различные синтаксические конструкции по образцу побеждающего языка; 3) игнорируются в речи некоторые грамматические особенности, отражающие специфику побеждаемого языка; 4) изменяется артикуляция звуков в подражание их произношению в побеждающем языке.

Когда язык ***A***, подверженный угрозе исчезновения, лишается своих последних носителей с характеристикой ***Ab*** или ***AB***, какие-либо системные изменения в нем становятся, по-видимому, вообще невозможными. Иначе говоря, «полузнание» языка ***a*** подавляющим большинством представителей этноса исключает возможность появления в нем каких-либо системных изменений (при этом в речевой деятельности таких «полутораязычных» индивидуумов постоянно происходит невероятное и непредсказуемое смешение кодов). Таким образом, можно сделать вывод, что язык ***A*** в условиях конкуренции с языком ***B*** способен изменяться только при нормальной, нередуцированной речевой способности большей части носителей этого самого языка ***A***.

Важно иметь в виду, что истинное двуязычие, как его называл В.А. Аврорин, вовсе не обязательно должно заканчиваться сменой языка: «Процесс развития двуязычия может прерваться в любой точке и путем постепенного регресса вернуться на исходные позиции первоначального одноязычия ...» [Аврорин 1975: 147].

Такое «регрессивное двуязычие» в условиях начавшейся было смены одного языка другим иногда, вероятно, может иметь необычные последствия. На конференции «Языковые изменения в процессе языкового сдвига» автор данной статьи, выступая по поводу одного из прочитанных на ней докладов, высказал идею о теоретической возможности «недосдвига» языка (или «прерванного сдвига». – *Ред.*), т.е. несостоявшейся по тем или иным причинам или происшедшей фрагментарно смены одного родного языка другим. Имеется в виду первоначальное развитие языковой ситуации в направлении сдвига, который был «отменен» вследствие благоприятного для исчезающего языка изменения этой ситуации. Исключительно интересным результатом «недосдвига» («прерванного сдвига») следовало бы считать возможность фрагментарной смены языка или, иначе говоря, возможность возникновения смешанного языка. Ярким примером языкового смешения служит медновский алеутский, первое описание особенностей которого принадлежит Г.А. Меновщикову [Меновщиков 1964]. По мнению П. Баккера, «... следует ограничить его (термина «смешанные языки». – А. П.) использование теми случаями, в которых генетическая классификация более невозможна» [Bakker 2000: 29]. Несколькими строками ниже читаем: «смешанные языки невозможно поместить на генеалогическом древе, потому что у них более одного языка-источника (parent language)...» [Bakker 2000: 29]. На мой взгляд, смешанные языки, весьма редко встречающиеся на лингвистической карте мира, отличаются тем, что они **демонстрируют парадоксальную возможность родства с неродственными между собой языками**, т.е., например, медновский одновременно родствен и алеутскому, и русскому. **Своего рода «генетическое раздвоение» наблюдается также при смешении близкородственных языков: продукт их смешения – некий новый язык – одновременно (но по**

разным признакам) становится принадлежностью двух единиц (ветвей, групп) в рамках генетической общности (языковой семьи) [5]. В качестве примера такого смешения можно привести идиом кили. Единственное и, к сожалению, довольно краткое описание этого уникального тунгусо-маньчжурского идиома сделано около полувека назад О.П. Суником, именовавшим его кур-урмийским диалектом нанайского языка [Суник 1958]. Г. Дёрфер был склонен считать его самостоятельным языком (хотя и близким к нанайскому), он же «для краткости» предложил называть его кили, а не кур-урмийским [Doerfer 1975]). По всей вероятности, с идиомом кили имеет много общего представленный на территории КНР в провинции Хэйлунцзян идиом хэчжэ (в нашей литературе он назывался языком (говорами) зарубежных нанайцев [Суник 1958: 16-25]). Смешанный идиом кили можно причислять одновременно к двум группам в рамках тунгусо-маньчжурской языковой семьи: с одной группой (условно северной) кили вроде бы в большей степени сближает лексика (в том числе иногда и базисная), с другой же группой (прежде всего с нанайским языком – условно южным) его как будто больше объединяет грамматика. Такое раздвоение соответствует, например, предложенному П. Баккером определению смешанного языка: «Только если грамматическая система и базисная лексика языка имеют различное происхождение ИЛИ если оба эти компонента приблизительно в одинаковой степени из разных языковых источников, можно говорить о смешанном языке» [Bakker 2000: 29]. О том, что в смешанном идиоме кили лексика унаследована в значительной мере от какого-то тунгусо-маньчжурского языка, напоминающего эвенкийский, свидетельствуют некоторые существенные историко-фонетические особенности этого идиома (О.П. Суник считал, что «фонетические особенности кур-урмийского диалекта сближают его известным образом с другими языками тунгусо-маньчжурской группы, прежде всего с маньчжурским и эвенкийским» [Суник 1958: 54]). Вероятно, кили первоначально и был одним из тунгусских (эвенкийских) диалектов; контакт с родственным ему нанайским языком должен был

---

[5] См. статью С.А. Бурлак в настоящем сборнике. (*Прим. ред.*)

увенчаться победой последнего, однако затянувшийся сдвиг на стадии массового двуязычия по какой-то причине был прекращен, в результате чего, как можно думать, и возник смешанный нанайско-эвенкийский идиом.

В.А. Аврорин приводит в качестве примера смешанного языка орочский, в котором соединились особенности сразу трех генетически относительно близких тунгусо-маньчжурских языков: «Произошло явное смешение языков, отчетливо заметное до сих пор, и возник новый язык, корреспондирующий одними компонентами своей структуры с нанайским языком, другими – с удэгейским, третьими – с эвенкийским. Это явилось причиной наличия в орочском языке необычайно большого числа как синонимических, так и омонимических элементов и в лексике, и в морфологии. Достаточно сказать, что одних деепричастных форм в этом языке можно насчитать до семнадцати, причем некоторые из них эквивалентны или очень близки по значению друг к другу» [Аврорин 1975: 151].

По-видимому, вариативность, большое количество синонимов вообще следует считать свойством смешанных языков и диалектов. В частности, в таком «образцовом» представителе смешанных языков, каким является язык медновских алеутов, отмечается «вариативность, в очень высокой степени присущая» ему [Головко 1997: 124], что проявляется на всех уровнях, в том числе и на фонологическом, допускающем даже «компромиссное сосуществование двух фонологических систем» [Там же: 120]; о синонимах и вариативности в идиоме кили судить не берусь, хотя О.П. Суник писал: «В наших текстовых материалах имеется немало случаев различного написания одних и тех же по своему лексическому, грамматическому и даже фонологическому значениям фактов, что объясняется реальным разнообразием живого произношения разных лиц или одного и того же лица» [Суник 1958: 109].

Предположение о том, что смешанные языки возникли в результате назревавшей в условиях массового двуязычия, но затем по той или иной причине несостоявшейся смены языка, основано лишь на общих сооб-

ражениях и требует либо аргументированного подтверждения, либо опровержения.

В определенном смысле смешанным является письменный японский язык, в котором китайские лексические элементы по частоте встречаемости в тексте явно доминируют над исконно японскими, причем существуют в языке и те, и другие относительно автономно и часто синонимичны друг другу (ярким примером служит наличие собственно японских числительных от одного до десяти включительно и соответствующего ряда синонимичных числительных китайского происхождения). Однако языковое смешение в японском (как в корейском и во вьетнамском) представляет собой результат письменной, а не устной экспансии китайского языка. В.М. Алпатов пишет, что в японском языке «довольно четко выделяются три подсистемы: ваго (исконные единицы и древнейшие заимствования, происхождение которых забылось), канго (китаизмы) и гайрайго (заимствования нового времени, преимущественно из английского языка)» [Алпатов 1997: 330]. Следует подчеркнуть, что языковое смешение типа того, которое мы наблюдаем в письменном японском (имеется в виду сосуществование «ваго» и «канго» в лексике), существенно отличается от «классического» смешения, характерного, например, для медновского алеутского языка, в котором «бóльшая часть лексики по происхождению алеутская» [Головко 1997: 124], а не русская. Общим для японского и медновского алеутского является то, что результатом языковых контактов выступают не заимствования, а как бы трансплантация крупного блока системно организованного языкового материала (в японском китайского, а в медновском алеутском русского), причем «трансплантированный» материал не прерывает генетическую преемственность с языком-донором, т.е. возникает язык, обладающий двумя языками-предками.

С еще большей неуверенностью рискнул бы объяснять не доведенным до завершения сдвигом возникновение нескольких языковых семей, которые не всеми признаются таковыми (имеется в виду, например, алтайская квазигенетическая языковая общность, а также отношения, не совсем укладывающиеся в рамки генетических, между эскимос-

скими и алеутским языками, между ительменским и чукотско-корякскими).

В начале данной статьи была приведена схема, иллюстрирующая языковой сдвиг, который происходит в ускоренном темпе (***A*** → ***A*** → ***Ab*** → ***AB*** → ***Ba*** → ***B*** → ***B***) (где каждая стрелка соответствует смене поколения). Очевидно, при столь стремительном изменении языковой ситуации подверженный сдвигу язык просто не успевает отреагировать какими-либо системными изменениями на усиливающееся давление другого языка. Идеальным условием для контактных языковых изменений является полное двуязычие, при котором человек способен в более или менее одинаковой степени пользоваться обоими языками и передавать их следующему поколению (т.е. это функционально-языковая характеристика ***AB***). Однако эти самые контактные изменения требуют полного двуязычия какого-то количества человек в течение более длительного срока, чем одно поколение. Кстати, предложенное выше понятие «недосдвига» («прерванного сдвига») предполагает не ускоренный, а замедленный темп дрейфа языковой ситуации в критическом направлении. Если бы было иначе, то в «недосдвинутом» языке вряд ли могли произойти кардинальные изменения под влиянием языка побеждавшего, но в конечном счете по каким-то причинам оказавшегося неспособным полностью вытеснить исчезающий идиом.

Таким образом, в ситуации сдвига системные изменения под влиянием побеждающего языка или вообще не происходят, или крайне незначительны в двух следующих случаях: а) когда языковая ситуация меняется в ускоренном темпе, например, по указанной схеме, в которой полное двуязычие характерно лишь для одного поколения; б) когда речевая способность членов языкового коллектива не выше «строчного уровня» (т.е. уровня владения языком, который я обозначаю строчными буквами). При этом вряд ли существуют какие-либо специфические языковые изменения, которые являются признаками скорого и неминуемого языкового сдвига.

Уверен, что изменения, происходящие в языковой системе, свидетельствует о жизнеспособности языка в меняющихся условиях его функционирования. Материальные и структурные заимствования нередко являются защитной реакцией языка на культурное и социальное давление со стороны иноязычного этноса. Очевидно, чем больше язык заимствует, тем выше его сопротивляемость такому давлению (о «конвергенции» с доминантным языком как о признаке жизнеспособности говорится в работе [Eung-Do Cook 1995]). ***Язык*, который не в состоянии выдержать натиск другого и находится на грани исчезновения, имеет в своей *системе* минимальное количество освоенных «свежих» заимствований из побеждающего языка при обычном в таких случаях *окказиональном* использовании в *речи* очень многого из того, что свойственно языку-победителю** (вся сложность заключается в доказательстве того, что факт речи стал (или не стал) фактом языка). Иначе говоря, до тех пор, пока находящийся под угрозой исчезновения язык (endangered language) реагирует инновациями на контакт, он имеет шансы на выживание.

Впрочем, некоторые вполне жизнеспособные языки даже в условиях массового двуязычия их носителей активно сопротивляются заимствованию чужой лексики. Примером может служить язык африкаанс: «С английским языком [язык африкаанс] не только не контактировал, но в связи с интенсивными пуристическими тенденциями избегал заимствований из него. Более того, наблюдается сопротивление влиянию английского языка, создание между обоими языками мощного языкового барьера... Если в современном нидерландском языке число английских заимствований доходит до 900 лексических единиц, то в [языке африкаанс] их не более 60-80» [Миронов 2000: 100]. В этой цитате ключевой для нас является словоформа «пуристическими». Очевидно, заслон неизбежным заимствованиям мог быть поставлен только в результате осознанного вмешательства в жизнь языка.

Избегает заимствований и исландский язык: «Издавна сложилась традиция не допускать в И.я. (т.е. в исландский язык, – А. П.) иностранные слова. Для новых понятий науки, техники и т.д. создаются обозна-

чения средствами родного языка (так называемые *nýyrðі* 'неологизмы')» [Берков 2000: 197].

Судя по записанным и опубликованным М.М. Хасановой и мной негидальским фольклорным текстам [Хасанова, Певнов 2003], русский язык не оказал существенного влияния на негидальский (необходимо отметить, что о смешении кодов здесь речь не идет). Показательно, что в тех жанрах фольклора, в которых текст не является каноническим и может варьироваться в устах разных рассказчиков, доля заимствований из русского языка весьма незначительна. Это небольшое количество русских слов, причем заимствованных не обязательно непосредственно из русского языка (например, негидальское *орбаака* 'женское платье' пришло из эвенкийского, где оно в свою очередь также является заимствованием (< рус. *рубаха*)). Складывается впечатление, что подлинные, т.е. адаптированные негидальским языком немногочисленные заимствования из русского относятся в основном не к недавнему времени, а к начавшемуся во второй половине XIX века периоду освоения Россией Приамурья. В качестве примера довольно раннего заимствования из русского языка можно привести ныне уже почти забытое негидальское слово *гумаска* [6] ~ *маска* 'рубль' (< рус. *бумажка*). Заимствованная лексика не обязательно отражает нечто бывшее неизвестным негидальцам до прихода русских. Например, в дер. Владимировка района им. Полины Осипенко Хабаровского края мы с М.М. Хасановой узнали, что негидальские охотники с целью табуирования своего и так уже неоднократно табуированного названия медведя, использовали заимствованное из русского языка слово *ǯāǯa* (< рус. *дядя*). Интересно, что среди грамматических русизмов в негидальском языке имеется, пожалуй, только слово *cāмaj* (< рус. *самый*), служащее для образования превосходной степени имен прилагательных (кстати, необъяснимая потребность в подобном слове проявилась также в заимствовании негидальским языком из родственных ему тунгусо-маньчжурских (а в конечном счете вроде

---

[6] Интересно, что аналогичное заимствование из русского языка (*gumaska* 'деньги') отмечено Дз. Икэгами в словаре языка уильта (орокском) [J. Ikegami 1997: 75].

бы из китайского) служебного слова *ǯиӈ* ‘самый’ (например: *ǯиӈ дијам* ‘самый толстый’) [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, т. I, 1975: 258]). Кроме того, в фольклорных текстах иногда встречаются некоторые русские союзы и модальные слова, однако непонятно, насколько они освоены негидальским языком – вполне может быть, что употребление их отражает индивидуальные особенности речи наших рассказчиков. Судя по этим текстам, какого-либо заметного влияния на синтаксис негидальского русский язык не оказал. То же можно сказать и о негидальской фонологической системе.

Любопытно сравнить, как обстоит дело в генетически наиболее близком к негидальскому эвенкийском языке. Если оставить в стороне то, что называют смешением кодов, то влияние русского языка (в отличие от якутского и бурятского) на диалекты эвенкийского, на мой взгляд, весьма незначительно и проявляется только в наличии сравнительно малого числа довольно старых и своеобразно адаптированных лексических заимствований, таких, например, как *бисӣмэ* ‘безымянный палец’, *век* ‘всегда’, *колобо* (< рус. *колобок*?) [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, т. I, 1975: 407]) ‘хлеб’, *кугличэ̄* (< рус. *пуговица*!) ‘пуговица’, *накарват* (< рус. *на кровать*) ‘кровать’, *напóлу* (< рус. *на полу*) ‘пол’, *паскал* (< рус. *пасхалия*, *пасхаль* [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, т. II, 1977: 35]) ‘календарь’, *пиян* ‘сумасшедший’, *пишал* ‘ружье’ [Эвенкийско-русский словарь 1958], *покой* ‘свободное время’ (это слово, а точнее, словосочетание *покојив ӑчин* ‘у меня нет времени’ мы слышали от носителя тоттинского диалекта эвенкийского языка в пос. Джигда Аяно-Майского района Хабаровского края в 1973 или в 1974 г.). Заслуживает внимания факт заимствования из русского языка слова *нāда* ‘надо; потребность, нужда’. Подобное слово есть также в некоторых других языках Сибири и Дальнего Востока (например, в эвенском, негидальском, орокском [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, т. I, 1975: 578], ср. соответствующие слова в кетском (*нада* ~ *нара* [Крейнович 1968: 471]), якутском (*наада* [Якутско-русский словарь 1972: 249]), юкагирском тундренном (*нāдэӈ* ‘надо’ [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских

языков, т. I, 1975: 578]). Трудно сказать, почему столь разные языки на огромной территории имели потребность в заимствовании именно этого русского слова [7]. Кстати, при наличии в эвенкийском языке относительно небольшого количества подлинных лексических русизмов вряд ли можно обнаружить происшедшие под влиянием русского языка изменения в эвенкийской грамматике или фонологии.

В лексике других тунгусо-маньчжурских языков [8], имевших более или менее длительные контакты с диалектами русского языка, мы обнаружим удивительно мало русизмов. Разумеется, заимствованиями нельзя считать те русские слова (нередко интернациональные), которыми составители словарей по своей или чужой воле дополняли их для создания видимости полезных для этих языков контактов с русским языком. Свободным от таких псевдозаимствований является словарь языка уильта (орокского), составленный Дзиро Икэгами [Ikegami 1997].

Примечательно, что не только эвенкийский и эвенский в небольшом количестве заимствовали лексику из русского, но и последний обогатился пришедшими из этих языков словами *кета*, *шаман*, *унты* (эти слова вошли в литературный русский язык, в диалектах же (говорах) таких заимствований значительно больше, в чем можно убедиться, просматривая составленный А.Е. Аникиным «Этимологический словарь русских диалектов Сибири» [Аникин 1997], а также словарь дальневосточных русских говоров [Словарь русских говоров Приамурья 1983]). Таким образом, на начальной стадии, когда еще не было признаков сдвига, культурные и языковые контакты были полезными для обеих сторон.

Следует сказать, что в настоящее время не только негидальский и эвенкийский, но и все (или почти все) остальные тунгусо-маньчжурские языки проходят разные этапы сдвига; иначе говоря, это тот случай, ко-

---

[7] Ср. статью Л. Гренобль в настоящем сборнике. – *Ред.*

[8] В статье приводятся в качестве примеров данные в основном тунгусо-маньчжурских языков, поскольку ее автору они профессионально ближе, чем другие языки Сибири и Дальнего Востока.

гда вся или почти вся семья родственных между собой языков находится в большей или меньшей степени под угрозой исчезновения (т.е. это endangered language family).

Итак, явным предвестником приближающегося сдвига является то, что один язык перестает реагировать изменениями своей системы на вызов другого. **Язык, способный в условиях жесткой конкуренции к дальнейшему существованию и развитию, сопротивляется смене его другим языком, как правило, путем частичного уподобления последнему**. Очевидно, это касается не только языка.

Часть 2

Ленор А. Гренобль [1]

Переключение кодов и изменения в языковой структуре (на материале эвенкийского языка)

1. Введение: языковой контакт

Статья посвящена описанию двух проблем в изучении процессов языкового сдвига: (1) различию между переключением кодов и заимствованием лингвистических структур; и (2) еще более сложной проблемы «стилистического сокращения» (Campbell and Muntzel 1989). Эти две проблемы будут рассмотрены на материале эвенкийско–русского языкового контакта.[2] Задача исследования состоит в определении лингвистических признаков прекращения языкового воспроизводства и поиске критериев, которые позволили бы отличить трансформации в языковой системе в целом от изменений в среде отдельных «полуязычных», уже не владеющих языком свободно.

Эвенки находятся в контакте с русскими начиная примерно с конца XVI века. К началу XVII века русские проникли вглубь Сибири и имели более или менее регулярные контакты как с эвенками, так и с другими народами Севера. В то же время эвенки находились в контакте с другими народами, в том числе с бурятами в Бурятии, с якутами на территории современной Республики Саха, и с другими малочисленными народами Севера. Несмотря на длительный языковой контакт, эвенки много

---

[1] Lenore A. Grenoble, Dartmouth College. Lenore.A.Grenoble@Dartmouth.EDU.

[2] Примеры в данной работе взяты из полевых записей автора, сделанных вместе с Н. Я. Булатовой в посёлках Усть-Нюкжа и Заре (Амурской области) и в Иенгре (в южной Сахе) в 1998 и 1999 годах. Полевая работа обеспечена грантом NSF № SBR-9710091. Все интервью велись на эвенкийском языке Н. Я. Булатовой. Мы старались записать носителей, обычно старшего поколения, которые считают эвенкийский язык родным, т.е. своим «первым» языком. Тем не менее, среди информантов не оказалось ни одного человека, который не употреблял бы русские слова и даже русский синтаксис, хотя бы в отдельных отрывках, в течение интервью. Автор глубоко признательна за помощь в работе Н. Я. Булатовой и М. Гронасу.

столетий продолжали говорить на эвенкийском и, кроме того, часто владели еще одним или несколькими языками – например, эвенским, якутским или бурятским. Сегодня степень владения языком колеблется в зависимости от региона проживания; в основном на эвенкийском языке говорят представители старшего и среднего поколений, которые ведут традиционное хозяйство, занимаются оленеводом и проживают вместе с другими носителями эвенкийского языка. Чуть меньше одной третьи эвенков считают эвенкийский родным; около 75 % владеет русским (Булатова 2002: 268).

2. Изменения языка в ситуациях языкового сдвига

Существует ряд типичных языковых изменений, происходящих в условиях языкового сдвига. К первой категории относятся изменения, происходящие в результате собственно сдвига. Сюда входят такие явления, как: (1) упрощение морфологии; (2) употребление одного падежного аффикса, вместе с утратой более периферийных морфем; (3) общая утрата согласования; и (4) замена синтетических форм аналитическими формами или конструкциями (Maher 1991; Schmidt 1985). Сюда можно добавить так называемое «стилистическое сокращение» (Campbell and Muntzel 1989), относящиеся не к морфосинтаксическим, а к стилистическим изменениям: при языковом сдвиге полуязычные уже не знают или не употребляют все стилистические обороты, используемые теми, кто свободно владеет языком. В обзорной работе, посвященной изучению грамматических изменений при языковом контакте, В. Хайне и Т. Кутева приходят к выводу, что изменения, описываемые как результат языкового сдвига, совпадают с изменениями при контакте, но отличаются от них количеством и темпом (Heine и Kuteva 2005: 256). С этими наблюдениями соглашается А. Айхенвальд (Aikhenvald 2002b: 250) и ряд других исследователей. В ситуации языкового сдвига языковая система меняется намного быстрее, чем в ситуациях стабильного двуязычия.

При языковом сдвиге, несмотря на ускоренный темп, различные изменения распределены неравномерно среди говорящих. Можно разделить разные этапы языкового сдвига, в зависимости от того, насколько

определенное изменение распространено среди говорящих. А. Айхенвальд, опираясь на работу (Tsitsipis 1998: 34) предлагает три категориии языковых изменений: законченные, непрерывные, и прерывистые изменения:

- *Законченные изменения* относятся к явлениям, касающимся грамматической системы языка; они не сопровождаются варьированием на синхронном уровне и происходят вне языкового сознания говорящих.
- *Непрерывные изменения* – это изменениями в процессе. Степень влияния доминирующего языка зависит от степени владения им говорящим и, может быть, от других социолингвистических факторов – таких как возраст.
- *Прерывистые изменения*–это отдельные (случайные, идиосинкратические, или окказиональные) отклонения от языковой системы, характерные для отдельных говорящих при условиях языкового сдвига. Полуязычные носители часто отличаются от носителей, свободно владеющих языком именно проявлением прерывистых изменений (Aikhenvald 2002b).

Остается несколько вопросов: когда окказиональные изменения в речевой практике отдельных говорящих становятся характеристиками новой изменившейся системы? когда можно считать непрерывное изменение уже не непрерывным, а законченным? как можно различать продолжительные изменения от прерывистых? В целом, изменение можно считать законченным, когда оно уже вошло в языковую систему большинства говорящих, или точнее в систему *языкового сообщества*, и стало частью коллективного языкового обихода.

Тут уместно привести пример употребления заимствованного из русского языка слова *надо*. В современном эвенкийском языке, это слово (или скорее корень) употребляется как признак долженствовательного наклонения:

(1) Тар орон-мо аятичэт- тэ̄-с нāда
тот олень-ACC хорошо ухаживать-CV.P-2SG надо
'Тебе надо хорошо ухаживать за этим оленем'

(2) Ахӣ ургэхи бимӣ мāут-па, ухӣ-вээдэ̄н олōра нāда.

женщина тяжелая быть аркан-ACC поводок-ACC NEG переступить надо

'Беременная женщина не должна переступать через аркан или поводок'

(3) Илэ сӣ хуру-дэ̄-с нāда?

куда ты идти-CV.P-2SG надо

'Куда тебе надо идти?'

(4) бӯ тат-тā-вун ōрэн-дэ̄-вун нāда би-чэ̄-н

2PL.EXC учиться-CV.P-2PL.EXC учиться-CV.P-2PL.EXC надо быть-PST-3SG

'Нам надо было учиться.'

Эти примеры показывают употребление слова *нāда* вместе с деепричастием цели для обозначения долженствовательного наклонения (аналогично русской конструкции с инфинитивом). Употребление деепричастия цели в данном контексте имеет смысл: в литературном эвенкийском языке деепричастие цели обозначает второстепенное действие, ради которого совершается главное действие (Константинова 1964: 215). Тут следует сделать два замечания. Во-первых, в лингвистических описаниях эвенкийского языка отмечено, что существует два суффикса для обозначения долженствовательного наклонения, т.е. *-мачин* и *–ӈат*. Суффикс *-мачин* употребляется в западных говорах и в литературном языке, а в диалектах Амурской области и южной Якутии употребляется суффикс *–ӈат*. Во-вторых, ни тот, ни другой не встречается в наших записях; все говорящие употребляют *нāда* вместе с глагольным деепричастием (как правило, деепричастием цели, но возможны и другие формы). Примеры (1)-(4) взяты из непринужденного разговора, т.е. без перевода русского стимула. Говорящие не только не давали фразы с суффиксом *–мачин*, но вообще не понимали примеры с этой морфемой, взятые из учебников и грамматических описаний. Суффикс *–мачин* не существует в их речи, что можно было ожидать по описанию этих говоров (Булатова 1987). При просьбе перевести следующие фразы с русского на эвенкийский все информанты дали варианты со словом *нāда*:

(5) Р: *Я должен вам рассказать*

Е: бӣ син-дӯ улгучэ-нэ-в нāда

1SG 2SG-DAT рассказать-CV.SIM-1SG надо

Несмотря на явное употребление долженствовательного наклонения в примере (5), информанты перевели русское слово *должен* средством заимствованной формы *надо*. Дальше, в варианте (а) следующих двух примеров (6а и 7а) эвенкийская конструкция калькирована из русского языка: нужная вещь является морфологическим подлежащим в именительном падеже, а лицо, испытывающее нужду, в дательном падеже. Во втором варианте глагольные суффиксы прибавляются к корню *нада*, который уже выступает в качестве глагола; испытывающее нужду лицо является подлежащим фразы:

(6) Р: *что тебе надо*?

(6а) Е: э̄кун син-дӯ нāда?

что 2SG-DAT надо

(6б) Е: э̄кун-ма сӣ нāда-де-нни?

что-ACC 2SG надо-IMPF-2SG?

(7) Р: *мне нужно мясо.*

(7а) Е: мин-дӯ уллэ нāда.

1SG-DAT мясо надо

(7б) Е: бӣ нāда-дя-муллэ-ё

1SG надо-IMPF-1SG мясо-ACC.INDEF

(8) Р: *мне нужна рыба.*

Е: мин-дӯ олло нāда

1SG-DAT рыба надо

К тому же, в речи информантов обнаруживаются новые словоформы, полученные добавлением к корню *на// да* деривативных морфологических формантов. В примерах (9) и (10) *на// да-* уже является именем существительным:

(9) бӣ нāда-в
1SG надо-POSS.1SG
'моя надобность', 'моя нужная вещь'

(10) нуӈан нāда-л-ва-н о-кал
3SG надо-PL-ACC-POSS.3SG делать-IMPER.2SG
'Сделай нужные ему/ей вещи'

Нāда употребляется в эвенкийском языке в трех разных конструкциях: (1) выступает в роли сказуемого вместе с деепричастием (которое заменяет русский инфинитив); нужная вещь стоит в именительном падеже, а испытывающий нужду – в дательном; (2) в качестве финитного глагола, как в примерах (6б) и (7б) с эвенкийской морфологией; испытывающий нужду стоит в именительном падеже, а нужная вещь – прямой объект в именительном падеже; (3) как имя существительное, как в примерах (9) и (10). Только первая из этих конструкций явно калькирует русский морфосинтаксис; следующие две конструкции более «эвенкийские».

Исходя из этого, можно считать, что слово *нāда* уже вошло в эвенкийскую языковую систему, но вытеснило исконную эвенкийскую морфологию. О вхождении в языковую систему свидетельствуют три факта: (1) оно широко употребляется; в самом деле, это единственная морфема, которую носители используют как в спонтанной речи, так и при переводе; (2) *надо* представлено в речи носителей языка, относящихся к различным возрастным и территориальным группам; (3) это слово приобрело не только новые функции, но и признаки эвенкийской деривационной морфологии. Очевидно, что конструкция с эвенкийским деепричастием цели плюс *нāда* калькирована из русского; заметим, что прошедшее время производится при помощи эвенкийского глагола *бū-* 'быть' в третьем лице прошедшего времени, как и в русском. В эвенкийском языке не существует другой аналогичной конструкции; поэтому здесь можно говорить о структурном изменении во всей языковой системе. Все эти факты вместе подтверждают, что данное изменение относится к категории законченных изменений.

Эта калькированная конструкция представляет значительное синтаксическое изменение в результате контакта с русским языком; сложнее ответить на вопрос, имеем ли мы данном случаедело с последствиями языкового сдвига. Ситуация осложняется тем, что в эвенкийском языке существовали две разные морфемы для обозначения долженствовательного наклонения. Существование двух синонимичных морфем или конструкций представляет особые трудности для полуязычных носителей. Как замечает Нэнси Дориан, «в речи полуязычных плохо сохраняются синонимические конструкции. Они либо стремятся слить синонимические конструкции воедино, либо предпочитают одну конструкцию другой» (Dorian 1980b: 43).

В эвенкийском языке случай с двумя суффиксами долженствовательного наклонения несколько иной, так как эти суффиксы различаются по географической распространенности: ни в одном из диалектов не представлены оба суффикса. Но эвенки в Амурской области и Якутии (Саха) сталкиваются со суффиксом *–мачин* в школе, потому что он характерен для литературного языка. Можно предположить, что полуязычные носители, слабо разбираясь в грамматике, предпочитают более знакомую русскую конструкцию с *надо*. Но неизвестно, в какой мере этот школьный литературный язык влияет на их владение разговорным эвенкийским (и оказывает ли он влияние в принципе). Кроме того, мне неизвестно, насколько устойчиво употребляется суффикс *-мачин* в тех говорах, где он до сих пор сохранился. К тому же надо добавить, что не только полуязычные носители но и те, кто свободно владеет языком, употребляют *нāда* (а не *-ңат*), и в свободной речи, и при переводе. Следует также заметить, что примеры употребления слова *нāда* можно найти даже в фольклорных текстах, что подтверждает, что они уже давно употребляются в эвенкийской речи; это видно из следующего отрывка фольклорного текста, взятого из записей, сделанных в 1976 и 1978 гг. в Амурской области:

(11) *фольклор:* Илан нэкӯнэл (Три сестры)
эˉкун нāда син-дӯ улгучэˉ-кэл
что надо 2SG-DAT рассказать-IMPER.2SG
'Что тебе надо, расскажи.'(Булатова 1987:92)

мин-дӯ уллэ нāда, беюн-э вā-дā-в нāда
1SG-DAT мясо надо верь-ACC.INDEF убить-CV.P-1SG надо
'Мне нужно мясо; зверя надо убить.'

Можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с законченным изменением, которое произошло в результате языкового контакта с русским. Не только слово *надо*, но и синтаксическая конструкция (*что-кому-надо-было*) заимствованы из русского. Но нельзя сказать, что это признак языкового сдвига: все носители языка свободно употребляют эту конструкцию, и к тому же слово *нāда* уже употребляется с эвенкийскими деривативными морфологическими формантами (см. примеры 9-10).

Обратимся теперь к вопросу об отличиях между непрерывными и прерывистыми изменениями и к тому, насколько полезно вводить такое различение. В (Aixenvald 2002b) предполагается, что прерывистые изменения, наблюдающиеся у отдельных говорящих, отличают полуязычных. Непрерывные изменения – это языковые изменения в процессе; это изменения, которые еще не вошли в систему языкового сообщества, но употребляются шире, или встречаются в речи большего числа говорящих, чем прерывистые изменения. Они характерны для многих говорящих но не для всех, и не во всех (ожидаемых) контекстах. Чтобы разобраться в этом, надо рассмотреть типы изменения в речи и говорящих и полуязычных. Их можно разделить на две группы. В первой находятся те изменения, которые относятся к языковому переносу из доминирующего языка (т.е. русского) в исчезающий язык. Во второй группе находятся те изменения, которые относятся к сокращению языковой системы на разных уровнях.

Эти две категории связаны друг с другом: сокращение в употреблении эвенкийской лексики соответствует повышению употребления русской лексики. Но иногда сокращение проявляется в отсутствии ожидаемых категорий или стилистических конструкций. Такие изменения трудно описать, поскольку иногда трудно найти отсутствующие элементы, особенно в сфере стиля. Рассмотрим влияние русского языка, а

потом обратимся к примерам стилистического сокращения. Прежде всего, надо рассмотреть разницу между заимствованием и переключением кодов.

3. Лингвистический перенос, заимствование и переключение кодов

Следует отличать лингвистический перенос от заимствования, которое является специфическим типом переноса. Вслед за Хайне и Кутевой мы понимаем *заимствование* более узко как перенос языковых форм или фонетического материала при языковом контакте. Лингвистический перенос – более широкое явление, которое также относится к переносу грамматических структур и категорий без фонетического материала, или «перенос значений, включая и грамматические значения или функции, или соединение значений» (Heine and Kuteva 2005: 6)

Заимствованные слова иногда с трудом отличаются от случаев переключения кодов в условиях билингвизма. Примеры контакта эвенкийского и русского языков показывают, что более ранние заимствованные слова подчиняются нормам эвенкийской фонотактики. В эвенкийском языке и в начале и в конце слова не допускается стечения согласных (Цинциус 1997: 270). Кроме того, отсутствует *р-* в начале слова. Исторически эти правила довольно строго соблюдались, как видно в словах, заимствованных из русского языка (см. еще Malchukov 2003):

(12) испишка < спичка
пахибо < спасибо

(13) урбашка < рубашка (ср. *урбāкэ*, Василевич 1958: 450)

Но если обратится к более новым (современным) заимствованиям, то видно, что они следуют нормам русского, т.е. доминирующего, языка:

(14) стадо-дӯ
стадо-DAT
'в стаде'

Как правило, можно считать слово заимствованным в том случае, когда оно употребляется вместе с морфологическими признаками эвенкийского языка. Так, в предыдущем примере, слово *стадо* употребляет-

ся в дательном падеже. Обычно множественное число заимствованных существительных оформляются по правилам эвенкийского, как в следующем примере:

(15) книг-эл-вэ
книга-PL-ACC
'книги'

но не всегда, как видно в примере (16):

(16) пирожкӣвэ
пирожк-ӣ-ACC

В этом примере употребление русской морфемы *-и* для обозначения множественного числа скорее всего тесно связано с частым употреблением этого слова именно в множественном числе в русском.

Можно заметить, что изменились не только нормы эвенкийской морфонологии, но и лексический состав языка, даже в области базового предметного и культурного словаря: см., например, такие заимствования как *стадо*, *тайга*, *охотники*, и даже *оленевод*.

Как отличить заимствование от переключения кодов? В дальнейшем мы будем считать заимствованиями формы, которые употребляются с эвенкийской морфологией, а формы, которые употребляются с русской морфологией – примерами переключения кодов. Например, в следующем отрывке:

(17)	ну, годичную школу	этэ-чэ̄-в
		закончить-PST-1SG

фразу *годичную школу* легко распознать как переключение кодов; это ясный пример русских слов, русской морфологии. В противоположность таким примерам, заимствованные слова (как например называния месяцев, времен, и т.д.) употребляются с эвенкийскими окончаниями:

(18)	Ию̄нь-ӯ	би-чэ̄-н,	адага.
	июнь-DAT	быть-PST-3SG	кажется
	'это было в июне, кажется'		

(19) Васильевич сорок седьмой-дӯ эмэктэ-чӭ-н.
седьмой-DAT приехать-PST-3SG
'Васильевич приехала в сорок седьмом году'

Довольно часто в одной фразе встречаются и русское слово (т.е. с русской морфологией), и слово, заимствованное из русского языка, но с эвенкийской морфологией, как в следующих примерах:

(20) Тайга-дӯ ногу сломала, дю̄-дӯ-вӣ тэгэт-чэ-рэ-н.
тайга-DAT дом-DAT-ACC сидит-A.STAT-PFT-3SG
'Она сломала (себе) ногу в тайге, сидит в своем доме.'

(21) Минэ-вэ бабуска сэриву-вкӣ утром.
Меня-ACC бабушка будит-P.HABT
'Бабушка будит меня утром.'

Несмотря на то, что между заимствованием и переключением кода существуют различия, отличить эти два явления при прослушивании записей полуязычных носителей непросто. В речи отдельных полуязычных носителей эвенкийского русский язык проявляется так часто, что становится ясно, что они не способны вести разговор на эвенкийском, не употребляя русские слова и окончания. Это уже не просто проявление билингвизма и переключения кодов, а признак языкового сдвига. Даже носители языка, свободно владеющие эвенкийским языком, переключаются на русский когда говорят на определенные темы, например о войне, о событиях в городе, о своих встречах с русскими, – словом, о тех событиях, которые они воспринимают на русском языке. Однако полуяызычные пользуются гораздо большим количеством русских слов и конструкций, и часто переходят на русский язык вне зависимости от темы разговора.. Полуяызычные, в отличие от полнояызычных, не могут долго разговаривать на эвенкийском, не переключаясь на русский. Вот несколько примеров:

(22) Ахāткāн-ми кэргэн-нӭн, эр-дэт эмэ-диӈэ-н.
дочь-POSSсемья-COM вот-вот приехать-FUT-1SG
Внучат у нее много.
'Моя дочь вот-вот приедет со своей семьей; внучат у нее много.'

(23) Тар минэ-вэ уӈи-ӈки-тын лечить оленей оро-р-во.
так 1SG-ACC отправлять- DIST.PST-3PL олень-PL-ACC

Ну, годичную школу этэ-чэ̄-в.
закончить- PST-1SG

Нерчинскай-дӯ во время войны по стадам ездила оленей лечила.
Нерчинск-DAT

Раньше узкий профессия би-чэ̄-Ø; оказание первой помощи
быть- PST-3SG

тыкэ̄н.
так

'Так меня отправляли лечить оленей орорво (оленей). Ну, годичную школу закончила. В Нерчинске во время войны по стадам ездила, оленей лечила. Раньше (это) было узкая профессия, оказание первой помощи так.'

В приведенном выше отрывке представлены явные проявления переключения кодов. Повторение слова, сначала в одном языке, потом в другом, как в первой строке этого примера (*оленей орорво*), типично для переключения кодов. Существование переключения кодов само по себе просто указывает на билингвизм, а не на языковой сдвиг.

4. Синтаксис, координация и стилистическое сокращение

Рассмотрим непрерывные изменения: координацию и распространение русских союзов. Сложные предложения эвенкийского языка делятся н бессоюзные и союзные; союзные подразделяются на сложносочиненные и сложноподчиненные. В наших записях мы находим эвекиийские союзы, больше всего *тадук* 'и', 'затем', но и некоторые другие (*тарит* 'поэтому' и *тэ̄ли* 'тогда') но кроме того находим и русские союзы, особенно *потом.* Употребление русских союзов в эвенкийском языке не новое явление. Уже в 1964 году Константинова заметила, что «в ряде случаев в значении соединительного союза употребляется заимствова-

ний из русского языка союз *и*» (Константинова 1964: 250), как например:

(24) Хуркэ̄ кэ̄-р сōт дэру-рэ и сōтдему-л-лэ
мальчик-PL очень устать-PFT и очень хотеть.есть-A.INGR-PFT
'Мальчики очень устали и очень захотели есть'
(Константинова 1964: 250)

Следующий пример похож на предыдущий; здесь тоже трудно сказать, является ли *то... то* заимствованием или переключением кодов, а возможно, что этот вопрос не имеет смысла. Для нас важно, что здесь употребляется русский союз *то*, в данном контексте вместе с эвенкийскими причастиями обычного действия *кумтэвкӣ* и *суксавувки*.

(25) Мӯӈнан-да, бӣ соӈо-тор ō-рӣв бӣ тадӯ:
мучаться-CV.P я плакать-CONT делать- PST-1SG я там

то сирга-в кумтэву-вкӣ э-ӈнэ-м кумтэ-лгэ-рэ,
то нарта-1SG перевернуться-P.HABT NEG-A.HABT-1SG поставить-обратно-RA

то сирга-в суксаву-вкӣ. Тыкинтыкэ̄н ō-рӣ-в
то нарта-1SG ломаться-P.HABTпостоянно такделать- PST-1SG

'Мучаясь, я поплакала там я: то моя нарта перевернется, не могу ее поставить обратно, то моя нарта ломается. Постоянно я так делала.'

Употребление союза *то* в грамматических условиях, естественных для русского языка, но несвойственных эвенкийскому, позволяет предположить, что происходит изменение в структуре языка и языковой сдвиг.

Если предложить, что существует две основные категории, заимствование и переключение кодов, то примеры из спонтанной устной речи показывают, что не всегда ясно, как определить, к какой из двух категорий относится использование иноязычного элемента. В следующем отрывке эвенкийского текста можно сказать, что употребление русских слов представляет пример переключения кодов:

(26) Горō, ōкин ис-чаӈā-в тар, пока до посёлка ис-чаӈā-в,

далеко когда дойти-FUT-1SG там дойти-FUT-1SG

пока Люда-ва бака-диӈā-в

Люда-ACC найти-FUT-1SG

'Далеко, пока дойду туда, пока до поселка дойду, пока Люду найду'

В примере (26) целая фраза *пока до поселка* сказана на русском языке; а в примере (27) ее можно считать образцом переключения кодов:

(27) после эмэ-хэ̄ как-то тизало вечером ō-ра-н.
прийти-CV.ANT делать-PFT-3SG
'после того как пришла, как-то стало тяжело вечером'

использование фразы *после эмэхэ̄* представляет некоторые сложности. В этой фразе мы видим русский предлог *после* в сочетании с эвенкийским деепричастием *эмэхэ̄*. Слово *после* можно трактовать как заимствованное, но деепричастия в эвенкийском языке, как и в русском, вообще не употребляются вместе с предлогами. Данное употребление стоит вне языковой системы обоих языков; таких примеров очень мало в наших записях. Это прерывистое изменение; оно указывает не только на билингвизм, но и на на языковой сдвиг и на нарушение языковой системы у отдельных говорящих.

В записях современного разговорного языка (по сравнению с более старыми текстами) наблюдается общая тенденция к более частому употреблению союзных предложений, а не паратаксиса. Кроме того русские союзы (не только *и*, но и ряд других) употребляются все чаще. Другими словами, изменения происходят и в лексике, и в синтаксисе. В ороченском языке, который очень близок к эвенкийскому (многие считают его диалектом эвенкийского языка), норма – паратаксис, а не союзные конструкции. На базе таких примеров, можно говорить уже о структурных изменениях, происходящих под влиянием грамматического строя доминирующего языка (в данном случае русского).

5. Порядок слов

Порядок слов в эвенкийском языке подчинен нормам, в соответствии с которыми подчиненное слово ставится перед подчиняющим, а сказуемое, как правило, стоит в конце предложения или фразы. Но в эвенкийском языке порядок слов не строгий: глагол не всегда стоит в конце фразы, хотя это нейтральный порядок. Дискурсивные факторы могут повлиять на порядок слов, и почти любой порядок возможен в определенных контекстах. Вопрос о том, какие факторы влияют на порядок слов и в каких контекстах можно найти не-нейтральный порядок, пока не прояснен, поэтому трудно выявить русское влияние в этой сфере. Видимо, русский язык и тут оказывает влияние, выражающееся в тенденции ставить глагол внутри фразы, а не в конце. Эта проблема требует дальнейшего исследования.

Категория принадлежности часто выражена в двучленной конструкции; обе части стоят в довольно строгом порядке. Первая часть состоит из существительного (в именительном падеже); после него следует определяемое с притяжательным аффиксом (29а):

(29а) эвэнк-и-л оро-р-тын
эвенк-EPEN-PL олень-PL-3PL.POSS

Эвенкийская конструкция отличается от русской, в которой определяемое обычно стоит перед определением в родительном падеже:

(29b) олени эвэнков
олень-PL эвенк-GEN.PL

В современном эвенкийском языке, под влиянием русского языка, порядок слов довольно часто меняется, калькируя русский порядок слов, несмотря на то, что морфология при этом не меняется:

(29c) оро-р-тын эвэнк-и-л
олень-PL-3PL.POSS эвенк-EPEN-PL

Такие изменения уже в 1948 году заметила Василевич в сымском диалекте:

(30) тарэвэнкил дю̄-ва-тын бака-ра-н
тотэвенк-EPEN-PL дом-ACC-3PL.POSS найти-PFT-3SG
'он нашел дом эвенков'

(Василевич 1948: 79)

Что касается порядка слов в предложении, то он может быть нарушен только в тех контекстах, где особо выделен какой-то другой член предложения, как в примере (31):

(31) Амаскӣ айт-чап-кӣ элэ саман
раньше лечить-IMPF-P.HABT только шаман
'Раньше лечил только шаман' (Колесникова 1966: 179)

В этом примере смысловое выделение подлежащего подкрепляется употреблением частицы *элэ* 'только'.

В современном языке исконный эвенкийский порядок слов часто нарушается под влиянием русского языка. Почти любой член может стоять в конце предложения, несмотря на дискурсивные факторы.

(32) Хавал-дя-ра-Ø Якутскай-дӯ
работать-IMPF-PRS-3 PL Якутск-DAT
'Они работают в Якутске.'

(33) Бӣ балдырӣ-Ø-м Токорика̄н-дӯ.
1SG родиться-PFT-1SG Токорикан-DAT
'Я родилась в Токорикане.'

Несмотря на множество таких примеров, трудно определить, до какой степени меняется порядок слов под влиянием русского языка из-за того, что нет точного описания порядка слов до контакта и до языкового сдвига. Если сравнить эвенкийский с ороченским, то в ороченском языке порядок слов довольно строго подчинен нормам всех алтайских языков. Еще труднее определить, до какой степени переключение кодов играет роль в изменениях порядка слов. Изменения в порядке слов – прерывистые, то есть идиосинкретические и окказиональные отклонения от языковых норм, которые могут быть характерны даже для отдельных говорящих в условиях языкового сдвига. Речь полуязычных

носителей часто отличается от текстов носителей, свободно владеющих языком, проявлением прерывистых изменений, и поэтому в тех текстах, где носитель явно не может вести разговор только на эвенкийском, часто встречаются разные порядки слов, не связанные с тематической структурой дискурса. Сравните порядок слов в (34) – первых двух строках из примера (23) выше:

(34) Тар	минэ-вэ	уӈи-ӈки-тын	лечить оленей	оро-р-во.
так	1SG-ACC	отправлять-DIST.PST-3PL		олень-PL-ACC

Ну, годичную школу	этэ-чӭ-в.
	закончить- PST-1SG

Нерчинскай-дӯ во время войны по стадам ездила оленей лечила.
В Нерчинском

Раньше узкий профессия	би-чӭ-Ø;	оказание первой помощи	тыкӭн.
	быть- PST-3SG		так

В первой строке порядок слов копирует русский язык, а во второй сказуемое находится в самом конце предложения, несмотря на переключение кодов в этом предложении. Дальше текст продолжается на русском языке, с отдельными словами на эвенкийском. В таких примерах трудно сказать, что употребление переключения кодов влияет на порядок слов; скорее всего, тут идет нарушение синтаксических и стилистических норм эвенкийского языка. С точки зрения языковой структуры такие изменения не являются систематическими, но указывают на утрату языка.

6. Стилистическое сокращение и перенос русских конструкций

Далее, можно выделить так называемое стилистическое сокращение, которое характеризуется отсутствием ожидаемых стилистических явлений и дискурсивных структур. К стилистическим сокращениям относятся, например, «неупотребление» парных двустиший в языке пилипино (Campbell 1985), или *отсутствие* полисинтетизма в каюгском (Mithun 1989). Отсутствие этих явлений не приводит к нарушению грамматических норм, а просто представляет менее богатую грамматическую сис-

тему. Другими словами, при стилистическом сокращении происходят изменения в речевой практике. Бывает очень трудно определить, является ли отсутствие ожидаемых структур результатом контакта между этническом языком и доминирующим языком (т.е. вызвано влиянием доминирующего языка), или просто результатом самого сдвига (т.е. вызвано тем, что носители забывают язык). Однако в любом случае стилистическое сокращение является признаком языкового контакта, в той же мере как и прямые заимствования из доминирующего языка.

Приведем пример стилистического сокращения на уровне структуры текста. В «хороших» нарративах мы наблюдаем своего рода непрерывность текста, или непрерывность темы, времени, обстановки, пространства и участников. Другими словами, в таком нарративе нет резких изменений, ни тематических, ни временных и так далее. Нарратив рассказывается как единое целое, и события плавно следуют друг за другом.

На уровне абзаца связанность часто передается повторением слов, но кроме того и повторением фонетических и синтаксических структур. В таких языках, как тунгусские, где сказуемое занимает последнее место в предложении, довольно часто встречается особый тип повторения, *tail-head linkage* (Thompson and Longacre 1985), что можно перевести как *эстафетное связывание* или *эстафетное подхватывание*, т. е. повторение глагола-сказуемого одного предложения в следующем предложении. Этот термин (*tail-head linkage*) употребляется по разному; Thompson and Longacre (1985: 209) считают эстафетное подхватывание лингвистическим средством связать предыдущий абзац со следующим. Но в других языках это соединение находится не на стыках абзацев, а внутри одного абзаца. Как правило это агглютинативные языки; в них этот прием связывает предложение с предложением. Такой тип глагольного соединения можно наблюдать в языке корафе (Farr 1999), и в языке сирои (van Kleef 1988).

Эстафетное подхватывание – частое явление в эвенкийских текстах, написанных до периода массового языкового сдвига. В эвенкийском языке оно употребляется внутри абзаца и связывает предложения друг с

другом. Оно особенно часто употребляется там, где глагольные формы идут в иконическом порядке, совпадая с ходом действия. Эта конструкция встречается только в цепочке главных событий; она не используется в косвенной речи.

Романова и Мыреева (Романова, Мыреева 1971) в 1960х годах записывали эвенков, родившихся в начале прошлого века и не знающих русского языка. В этих текстах эстафетное подхватывание употребляется обязательно. Приведем два примера, записанных от разных говорящих из разных районов (из Хабаровского края и из бывшей Якутской АССР):

(35) *Записано в 1960 г. в селе Аим Аяно-Майского р-на Хабаровского края от Е. Г. Трофимова (Бута). 1908 г. р., неграмотный, разговорный язык эвенкийский и якутский, русским не владеет* (Романова и Мыреева 1971: 53)

Тāдук Гēван-этыркэ̄н уркэ-нде-ви нӣ-ксэ̄, эр бэе-вэ,
потом Геван-старик дверь-AUG-REFL открыть-CV.ANT тот человек-ACC

ŋāла-дук-и-н дява-ксā, дю̄-лā-ви ӣв-рэ-н.
рука-ABL-EPEN-3SG взять- CV.ANT дом-LOC-REFL ввести-PFT-3SG

Тар йву-ксэ̄, Гēван-этыркэ̄н тыкэ̄н гун-дэ турэ-чӣ,
того вводить- CV.ANT Геван-стариктак сказать-DV говорить-POSS

сэхэ-чӣ ō-дя-ра-н:
разговор-POSS делать-IMPF- PFT-3SG

'Геван-старик, открыв дверь, взяв за руку этого человека, в дом ввел. Введя его в дом, Геван-старик завел разговор, так говоря'

(36) *Записано в 1958 г. в пос.Тяня Олекминского р-на Якутской АССР от Н. С. Льдиновой (Букачар). 1865 г. р., неграмотная, разговорный язык эвенкийский и якутский, русским не владеет* (Романова и Мыреева 1971:17)

Умӯн тэгэлтэ̄нэнӣ-дӯ, арай тар ахā-л Тōргāнэй-ва
один утро-DAT как.только тот женщина-PL Торганей-ACC

гэлэ̄ктэ-чи-л-лэ-Ø.
искать-A.DUR-A.INGR-PFT-3PL

Гэлэ̄ктэ-чи-л-лэ-Ø элгэ-мэ̄т-чэ-нэ-л.
искать-A.DUR-A.INGR-PFT-3PL вести.за.руку-RECIP-A.STAT-P.PFT-PL

'Однажды утром стали те женщины искать Торганэя. Ищут, держась за руки.'[3]

В примере (35) первая фраза кончается финитной формой глагола (*ӣврэн* 'ввел') и следующая фраза начинается с деепричастия того же глагола (*ӣвуксэ* 'введя'); подобным образом, вторая фраза в примере (36) начинается такой же глагольной формы, которой кончается первая фраза (*гэлэ̄ктэчиллэ* 'стали искать [и поэтому ищут]'). Чаще всего в эвенкийских текстах мы находим эстафетное подхватывание первого типа (как в примере 35), где в начале второй фразы глагол предыдущей фразы повторяется во форме деепричастного оборота. В эвенкийском языке эстафетное подхватывание соединяет фразы в одном абзаце; к тому же, как правило, глаголы обозначают действия, происходящие хронологически. Другими словами, глагольные формы составляют цепь действий в одном абзаце. В тех контекстах, где глагольные формы не составляют цепь действий, а скорее обозначают события, состояния, или факты, стоящие вне главных действий нарратива, обычно нет эстафетного подхватывания.

Образцы эстафетного подхватывания можно найти и в современных текстах, как в примере (37), записанном в 1999-ом году; говорящая родилась в 1930-ем году и считает эвенкийский язык первым:

(37) бӣ буга-лā-вӣ мучу-дяңā-в энты̄л-дулэ̄-вӣ.
1SG земля-ALL-REFL вернуться-FUT-1SG родители-LOC-REFL

Дю̄-лā мучӯ-на эмэ-Ø-м дя̄н дыги-чӣ би-чэ̄-в
дом-ALL вернуться-CV.SIM come-PFT-1SG 10 4-POSS быть-PST-1SG

[3] Перевод по Мыреевой и Романовой (1971: 17).

'Я на землю свою вернусь к родителям своим. Домой возвратясь, [я] пришла; мне было 14.'

Употребление глаголов в примере (31) мало отличается от предыдущих примеров, поскольку финитный глагол в первой фразе повторяется во второй фразе, уже во форме деепричастия. (Порядок слов в этом примере не совсем совпадает с ожидаемым, так как глагол в первой фразе стоит не в конце предложения; см. §5.) Но не все носители употребляют эстафетное подхватывание, даже в тех местах, где можно было бы его ожидать.

В следующем рассказе, записанном от мальчика, родившего в 1987-ом году, отсутствие эстафетного подхватывания заметно:

(38) Та-дӯ умукōн иктэ̄нэ би-хи-н,
 там-DAT один трех.летний быть-PRES-3SG
 'Там есть один трехлетний олень.'

 бӣ тара дява-рӣ-в,
 1SG того поймать-PST-1SG
 'Я его поймал'

 тадук нуӈан-дулā-н тэг-рӣ-m,
 потом 3SG-LOC-3SG сесть-PST-1SG
 'Потом сел на него'

 нуӈан минэ-вэ гарагӯ-т-ты-н.
 3SG 1SG-ACC бросить-ASP.D-PST-3SG
 'Он меня бросил'

Этот текст подчиняется нормам эвенкийской грамматики; говорящий обходится без переключения кодов: он не употребляет русских слов, а говорит на чистом эвенкийском. Тем не менее, заметно полное отсутствие эстафетного подхватывания, несмотря на то, что его употребление характерно именно в таких повествовательных условиях.

7. Заключение

До сих пор мы рассмотрели признаки языкового сдвига в контексте переключения кодов, но пока не обсудили подробно понятие переключения кодов и его роль в сдвиге. В работе (Muysken 2000) выделяется три разных вида переключения кодов:

1. вставление языкового материала (лексических слов или целых составляющих частей) одного языка в структуру другого;
2. чередование структур двух языков;
3. конгруэнтная лексикализация материала из разных словарных инвентарей в грамматическую структуру, свойственную обоим языкам.

К данной работе имеет отношение первые два, *вставление* и *чередование* языкового материала. Вставление типично в тех контекстах, где уровень знания одного языка сильно отличается от уровня знания другого. Чередование более характерно для групп двуязычных носителей, которые хорошо владеют обоими языками или, точнее, где языки находятся в стабильных отношениях и не происходит языковой сдвиг. Лингвистически эти два типа различаются тем, что вставление похоже на заимствование, только при вставлении речь идет не об отдельных словах а о более длинных цепочках; иногда целая фраза вставлена в рамку, полученную от основного языка. Сохраняется основной (и доминирующий) язык. В отличие от вставления, при чередовании кажется, что в середине предложения один язык просто заменяется на другой.

В контексте данного исследования мы видели многократные примеры вставления языкового материала. Хотя П. Майскин определяет вставление безотносительно к языковому сдвигу, ясно, что они связаны. П. Майскин пишет, что если чередование имеет связь с распределением функций между двумя языками, то вставление связано с первенством одного языка над другим (Muysken 2000: 249). Таким образом, широкое использование этого типа переключения кодов есть признак неустойчивой языковой ситуации и языкового сдвига.

Список сокращений

ABL отложительный
ACC винительный падеж
A вид
A.DUR продолженный вид
A.HABT обычный вид
A.INGR начинательный вид
A.STAT вид состояния
AUG увеличительный
COM совместность
CONT дополнительное продолжение действие
CV.ANT деепричастие разновременное
CV.P деепричастие цели
CV.SIM деепричастие одновременного действия
DAT дательный падеж
DIST.PST давнее прошедшее
EPEN эпентеза
EXC исключительное
HABT обычное
IMPF несовершенный вид
INDEF неопределительный
LOC местный
NEG отрицание
P причастие
P.HABT причастие обычное
PFT перфект
PL множественное число
PST прошедшее время
RECIP взаимный залог
REFL возвратно-притяжательный
SG единственное число
V вербализатор

А.И. Кузнецова [1]

Вариативность как один из факторов расшатывания языковой системы в процессе языкового сдвига (на материале селькупского языка)

Характер современной фазы языкового сдвига у северных селькупов: социолингвистические и психолингвистические факторы

В последние десятилетия тема, касающаяся языковых изменений в условиях так называемого языкового сдвига, привлекает к себе все большее внимание лингвистов, занимающихся миноритарными языками, вызывает вопросы и провоцирует споры. В учебнике «Социолингвистика и социология языка» дается следующее определение этого понятия: «Языковой сдвиг... означает, что общность отказалась от использования старого языка и перешла на новый. Этот переход на новый язык обычно (но не всегда) предполагает более или менее длительный период двуязычия» [Вахтин, Головко 2004: 111]. При такой трактовке понятия *языковой сдвиг* его начальная стадия (правда, не всегда можно определить, что считать точкой отсчета) предполагает, что появляется, постепенно усиливаясь, интерференция на фонетическом и грамматическом уровнях, растет количество заимствованных слов в речи языкового меньшинства. Рано или поздно возникает стадия билингвизма (далеко не всегда билатерального и всеобщего), постепенно сходящего на нет. (Впрочем, существует точка зрения, что билингвизм возможен и без интерференции, с чем мне никогда не приходилось встречаться). Исчезновение билингвизма (если он был), отказ носителей языка от старого языка и переход их на новый (доминирующий) язык завершает процесс языкового сдвига, скорость прекращения которого связана с рядом факторов. Среди них Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко называют *восемь* (чис-

[1] Ариадна Ивановна Кузнецова, Московский государственный университет. aikuznec@yandex.ru.

ло носителей, языковое окружение, тип хозяйственной деятельности, воспроизводство языка, межнациональные браки, политика государства, престиж языка и наличие или отсутствие письменности [Вахтин, Головко 2004: 114-117]), которые, однако, следует считать не причинами сдвига, а создающими его условиями. Причины же лежат в области социально-психологической [Вахтин 2001: 229-230], о чем речь впереди.

После проведения конференции «Языковые изменения в условиях языкового сдвига» ее организаторы предложили интерпретировать понятие *сдвига* как *процесс*, как явление социолингвистики в отличие от понятия *изменение языка*, которое они относят к «внутренней лингвистике» и которое может изучаться, по их мнению, 'без каких-либо отсылок к носителям языка' (см. Введение к настоящему сборнику. – *Ред.*). Во избежание недопонимания то, что относимо к «внутренней лингвистике», есть изменения в структуре языка, происходящие в силу и внутренних, и внешних причин, а то, к чему приводит процесс языкового сдвига, зависящий только от внешних причин, свидетельствует о смене языка, замене его новым. При этом необходимо учитывать, что первоначальные изменения происходят *в речи*, не затрагивая структуры языка, и лишь потом, спустя нередко длительное время, можно фиксировать изменения *в языке*. Важно подчеркнуть, что в селькупском языке (в его северном варианте), в настоящее время ***и «языковой сдвиг»***, ***и «изменения языка»*** при наличии только монолатерального билингвизма ***сосуществуют***, и ***их можно наблюдать одновременно,*** рассматривая под разными углами зрения.

1) В разных районах распространения селькупского языка процесс может быть различен: в одном селе (районе) языковой сдвиг близок к завершению (иначе говоря, осуществляется массовый переход населения на другой язык), в другом месте – далек от этой стадии. Так, в лесу, где еще живут немногочисленные селькупские семьи, отказывающиеся переезжать в поселки, процесс перехода на русский язык замедлен (как в поселках Ратта, Толька Пуровская), и это приводит к вялому двуязычию. В этой связи в последнее время нередко говорят о гибридных культурах у ханты, манси, ненцев, имея в виду кардинальные различия

в поселковом и лесном / тундровом образе жизни, в отношении жителей к обрядам и языку. Уровень знания родного языка у жителей поселка и у тех, кто живет в лесу, также различен, о чем писали Е.В. Лярская [Лярская 2001], Х. Саволайнен [Savolainen 1998], А.И.Кузнецова [Кузнецова 2004b]. Естественно, что в такой ситуации для этноса в целом о языковом сдвиге речь не идет. В результате для северных селькупов в целом мы не можем говорить о повсеместно происшедшем здесь языковом сдвиге, хотя локально такая ситуация может быть отмечена в небольших поселках (например, в Горошихе, где в прошлом было селькупское население, остались всего две селькупки, не говорящие по-селькупски). Аналогичная ситуация существует с кетским языком в Фарково, где при наличии нескольких кетов кетский язык также не используется. Однако нет правил без исключения: в отдельных селах встречаются люди, которые, находясь в иноязычной среде, общаются между собой на своем родном языке (напр., в Бакланихе с преобладающим кетским и русским населением селькупы говорят по-селькупски; в Фарково с основным селькупским и русским населением эвенки разговаривают между собой на эвенкийском).

2) В пределах одного и того же села (района) сдвиг имеет **«возрастной» рубеж**: у молодых сдвиг произошел (многие селькупы в возрасте приблизительно до 30 лет отказались от родного языка, полностью перешли на русский). В этой связи следует поставить вопрос о языковом сдвиге в контактной зоне у отдельно взятого человека, не являющегося билингвом, полностью отказавшегося от одного из языков в пользу другого. Утрата языка, отказ от него первоначально начинается на индивидуальном уровне. В таком случае можно говорить об индивидуальном языковом сдвиге. (Ср. точку зрения М.З. Муслимова на ситуацию у води). Данный вопрос влечет за собой и еще один вопрос: *где проходит граница между процессом языкового сдвига у отдельного билингва и целого этноса? В какой момент можно считать, что языковой сдвиг завершен?* Не случайно о «смерти» языка говорят в связи со смертью его последнего носителя, способного еще что-то сказать на родном языке, хотя теоретически возможно представить реанимацию языка, и да-

леко не всегда с уверенностью можно сказать, что умер действительно последний носитель языка.

У представителей среднего и особенно старшего поколения селькупов отказа от родного языка или не произошло совсем (впрочем, в очень редких случаях), или возникло монолатеральное двуязычие. Именно на примере этих двух поколений максимально заметны изменения в языке и вариативность форм, подготавливающие языковой сдвиг, поскольку наибольшая согласованность, уверенность, общепринятость наблюдается не в родном языке, а в русском, грамматику которого упорно «внедряли» в головы школьников.

3) Темпы сдвига различны у жителей разных поселков и у селькупов разного возраста. Языковой сдвиг замедлен у живущих в лесу селькупов; в с. Толька, Пур он протекает медленнее по сравнению с с. Фарково и Красноселькупом. Точно так же этот процесс проходит неодинаково среди селькупов разных возрастных когорт, хотя иногда и среди молодых встречаются люди, действительно говорящие на родном языке.

Помимо только что названных, остаются в силе факторы, перечисленные Б.Н. Вахтиным и Е.В. Головко и ряд других. Ко всему сказанному о языковом сдвиге как явлении социолингвистическом следует добавить еще *факторы психолингвистические*.

В период наличия в том или ином районе процесса языкового сдвига для состояния языка характерна ситуация, описанная французским функционалистом Мортеза Мамудяном в его книге 1982 г. «Лингвистика» [Мамудян 1985: 156-157]. Эта ситуация демонстрирует *психологическое* и одновременно социальное *состояние носителей языка*, испытывающих уверенность / неуверенность, согласованность / несогласованность в употреблении тех или иных языковых форм, что ведет к общепринятости / необщепринятости (исключительности) этих форм носителями языка. В результате одни языковые явления в процессе общения не вызывают никаких колебаний у носителей языка, а другие порождают различные варианты. Возникающая вариативность расшатывает языковую систему, ведет постепенно к ее изменению, усиливает

стремление колеблющегося обрести уверенность в использовании более надежной с точки зрения носителя языка формы (в том числе заимствованной из другого языка при наличии контакта с ним), что постепенно может привести к завершению языкового сдвига, к переходу на доминирующий язык.

Очевидно, что те немногочисленные носители языка, которые живут в лесу, следуют всем древним обычаям, блюдут прежний образ жизни и род хозяйственной деятельности, сохраняют и родной язык. Однако у ряда жителей леса и у многих селькупов, живущих в Красноселькупе или Фарково, отмечается нежелание родителей передавать язык детям. Это мотивируется стремлением родителей оградить детей от страданий, которые они сами когда-то испытали, попав в интернат (имеется в виду ситуация 1950х и последующих годов). Н.Б. Вахтин приводит впечатляющие истории о насильственном увозе детей от родителей в интернаты, о запрете говорить в нем детям на родном языке [Вахтин 2004: 230-231]. Прекращение воспроизводства родного языка в семье убыстряет завершение процесса языкового сдвига.

В любом языке (в дополнение к описанной психолингвистической ситуации) действует *принцип (закон) экономии в языке*: «Принцип наименьшего усилия проявляется в постоянном стремлении достичь равновесия между противоречивыми потребностями, подлежащими удовлетворению, – потребностями общения, с одной стороны, и инерцией памяти органов речи, – с другой» [Мартине 1963: 534]. Этот принцип экономии проявляется на всех уровнях языка и в любом языке[2]. По мнению А. Мартине, все функции языка «определяются его употреблением в коммуникативных целях» [Мартине 1963: 535]. Появление многочисленных вариантов, происшедших на всех языковых уровнях в основном

---

[2] Например, в русском языке на лексическом уровне используется: *метро* вместо *метрополитен*, *кино* вместо *кинематограф*. Часто можно услышать усеченную просторечную форму *пресмыкающие* вместо *пресмыкающиеся;* в разговорном русском преобладает форма род. п. 'около *две тысячи двести тридцати двух рублей'* вместо '*двух тысяч двухсот тридцати двух рублей'* и т.п.

за счет усечений слов, фраз и окончаний, есть также свидетельство закона экономии в языке.

В 1958 г. Э. Косериу писал об условии изменений в языковых системах, где «в течение длительного времени сосуществуют старое и новое не только экстенсивно, но и интенсивно (в форме «вариантов» и «изофункциональных элементов»)», что «одно из условий изменения – это само изменение» [Косериу 1963: 229].

Под *вариативностью* в данной статье понимается модификация окончаний в парадигмах имени и глагола, не связанная с изменением их значения; возможные усечения послелогов наряду с использованием полных форм; колебания в управлении и в порядке следования слов в предложении, постепенно подготавливающие эволюцию структурных схем сложных синтаксических конструкций. В свое время Л.В. Щерба сравнивал разговорную речь с кузницей, где куются и накопляются все изменения языка, затем проявляющиеся в литературном языке. В языках, имеющих богатую литературу, обычно говорят о кодифицированном литературном языке, имеющем норму, и об изменениях в этой норме или об отклонениях от нее. В языках бесписьменных или младо- / новописьменных (к каковым относится и селькупский язык), норма которых не является кодифицированной, но все же имеется, эта негласная норма постепенно тоже меняется. Как писала в свое время Е.С. Истрина, «иногда даже приходится признать нормой самое наличие двух вариантов» [Истрина 1948: 5]. Вариантов, конкурирующих между собой, может быть два, а иногда и более. Для русского языка предпринимались попытки провести статистическое обследование грамматических колебаний, установить для определенного периода удельный вес каждого типа вариантов [Граудина и др. 1976: 7-8]. Из газетных текстов 1960-1970-х гг. длиной в 2 млн. слов было выбрано 100 тысяч вариантов. Полученные при этом количественные соотношения вариантов указывали

либо на явное преобладание одного из них, либо свидетельствовали об их равновероятном употреблении и возможной взаимозаменяемости [3].

Типична вариативность и для селькупского языка. В селькупском языке варианты слов часто представляют собой усечение полной формы, редуцируемой и справа, и слева, в результате чего появляется по несколько вариантов наряду с полной формой, которую условно и можно считать нормативной (по крайней мере, до тех пор, пока она не забудется совсем). Варьирование форм в языке свидетельствует о возможных в нем изменениях, обусловленных в известной степени социо- и психолингвистическими факторами, и играет заметную роль в том, что получило наименование *языкового сдвига.*

В дальнейшем на конкретных примерах из северного диалекта селькупского языка речь пойдет о том, как именно варьирование приводит постепенно к изменениям в языке. Вариативность наблюдается на разных языковых уровнях – на фонетическом, морфологическом, синтаксическом; встречается она и в области словообразования и лексики. При рассмотрении вариантности в пределах различных частей речи будут указываться как фонетические (часто зависящие от диалектной принадлежности носителя), так и грамматические колебания в речи носителей языка при учете, с одной стороны, временны́х срезов сбора материала, с другой стороны (насколько это возможно), возраста информантов – представителей разных когорт. Основное внимание будет уделяться грамматическому варьированию.

---

[3] Речь идет о словах типа *тракторы / трактора* ~89 / 11%, *весной / весною* ~99 / 1%, *ясель / яслей* ~60 / 40%; *с неким / с некиим человеком* ~ 87 / 13%; *увидев / увидя* ~92 / 8%; *сосредоточивать / сосредотачивать* ~52 / 48% и т.д. В русском языке особое внимание привлекает к себе варьирование по роду. В указанной работе [с.71-74] приводятся слова трех семантических групп (названия представителей фауны, группа вещественных существительных и наименования предметов), в которых отмечено родовое варьирование. Колебания между мужским и женским родом встречаются, начиная с древнерусского языка. В уральских языках в силу отсутствия рода в них родовая вариативность очень сильна в русском языке селькупов [Кузнецова 2001: 223-225].

Следует также иметь в виду, что помимо вариантности в речи информантов может возникать квазивариативность за счет интерпретации исследователей, в зависимости от того, как они, например, трактуют тот или иной вариант: как колебания в произношении или как заимствование из другого диалекта (в редких случаях результаты совпадают). Что касается морфологических форм, которые разные исследователи могут интерпретировать либо как окончание, либо как послелог, то это, безусловно, не принимается в расчет при описании вариантности и остается «на совести» исследователя.

Вариативность форм имени

Ориентируясь на имеющиеся материалы XIX-XX вв., можно говорить об изменениях в селькупской грамматике, которые вызваны не только внешними (экстралингвистическими) причинами, происходящими под влиянием другого языка, но и внутрисистемными, в частности, – в результате вытеснения полных форм редуцированными. Это, в свою очередь, связано с возникновением многих вариантов в речи, обусловленных причинами, перечисленными ранее. Вариативность в области грамматики наблюдается в категориях имени, глагола, местоимений, в послелогах и других частях речи, в синтаксических конструкциях. В существительных наибольшей вариативности подвержены категории падежа и числа.

В уральских языках Nom. часто выступает в качестве препозитивного приложения, что соответствует в других традициях терминам «сопоположение, татпуруша» и, возможно, другим. В селькупском языке старинные наименования месяцев, уже забытые молодыми, построены именно по такому принципу. Напр.: limpy-iräty (букв.: орел + месяц) = ‘орлиный месяц, март’, kərä-iräty ‘вороний месяц, февраль’, wənty-iräty ‘нельмин месяц, август’, šoka-iräty ‘сучий месяц, ноябрь’, šɛ̄päk-iräty ‘бурундучий месяц, апрель’ и др. Форма Nom в ряде названий употреблялась наряду с формой прилагательного на –l’ или формой Gen: wənty iräty и wəntyl’ iräty, qōry ɔ̄mty təkyrysa iräty (букв.‘олень-самец рог чистит + месяц’) и qōryn ɔ̄mtyl’ ɔ̄l’čypyl’ iräty ‘месяц отпавших оленьих

рогов' (букв. 'оленя + рогатый + отпавший месяц'); ср.: laŋat (piččat / qə̄lyt) tyryl' iräty 'месяц язевой (щучьей, рыбьей) икры; май' и т.п. Все приведенные примеры были записаны в 1970-е гг. от носителей старшего поколения; представители среднего и тем паче молодого поколений уже тогда имели лишь отрывочные сведения о системе счисления времени в прошлом и перешли на русские календарные названия. Однако то, что помнили единицы в 1970-е гг. (в общей сложности материал был собран всего от 12 человек в Красноселькупском районе ЯН АО), совпадает с материалами, записанными Кастреном в середине XIX века, более 100 лет назад! Оформление календарных названий тремя способами (первое слово может иметь форму Nom., Gen. или прилагательного на –l') было зафиксировано уже М.А.Кастреном: kuera (Nom.)-ireäd 'вороний месяц'; kuele-t (Gen.)-tiril-ireäd 'рыбы икряной месяц'; kuete-l (Adj на -l')-ireäd 'заготовочный месяц' или ŧabegedil-ireäd 'безлистый месяц, август'; ср. limbe / limbel-ireäd 'орлиный месяц, февраль' [Castrén 1855: 252] (см. соответственно те же современные названия, записанные в 1970-е гг.: kərä iräty; qə̄ly-t tyryl' iräty; kətty iräty и čə̄pykytyl' iräty; lìmpy iräty; ср. сельк. обск.: лымбъкет иррет 'январь'). Спустя полвека после Кастрена наименования семи месяцев были зафиксированы в «Словаре русско-остятском...» Ф.Г. Мальцова 1903 г. [Helimski & Kahrs 2001; Хелимский 2002: 155-170][4], где также встречаются формы с Nom. (кэря-иря «февраль», букв. 'ворона-месяц', линби-иря «март, орлиный месяц»), с Gen. (тагыдъ-чонды-иря «июль», букв. 'лета середина месяц') и с существительным в адъективной репрезентации (каланыль-иря «январь», месяц сбора податей). Как видно из всех приведенных примеров, на протяжении более чем 120 лет существовала равно допустимая грамматическая вариантность в оформлении народных календарных названий у селькупов. Следует сразу упомянуть и о многочисленных

[4] В предисловии к словарю Ф.Г. Мальцова и в статье Е.А. Хелимского дан подробный анализ самого словаря преимущественно под углом зрения анализа фонетики и сопоставительной характеристики северно-селькупских говоров. В настоящей статье многие факты, упоминаемые Е.А. Хелимским, рассматриваются с иных позиций, а именно, – только с точки зрения наличия грамматических вариантов, отмечаемых на протяжении более 150 лет в селькупском языке, и их большем или меньшем влиянии на изменения в языке.

лексических вариантах этих наименований: каждый месяц мог иметь несколько названий, что объяснимо социолингвистическими причинами (подробнее см. [Очерки 1980: 51-59]). В настоящее время (судя по полевым материалам 2000-х гг., собранных в Туруханском районе Красноярского края) старые календарные названия знакомы лишь жителям леса среднего и старшего поколений (от них иногда отдельные названия остались в памяти у их родственников среднего возраста, живущих в поселке). Молодые целиком перешли на русскую систему счисления времени, более простую нежели селькупская, особенно если учесть, что селькупские названия отрезков времени, соотносимые в прошлом с периодами промыслов или природными явлениями и соответствующие календарным, характеризовались значительной вариативностью как в грамматическом, так и в лексическом плане и устарели в связи с кардинально изменившимся укладом жизни селькупов (ср. аналогичную ситуацию у других самодийцев [Симченко и др. 1993: 206-208, 244-245][5]). Приведенные факты, касающиеся в данном случае не только грамматического, но и лексического материала, являются неопровержимыми свидетельствами длительности самого процесса, неравномерности темпов сдвига в разные периоды времени, сильно убыстрившиеся во второй половине XX в. под влиянием социолингвистических факторов. В результате воздействия последних и при наличии многочисленных вариантов календарных наименований (прежде всего – лексических) произошел переход на русскую систему наименования месяцев. С изменением образа жизни устаревают и слова, прежде адекватно отражавшие ушедшие реалии и понятия, заменяясь новыми.

Сложные комплексы такого типа, как календарные наименования, встречаются в топонимах, а также в словосочетаниях, семантика которых легко выводима из их частей и где первый компонент может иметь две формы: Nom. и форма на –l’ или Gen. и форма на –l’, напр.: mykat / mykal’ pü ‘игольное ушко’ (букв. ‘иглы / игольный + камень’). Возможны все три варианта первого компонента: tü / tüs (< tüt) / tül’ sajy ‘искра’ (букв. ‘огонь / огня / огненный + глаз’); nəkyr (nəkyryt, nəkyryl’) laka

[5] К сожалению, в этой работе много опечаток в селькупском материале.

‘книга’ (устар. nəkyr ‘письмо’); šüńčyka / šüńčykat / šüńčykal’ topyr ‘земляника’; букв.‘птичка / птички / птичья ягода’.

В селькупском предложении Nom. выполняет не только функцию подлежащего, но и функцию прямого дополнения, о чем более полувека ведутся бесплодные споры, приводятся многочисленные гипотезы возникновения этого явления (см. напр. [Бубрих 1948; Терещенко 1973: 176-185]). На поверхностном уровне употребление в речи Nom. на месте ожидаемого Acc. самими информантами часто воспринимается как вариативное: Тəр wətty (wəttyр) tɛnymyŋyty ‘Он дорогу знает’ [Очерки 1980: 175]; Mat qə̄ly (qə̄lyp) apsyp ‘Я рыбу съел’. Более того, в конце 1990-х гг. в речи информантов старшего поколения, хорошо знающих родной язык, слово qə̄ly обычно звучало как qə̄l, являя собой безусловное усечение и создавая тем самым вариант слова, не известно, в каком падеже (Nom. или Acc.) стоящего: Mitty mäkkä qə̄l! ‘Дай мне рыбу!’ (Аналогичная редукция характерна и для слова čēly>čēl ‘день’). В такой ситуации можно говорить о синкретизме значений подобного варианта. Приведенные варианты (за исключением последнего примера) могут быть связаны с трактовкой формы как определенной и неопределенной, на что лингвист в полевых условиях мог не обратить внимания. Всё это затрудняет адекватное описание языка.

Многочисленные усечения двусложных существительных в Nom., кончающихся на гласный, были зафиксированы Ф.Г. Мальцовым уже 100 лет назад. В его словаре встречаются слова *колъ* (вместо *колы* ‘рыба’), *хоръ* (вместо *хоры* ‘олень-самец’), *суръ* (вместо *сурыпъ* ‘зверь и птица’; последнее встречается, напр., в названии птицы *кумын-вондыль суръ* ‘попугай’). Интересно, что в 1970-е гг. *qumyn wəntyl’ sūryp* информанты переводили как ‘сова’, что более правдоподобно (то есть ‘птица с человеческим лицом’). Судя по работе Мальцова, изредка редуцировались целые слоги: *са-тинолы* ‘черная туча’ (вместо *сака тинолы*), *са-лока* вместо *сака-лока* ‘лисица чёрнобурая’; наряду с редуцированными корнями сложных слов возможен полный вариант *сака-шекы* ‘черные нитки’. Само слово *нитки* дано в нескольких вариантах: *шекы, шёкы* и *шекъ,* как и слово *qory*: *хобъ, хопъ* и *хопы* ‘кожа, шкура, кора, кожура’.

Колебания в форме и функционировании падежей происходят не только в Nom. Варьированию подвержены в большей или меньшей степени и остальные падежи. В одних случаях варианты выявляются на уровне фонетических усечений; в других связаны с изменениями в управлении падежей (нередко под влиянием русского языка), в третьих объяснимы с точки зрения категориальных изменений, в частности, в результате исчезновения категории одушевленности / неодушевленности. Не исключено, правда, что именно всё возрастающая вариативность привела к утрате данной категории.

В записях 1970х гг. при обозначении адресата действия наблюдается смешение в употреблении падежей Dat.-All. и Ill.: il'ča-nyk / il'ča-nty (qum-ty) kətympaty 'старику (человеку) сказал'. В 2000-х гг. можно услышать от представителей старшего поколения Iraqota ɔ̄ndalɛisȧ ijanty / ijanty čɔ̄ty 'Старик обрадовался сыну' (вторую форму можно трактовать двояко: как форму Ill или как посессивную форму 3Sg.Gen. с послелогом čɔ̄ty). Молодые, еще говорящие по-селькупски, предпочитают использовать в этих случаях бессоюзное (реже с союзом natqo) подчинение, которое равновероятно толковать как бессоюзное сочинение: Iraqota ɔ̄ndalɛl'čimpa (natqo) tüsa ijaty 'Старик обрадовался, (что) пришел сын-его'. Между тем, глаголы, выражающие эмоциональное состояние человека (*обрадоваться, рассердиться, смеяться*), требуют Dat.-All. (см. [Кузнецова 2000: 109-112]). Факультативно Dat.-All.Sg в значении адресата действия может встретиться с показателем –kinÌ, но регулярным это окончание является только для Du и Pl.: Lō̄syt näl'āqÌtkinÌ solap mēsyty 'Чертовым (букв. 'чёрта') дочкам-двум ложку сделал-он'. В Ill окончание -kinÌ не только в Du и Pl, но и в Sg. употребляется в другом значении, а именно – для обозначения конечного пункта действия, наряду с флексией -nty: šīmal'anty tüsa 'в поселок приехал'; Na mɛktyn olytytkinÌ al'ča 'На эти кочки упал'. Dat.-All. также оформляет неодушевленные существительные, но имеет значение направления действия (šImal'a-nyk qonÌššy 'к поселку ездил') в отличие от Ill., который, как уже отмечалось, употребляется в значении конечного пункта действия.

В результате происходящих в языке изменений (возможно, смешений в силу вариативности) адресат действия может обозначаться Dat.-All. с показателями -nyk и -kini (преимущественно в Du и Pl), а также Ill. (-nty). Направление движения (и действия) выражается Dat.-All. (-nyk), а конечный пункт действия передается Ill. (-nty, -ty и -kinì, последнее окончание в Du и Pl.). Иными словами, исследователь-лингвист констатирует синкретизм значений в окончании -kini (или омонимию?). Связано это, видимо, с утратой категории одушевленности / неодушевленности. У М.А. Кастрена [Castrén 1854: 111-113] для одушевленных существительных направительный падеж (Ill.) передается окончанием -kini, а для неодушевленных – как -nty. У Г.Н. Прокофьева [Прокофьев 1935: 31] оформителем Dat. для названий одушевленных предметов является суффикс -nyk, а для неодушевленных – -nDy (1 склонение) и -ty (2 склонение). К 1970-м гг. произошли изменения, в результате которых показателями Dat.-All. стали оформляться как одушевленные, так и неодушевленные существительные (см. также [Очерки 1980: 178-180]). Кроме того, совпадение Ill. и Dat.-All. происходит в формах Du. и Pl. При обозначении конечного пункта действия вместо Ill. встречается Nom. в сочетании с глаголом движения (mɔ̄t šɛ̄rny ‘в дом вошел’ [Очерки 1980: 172]) наряду с более редким сочетанием mɔ̄tty šɛ̄rny, где mɔ̄tty может двояко интерпретироваться: как Ill. и как форма GenPx3Sg, то есть ‘в дом-свой вошел’. Не исключено также, что в данном случае на первое место выносится топик – прием, нередко наблюдаемый в селькупских сказках.

Вариативность в виде усечения падежных окончаний свойственна в основном падежам, кончающимся на гласный (см. примеры на Nom., ср. флексию -kini /-kin в Dat.-All. и Ill). Это относится и к El. (-qyn вместо -qyny) в дополнение к названным выше падежам. В результате возникают падежные омоформы Loc. и El. Нередки варианты и в падежах, оканчивающихся на согласный, как напр., в Car. (Abess.), где вместо окончания -kɔ̄lyŋ / -kɔ̄lyk возможны -kɔ̄ly и даже -kɔ̄l: Mat ilam ämämkɔ̄ly i äsykɔ̄l ‘Я живу без матери и без отца’. Колебания огромны

не только в области грамматики, но и фонетики (что видно и в данном примере), однако здесь они специально не рассматриваются.

Изменения в языке не совершаются молниеносно и не являются невозвратимыми к прежнему состоянию. До поры до времени возможны сильные языковые колебания, в связи с чем возникают бифуркации, приводящие иногда к длительному сосуществованию в языке (в том числе в одном и том же диалекте) разных форм выражения той или иной категории, тех или иных слов. Возможно, был прав Мартин Эхала, когда называл язык «открытой самоорганизующейся системой» [Ehala 1994: 192]. В своей статье об изменениях под влиянием русского языка эстонских предлогов и послелогов в 1905, 1972 и 1992 гг. М. Эхала, на примере предлога läbi, продемонстрировал случаи колебаний в частоте употребления предлога по сравнению с омонимичным ему послелогом. Предлог läbi рассматривался в значениях места, времени, инструмента и причины: ‘через’, ‘в течение’, ‘посредством / по причине чего-либо’. При этом, по свидетельству М. Эхала, läbi может соответствовать также омонимичному наречию. Автор объясняет неизбежность изменения в системе служебных слов утратой предлога läbi, в результате чего нарушилась стабильность системы, и начались поиски новой стабильности, усилившиеся под влиянием русского языка [Ehala 1994].

Та же картина большой вариативности типична для многих послелогов[6], среди которых часто встречается -čɔ̄t вместо čɔ̄ty, -nɔ̄n вместо nɔ̄ny; ср.: -tɔ̄n вместо tɔ̄qqyn и др. Принципы редукции остаются теми

[6] Не менее уязвимы местоимения, из которых пока твердо помнятся формы личных местоимений в Nom 1 и 2 Sg / Pl. Сплошь и рядом укорачивается местоимение ‘я’: ma вместо mat; часты усечения Acc. 1 и 2Sg: šÌm / mašÌm; Dat.-All. 1 и 2Sg: mäkkä /matqäk и др. Что касается лексических систем, то, естественно, забываются слова (или целые группы слов, уменьшающиеся в своем количественном составе до минимума, как, напр., это происходит в именах родства), не относящиеся к основному фонду слов. Именно они раньше других заменяются словами более престижного языка (см. календарные названия). Если в отдельных группах слов (напр. в топонимах) наименования сохраняются, часто утрачивая свой первоначальный облик и тем самым становясь непонятными, они начинают также заменяться.

же (отпадение последнего гласного, целого слога или его части, не обязательно при этом последнего).

Четко проявившаяся сравнительно недавно замена старого управления новым тесно связана со значительной вариативностью в данной области языка. Трудно сказать, происходят ли изменения в результате социолингвистических (влияние русского языка) или психолингвистических (согласованность / несогласованность говорящих, стремление к экономии усилий) причин. Или, как говорил Э.Косериу, само изменение является условием изменения.

Вариативность глагольных форм

Примерами максимальной вариативности в области грамматики могут служить усечения окончаний глаголов 3Pl (-ǝ̄t вместо -ǝ̄tyt̃), форм императива 2Sg (-äš вместо -äšyk, -ät вместо -äty). Колебания этих форм в разные периоды неравномерны, как различны они и по районам, и в речи представителей разных когорт. Результаты наблюдения над селькупским языком 1920х (материалы Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых), 1940х (Л.А. Варковицкой), 1970х (экспедиций МГУ) и 2000х гг. (автора статьи) можно сравнить с более ранним состоянием северно-селькупского диалекта в районе проживания северных селькупов, используя материалы начала XX в. (1900х гг., словарь Ф.Г. Мальцова).

В отношении последнего сразу должна быть сделана оговорка, касающаяся не только самого материала, но и его собирателя. Речь идет о словаре селькупского языка, составленном туруханским мещанином Федором Гавриловичем Мальцовым / Мальцевым в 1903 г.[7] и изданном

---

[7] Издание предусматривает легкий поиск любого слова в словаре Мальцева, хотя слова даны не по алфавиту, а сгруппированы либо по тематическим группам, либо по частям речи, либо идут в произвольной последовательности, но имеют нумерацию (всего слов 1693), перевод на русский язык, транскрипцию и перевод на немецкий язык. В конце издания приводится в алфавитном порядке 1) индекс всех транскрибированных слов с указанием того,под каким номером они упоминались в основной части словаря, и 2) индекс переводов на немецкий язык также с указанием номера селькупского слова или выражения.

в 2001 г. Е.А. Хелимским и У. Карс[8]. При обращении к словарю следует иметь в виду, что его автор не лингвист, в связи с чем важно учитывать ряд обстоятельств. Ф.Г. Мальцев не владел лингвистическими методами сбора и транскрибирования полевого материала, не обладал навыками работы с информантами и, возможно, не имел «натренированного уха» (хотя, по утверждению Е.А. Хелимского, Мальцев – носитель селькупского языка, возможно, правда, другого диалекта по сравнению с тазовско-туруханским диалектом). Записывая нередко одно и то же слово по-разному, он обычно не указывал, получено оно от разных людей или от одного и того же носителя языка, возраст которого также остается неизвестным. Переводы нередко не соответствуют грамматической форме слова (напр., в переводе на русский дается инфинитив вместо императива), что искупается переводом на немецкий язык издателями. Впрочем, записывая различные формы глаголов, собиратель, судя по всему, перепроверял их у других информантов и отмечал, что, напр., «можно сказать как угодно ‘закричи’: *лангальчи, лангышешъ, лангыптӭтъ*» [Helimski & Kahrs, № 1028].

Из трех приведенных вариантов, равно допустимых, по мнению, видимо, самого Мальцева (а может, и информантов), обращает на себя особое внимание широкое варьирование разных показателей императива 2Sg. Каждый из них имеет в записях Ф.Г.Мальцова не менее четырех фонетических разновидностей для показателей -äš(yk), напр., -ешъ / ӭшъ / ишъ / ышъ (при этом полной формы -äšyk не встретилось ни разу в словаре!) или -ӭтъ /-етъ /-едъ /-атъ /-этъ /-ӭитъ /-яты для показателя -äty (последний вариант есть лишь в одном слове: *кюряты*, которое дано в переводе как ‘махать’ вместо ‘маши!’ [küräty]. Ошибки такого рода в переводах на русский у автора достаточно часты). Ср.: *абъстальдэтъ* /

---

[8] Ф.Г. Мальцев не одинок. Среди носителей миноритарных языков (не лингвистов) время от времени появляются энтузиасты, собирающие слова родного языка, желая сохранить его для потомства. Примером такого бережного отношения к исчезающему диалекту может служить «Хантыйско-русский словарь (васюганский диалект)» М.К. Могутаева, подготовленный к изданию А.А. Ким, О.А. Осиповой и Е.А. Сергеевой и опубликованный в 1996 г. в Томске.

абстальдэ̄тъ (2Sg) ‘спаяй / навари!’ (№ 323, 321); *маныбетъ / маныббатъ* ‘смотри!’ (2Sg) и *вошешъ* ‘вставай!’; *игы тентэ̄шъ* ‘не говори!’; *омдышъ* ‘садись!’ и т.д. Практическое отсутствие сокращенных форм императива наводит на мысль, что, возможно, собиратель не пытался уточнять у селькупов звучание слова, поскольку обычно при просьбе повторить слово, «недослышанное» собирателем, информанты дают полную форму вместо редуцированной. Это предположение усиливается при сопоставлении с современным состоянием форм повелительного наклонения, поскольку в современном селькупском языке чаще звучат краткие формы императива, но при повторных попытках записать слово информант четко произносит полные глагольные формы. В словаре Мальцева обычно не редуцировались лишь показатели императива -ty и -y, которых зафиксировано около 70. Формы на -ty, как правило, озвончались после сонорных: *топоръ такыльды* ‘ягоды собирай!’ (от инфинитива *taqqyl-qo*), *ат-талъ оркальды / саральды* ‘оленей поймай / запрягай’ (от инфинитивов orqylqo, sarralqo; ср. также: *ты миригды* < tî miryŋty ‘продай!’), в других случаях не изменялись: *шюдты* и *шюдъты* ‘сшей!’, *илы-конты* (2Sg) ‘ложись-спи!’ (инфинитивы šütqo, qontyqo соответственно). Остальные формы глаголов на -äš(yk) и -äty (их около 110) встречаются исключительно в редуцированных вариантах (ср. [Очерки 1980: 247-248]).

Вариативность широко распространена среди глагольных окончаний лица и числа. Напр., в 3Pl вместо ожидаемого [-ɔ̄tyt] фиксируется лишь показатель [-ɔ̄t], что характерно и для современного селькупского языка в северных диалектах (в идиолекте Мальцева это обычно -атъ): теньтысатъ ‘говорили’ вместо [tɛntysɔ̄tyt], топ-сатъ ‘рассказывали’ (№ 458) вместо [topsɔ̄tyt], тэ̄быть кондырсатъ вместо полной формы [təpyt qontyrsɔ̄tyt] ‘они видали’. Встречается в словаре несколько форм 1Pl и 2Pl: мей кондырсымъ вместо [mē qontyrsɔ̄myt] ‘мы видели’, юндышимъ вместо [üntyššymyt] ‘(мы) слышали’, тёй юндышиль вместо [tɛ̄ üntyššylyt] ‘вы слышали’ и др. Едва ли не единственными являются примеры на 1Pl настоящего времени: (коса) сандырлимъ ‘(ну-ка) поиграем!’, переведенное Мальцевым как ‘(будем) играть’ (№ 588 и 589). Полная форма

должна иметь показатель -мыт: (коса) сандырлимытъ [kossa / kyssa / kəssa sɔ̄ntyrlymyt]. Точно так же апокопируются глагольные окончания форм настоящего времени 2Sg, напр., *пачалъсанъ* (вместо *пачалъсанты*) 'рубишь' и др. При этом далеко не всегда различаются окончания субъектного и объектного спряжений, на что обратил особое внимание Е.А. Хелимский, сравнивая с нарушениями такого же рода материалы, собранные в 1998 г. в Фарково. На рубеже тысячелетий, как и на рубеже XIX и XX столетий, встречались сочетания *самагъ иляль* 'хорошо живешь', *кутаръ иляль* 'как живешь' (у Мальцева), Somaŋ ilanty 'хорошо живешь' и *Tat qā qəntal / qənnanty*? 'Далеко ли ты едешь?' у Е.А. Хелимского [Хелимский 2002: 167].

Примеры языковой вариативности столетней давности, обнаруженные в записях не лингвиста, а (возможно) носителя языка без высшего образования, совпадают с результатами сбора аналогичного материала лингвистами в течение всего XX века: в 1920е гг. Г.Н.Прокофьевым, в 1941 г. Л.А. Варковицкой. Материалы, собиравшиеся мною в 1970е, 1990е, 2000е гг. также подтверждают сказанное. Так, и в Красноселькупе, и в Фарково налицо усечения окончаний 2Sg императива (наряду с их полной формой); путаница в употреблении 1-го и 2-го спряжений и падежей: *yka molmytäš*! «не ври!», *quraläš ütqo* «сходи за водой!», *man nɔ̄ny yka Fnäš*! «меня не бойся!», *tünDy čatät*! «в огонь брось!», *qənnät moqynä, nop qənta*! «иди домой, бог идет!» (то есть 'гроза начинается'), *Quraltäš uznajty časap əmynty n~ny* 'Пойди узнай время у матери-своей'; *Tattäty mačin nɔ̄ny pɔ̄*! «Принеси из леса дрова!»; *tomty* и *tomtäš* 'говори!', *mety* и *metät* 'сделай!', *miŋäš* и *mitty / mitta* 'дай!', *tattäš, tattäšyk* и *tattät* 'принеси!'. Возможны не только грамматические, но и фонетические варианты: *čüty* и *čüäš* (без ожидаемой эпентезы ŋ) 'стреляй!', *tüŋäšyk* и *tüäš* 'приди!'. Окончания 2 Pl *-nylyt* и *-ŋylyt* сокращаются до *-nyl, -ŋyl*: *Qənnyl, qaltyryŋyl*! (обращение к детям) «Идите, бегайте!» и др.

Колебания в речи носителей могут быть, таким образом, самого разного рода: здесь и усечения окончаний (наряду с возможными полными формами), свидетельствующие о стремлении говорящего к экономии усилий; здесь и смешения типов спряжения, и сбои в управлении (упот-

ребление одних падежей на месте других). Здесь и путаница в наклонениях, а еще большая – в смешении аспектуальных характеристик глаголов и т.д.

Синтаксическая вариативность

До сих пор рассматривалась вариативность в сфере морфологии. Однако не меньшие колебания наблюдаются в сфере синтаксиса, причем, если в морфологии изменения форм могли происходить в силу принципа экономии усилий или коммуникативных моментов (возникающей согласованности / несогласованности и т.д. в употреблении форм и слов), то в синтаксисе дополнительно к перечисленным приходится учитывать еще и другие причины. Существенным становится фактор контактного влияния доминирующего языка, который не был столь очевидным в морфологических изменениях.

Селькупский повсеместно испытывает влияние русского языка; различие между обоими языками в области синтаксиса достаточно ощутимы. Обычно в качестве различий называют прежде всего порядок слов в предложении. Однако порядок слов (типичным в русском языке считается порядок SVO, а в селькупском SOV) на самом деле требует оговорки: для русского разговорного языка более типичен, как и для селькупского, порядок SOV. Точно так же характерно для селькупского и разговорного русского языков вынесение вперед топика, что легко продемонстрировать на примере примет, напр.: (Qata) *čičikīja mɔ̄tty* məšɛ̄nta – qōtyrapōqy '(Если) птенчик в дом влетит – к беде'.

Селькупскому языку более свойственно бессоюзие при большом количестве номинативных предложений (интонационно часто никак не разделяемых), в результате чего трудно провести границу между сложносочиненными и бессоюзными сложноподчиненными предложениями: Qaryt kəntyty îla qənqolamna 'Утром заря занялась, уходить собрался-он' или 'Как только утром заря занялась, уходить собрался-он'. То же самое можно сказать и о соотношении между прямой и косвенной речью. Интересно, что перечисленные проблемы типичны не только для современного селькупского и остальных самодийских языков. Они были

свойственны прошлым состояниям некоторых индоевропейских языков (напр., русского), о чем писал в свое время С.И. Карцевский [Карцевский 1961], обсуждая вопросы бессоюзия, открытых и закрытых структур, включенно-личных предложений и других особенностей русского синтаксиса. Этот факт сходства подтверждает прозорливость В. Гумбольдта, писавшего, что «языки имеют некий предел своей завершенности, после достижения которого уже не подвергаются никаким изменениям ни их органическое строение, ни их прочная структура» [Гумбольдт 1984: 307]. Селькупский язык, судя по всему, давно достиг этой завершенности и в течение длительного периода находился в состоянии стабильности, которая в настоящее время под усиливающимся влиянием русского языка быстро разрушается [Кузнецова 2004: 399].

Среди синтаксических различий в двух языках можно назвать также двоякость согласования подлежащего и сказуемого в селькупском языке, которое может быть в одних и тех же случаях грамматическим (по числу / лицу) или семантическим, по смыслу [Очерки 1980: 370-373]. Естественно, что равно допустимое согласование главных членов предложения тоже расшатывает систему. Несмотря на то, что преобладает грамматическое согласование, в сказках можно встретить фразы Müty ukkyrna čüŋɔ̄tyt ‘Войско непрерывно стреляют’ и Müty ny čattympaty ‘Войско туда выстрелило’; Kəry šîmal’anyk laqaltēmpɔ̄tyt ‘Аргиш к поселку тронулся’ (букв. ‘тронулись’). Точно так же возможны в сказках фразы Qənta ilympa imantysä ‘Кэнта жил со своей женой’ и Ija nätäksä ilyqolampɔ̄qì ‘Парень с девушкой жить стали-вдвоем (Du)’; Iča и imaqota ilympɔ̄qì ‘Ича и старуха жили-вдвоем’ и Okkyr ira aj imaqotaty ilympɔ̄tyt ‘Один старик и жена-его жили (Pl)’. Обычно существительное после числительных стоит в форме Sg., но после числительного šitty ‘два’ встречается и Sg, и Du. (Du, впрочем, почти исчез). Что касается глагола, то он согласуется с существительным (которое, как уже было сказано, независимо от числительного стоит в Sg), однако и здесь бывают сбои: nɔ̄kyr qumyt (вместо ожидаемого qum) na koptōqynty ɔ̄mtɔ̄tyt ‘Три человека на этой кровати сидят’ (согласование по Pl). Все приведенные и подобные им другие примеры, взятые из архива Л.А. Варко-

вицкой 1940х гг., в котором представлены и тексты Г.Н. Прокофьева 1920х гг [Варковицкая. Архив], а также материалы экспедиций 1970х и 1990-2000х гг. свидетельствуют о вариативности указанного типа согласований. При этом в текстах, записанных от носителей селькупского языка в первой половине XX в., разнобой отмечается в речи представителей всех основных когорт (молодых, среднего возраста и старшего поколения) более или менее в одинаковой пропорции; в записях 1970-х гг. данная тенденция сохраняется, но записи от молодых единичны: к концу века и в начале текущего столетия среди молодых вообще отсутствуют поселковые жители, владеющие родным языком (по крайней мере, в Фарково).

Некоторые выводы

Один и тот же материал может рассматриваться под разными углами зрения, которые обычно не соотносят друг с другом. Так, одни лингвисты говорят об исторических изменениях в селькупской грамматике, ориентируясь на имеющиеся материалы XIX-XX вв. и / или обращаясь к праистории, либо выискивая в них внутриязыковые причины, наблюдающиеся в самой системе. Другие рассматривают изменения в языке как вызванные внешними (экстралингвистическими) причинами, происходящими под влиянием чужого языка. В этом случае изменение всей системы языка связано с одновременным действием нескольких факторов:

1) политики государства;

2) социологических факторов (контактного влияния более престижного языка, возраста говорящих, образовательного ценза, миграции населения, местожительства носителей языка и т.п.), зависящих, в свою очередь, от государственной политики;

3) психологических факторов (уверенности / неуверенности и в силу этого – согласованности / несогласованности носителей языка в употреблении тех или иных звуков, слов, грамматических форм, синтаксических оборотов и т.д., что приводит к общепринятости одних форм и факультативности других, через некоторое время совсем исчезающих из

обихода). Появляются дублетные формы (русские и селькупские), наблюдаемые на примере лексики, фонетики и грамматики, есть случаи гибридного словообразования и т.д.

В настоящий период (на грани тысячелетий) ту фазу языкового сдвига и его примет, когда происходит осознанное или интуитивное противостояние титульного языка миноритарного народа и доминирующего общегосударственного языка, можно наблюдать лишь в языке среднего (а порою и старшего) поколений, да и то не во всех селькупских поселках и даже не во всех семьях. На наших глазах (на примере речи среднего поколения) происходят процессы, меняющие селькупский язык: то, что недавно было постоянным, становится переменным, вариативным и высоко частотным. Растет количество тех грамматических явлений, в которых селькупы, еще использующие родной язык, допускают все большее число ошибок и появляющихся в них вариаций. Правда, надо признать, что вариативность в области фонетики и морфологии (и шире – в области грамматики) есть неотъемлемая черта языка вообще, а не только в процессе языкового сдвига, поскольку люди в любой период времени не могут не испытывать воздействия социальной ситуации и психолингвистических факторов. Одни варианты, получив постепенно наибольший удельный вес, превращаются в общепринятые (=нормативные), другие забываются, осуществляя изменение языка (снова вспоминаются слова Э. Косериу: «одно из условий изменения – это само изменение»). Учет вариантных форм помогает правильно оценить перспективы эволюции языка. Аллегровость речи ведет к усечениям разного рода – редукции окончаний (особенно в глаголах), сокращению длины предложения и т.д., однако собственно языковые причины изменения системы языка вряд ли существуют вообще (даже аналогическое выравнивание происходит в силу возникающей согласованности говорящих). Признаки безвозвратного изменения языка в конечном счете всегда объяснимы социо- и психолингвистическими факторами.

Параллельно с «расшатыванием» языка изнутри (самими изменениями в нем) идет другой процесс: под влиянием социальной ситуации численно растущая часть населения переходит на доминирующий язык,

не желая пользоваться родным и совершенно независимо от того, как меняется (и меняется ли вообще) язык. В настоящее время для подавляющего большинства молодых селькупов наступила именно эта фаза: сознательный отказ от родного языка, переход на русский язык, а нередко даже требование к старшим прекратить использование селькупского языка, не говорить с детьми по-селькупски. Редчайшие исключения только подтверждают правило.

В настоящей работе речь шла о зафиксированных в материалах последних полутора веков варьирующихся формах и конструкциях, которые, возможно, приведут в результате к вытеснению из грамматики полных форм редуцированными. Варьирующиеся языковые единицы (в отличие от постоянных) выступают своеобразным индикатором грядущих изменений. Такой подход не исключает детального рассмотрения того же материала под другими углами зрения – с точки зрения этимологии грамматических форм или с позиций контактирования языков и т.д., что может помочь решить загадку, как исчезает язык.

Т.Б. Агранат [1]

«Разорение» словообразовательных гнезд как возможный результат языкового сдвига [2]

В предисловии к грамматике водского языка Д. Цветков писал в 1922 г.: «За последнее время этот язык претерпел особенно сильные изменения, ассимилируясь с языком ижорским, и, постепенно и неуклонно вытесняемый вместе с последним языком русским, в ближайшие десятилетия совершенно исчезнет с лица земли. Уже в настоящее время большинство водей утратило свой «материнский язык», заменив его сильным, красочным русским языком, и для молодого водьского поколения «*ваддьылайсийы чээли*» является почти китайской грамотой. Язык быстро и верно идет к ликвидации» (Цветков 1922).

Еще через три десятка лет в комментариях к (Хакулинен 1953) П. Аристэ писал: «На водском языке умеют говорить только около 100 стариков; в настоящее время водский язык не является больше живым разговорным языком, им пользуются лишь в редких случаях» (Хакулинен 1953: 291). Через полвека о водском языке можно сказать то же самое, правда, на порядок уменьшив число говорящих. Это означает, что некоторым из тех «стариков» должно было тогда быть лет 18-20. Видимо, сработал известный феномен преждевременных похорон языка[3], вызванный «пасторальным подходом» к поиску информантов (Gal 1989).

А.Е. Кибрик относит водский язык к группе языков, «которые уже почти перешли в разряд мертвых» (Кибрик 1992: 71). Я бы скорее отве-

---

[1] Татьяна Борисовна Агранат, Институт Языкознания, Москва. tagranat@yandex.ru.

[2] Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» и гранта РГНФ, проект № 06-04-18002е.

[3] Об этом см. подробно (Вахтин 2001: 263-280).

ла водскому языку по той же классификации место в группе «смертельно больных» языков, «которые в наибольшей степени нуждаются в активной поддержке и документации» (Кибрик 1992: 72). Тем не менее, нельзя отрицать, что сдвиг водского языка зашел очень далеко и что он происходит стремительно. «Водская молодежь в течение одного поколения почти полностью перешла на русский язык» (Аристэ 1967: 117). Последнее поколение, получившее водский язык в детстве от родителей как первый, родилось перед Первой мировой войной, в дальнейшем естественная передача языка детям была насильственно прервана (см. Агранат, Шошитайшвили 1997). В прошлом водский язык, никогда не имевший письменности, использовался в ограниченных сферах: в бытовом и профессиональном общении (сельское хозяйство, рыбная ловля), хотя в данном случае вряд ли можно разделить две эти сферы. В настоящее время коммуникативная функция водского языка практически утрачена из-за невозможности его использования в семье[4]. Степень владения языком у последнего поколения, усвоившего его естественным путем, не одинакова. Здесь практически представлена вся шкала степеней владения языком по (Campbell and Muntzel 1989: 181), т.е. (почти) полностью владеющие языком, полуязычные, слабо полуязычные и помнящие некоторые слова и отдельные фразы. Однако и те, кто максимально обладает речевыми навыками, все равно являются носителями с суженной сферой употребления языка ("narrow-users", по терминологии С. Гал (см. Gal 1989: 331)), из-за утраты языком коммуникативной функции[5].

---

[4] Удалось обнаружить еще одну интересную функцию: сны снятся по-водски, если во сне являются те, с кем наяву разговаривают по-водски.

[5] Нарративная функция водского языка поддерживается благодаря активному посещению лингвистами водских информантов; любому полевому лингвисту известны случаи, когда информант от сезона к сезону как будто бы улучшает языковую компетенцию, на самом деле, приводит в активное состояние то, что ушло в пассив. Но, видимо, «последние носители» могут утратить язык безвозвратно, если он не использовался продолжительное время, ср. : «В оправдание своего незнания он ссылался на то, что он уже двадцать лет не говорил по-кревингски. Кроме весьма немногих и самых коротеньких предложений, он не в состоянии был перевести ни одной сколько-нибудь длинной,

Как показано в (Муслимов 2005: 5), в зонах интенсивных контактов в Западной Ингерманландии между близкородственными языками в некоторых случаях возникал идиолектный континуум. Представляется, что в ситуации утраты коммуникативной функции ничто не мешает идиому также превратиться в идиолектный континуум, так как у каждого носителя языковые изменения могут пойти по собственному пути. Ярким примером является чуть ли не индивидуальная система выражения пространственного дейксиса у каждого современного носителя водского языка.

Независимо от говора, встречаются различные системы местоимений-наречий. Двухчленная: серия siin ‘здесь’ / sihe ‘сюда’/ siit ‘отсюда’ обозначает ближний дейксис, серия seel ‘там’ / sinn ‘туда’ /seelD ‘оттуда’ обозначает дальний дейксис, анафору и катафору. Как видим, в обеих сериях переосмыслились падежные формы указательных местоимений дальнего дейксиса. Другая система, также двухчленная, но серия ближнего дейксиса образована от застывших падежных форм разных указательных местоимений: kassin ‘здесь’ /tännä ‘сюда’ /täältä отсюда; серия дальнего дейксиса образована от падежных форм, как застывших, так и живых, одного указательного местоимения (дальнего дейксиса): seel ‘там’ /sinn(ə) ‘туда’ /seelt(ə) ‘оттуда’, эта серия употребляется также в анафорической и катафорической функции.

Трехчленные системы различают три степени приближения к говорящему. Серия максимальной близости к говорящему: rääll(ə) ‘здесь’ /tännä ‘сюда’ /täält(ə) ‘отсюда’, по-видимому, эта серия обозначает непосредственно сферу говорящего, во всяком случае, конструкция *seis rääll! неграмматична, в отличие от seis kassin! ‘стой здесь!’. Таким образом, видимо, следующая по удаленности серия распростаняется и на сферу говорящего, и на сферу слушающего: kassin ‘здесь’ /kasse ‘сюда’ /kazittə ‘отсюда’. Серия максимального удаления от говорящего: seel ‘там’ /sinne ‘туда’ /seelt(ə) ‘оттуда’, выражающая также анафору и ката-

---

связной фразы, ... и я тщетно бился с ним, стараясь добыть от него личные окончания настоящего времени какого бы то ни было конкретного глагола» (Видеман 1872: 24).

фору. Как можно заметить, все три серии образованы от падежных форм разных указательных местоимений. Еще одна трехчленная система: серия kassin 'здесь'/ kassə 'сюда' /kazett 'отсюда'; серия sihee 'сюда' /siin 'здесь' /siit 'отсюда' и серия seell 'там' /sinn 'туда' /selD 'оттуда'. (см. об этом Агранат 2005 и более подробно Агранат в печати).

В литературе обсуждается вариативность как черта языкового сдвига, например в докладе А.И. Кузнецовой отмечалось, что в селькупском языке происходит значительное увеличение вариантов того или иного явления на любом языковом уровне (см. статью А.И. Кузнецовой в настоящем издании).

В (Mougeon and Beniak 1989: 309), с одной стороны, подтверждается эта мысль, с другой стороны, говорится о том, что «сокращение менее формальных регистров равносильно утрате лингвистической вариативности».

С. Гал, изучавшая словообразование в венгерском языке "narrow-users", живущих в Австрии, приходит к выводу, что те словообразовательные средства, которые являются наиболее частотными в речи полноценных носителей[6], как раз и используются в инновациях "narrow-users" (Gal 1989). Таким образом, можно прогнозировать в дальнейшем исчезновение из языка тех моделей, которые были менее частотными в речи старшего поколения, и уменьшение вариативности словообразовательных моделей в языке в целом.

Видимо, такое же явление наблюдает Э.Вяари в ливском языке, где по сравнению с другими родственными языками меньше словообразовательных суффиксов (Вяари 1966: 122). Проведенные исследования позволили автору сделать вывод о том, что «несмотря на исключительно сильное влияние латышского языка и на то обстоятельство, что язы-

---

[6] Хотя именно в данном контексте термин «полноценные носители» вряд ли представляется адекватным, так как С. Гал (Gal 1989) не делит носителей на «полноценных» и «неполноценных», резко отрицательно относясь к «пасторальному» подходу. Она сравнивает язык "broad-users", т.е. носителей с широкой сферой употребления языка и "narrow-users", т.е. носителей с суженной сферой употребления языка.

ковой контакт вступает в свою заключительную фазу, ливский язык все же до сих пор сохраняет свою суффиксальную словообразовательную базу. В результате языкового контакта не возникло новых суффиксов; *из языка, правда, исчезли некоторые менее продуктивные суффиксы* (курсив мой. – Т.А.), но с помощью оставшихся и в настоящее время образуются новые слова» (Вяари 1966: 128).

Похожая картина обнаруживается и водском языке – уменьшается количество словообразовательных моделей. Число водских и ливских словообразовательных суффиксов примерно совпадает, для сравнения, в финском языке, по (Хакулинен 1953), их на порядок больше, ср. также, значительно большее количество словообразовательных суффиксов в эстонском языке (Каск 1966).

В (Gal 1989) обсуждается проблема измерения продуктивности при изучении словообразования, кроме интуиции говорящего, ошибок говорящих, спонтанных неологизмов и др., называются также словарные списки и указывается, что последнее равносильно подсчету частотности в сообществах, где отсутствует словарь.

Водская лексика зафиксирована в словарях (Tsvetkov 1995, Vadja keele 1990), существуют также грамматические описания различных синхронных срезов, включающие наборы словообразовательных аффиксов, поэтому для водского языка представляется возможным и целесообразным развести понятия продуктивности и частотности, рассмотрев с двух точек зрения словообразовательные модели.

По определению Е.С. Кубряковой «продуктивность модели – это скорее количественная характеристика словообразовательного ряда: модель продуктивна, когда по ее образцу в языке созданы десятки, а то и сотни производных. С другой стороны, активность модели – это скорее качественная ее характеристика, ибо она означает способность словобразовательного ряда к пополнению новыми единицами. Наконец, употребительность модели связана с ее реализацией в тексте, т.е. статистическими закономерностями ее использования. Разумеется, все эти

признаки тесно между собой связаны, но тем не менее отнюдь не тождественны.» (Кубрякова 1965: 21).

«В современном русском языке модель на *–ник* ... оказалась активной, но вряд ли ее можно описать как продуктивную. Наоборот, некоторые продуктивные модели ... уже не являются активными - быть может и в силу нелингвистических причин... Наконец, и непродуктивные и неактивные модели могут являться весьма и весьма употребительными». (Кубрякова 1965: 22).

По сравнению с более ранними грамматическими описаниями (Ahlquist 1856, Ariste 1968, Адлер 1966) в современном водском языке число именных словообразовательных суффиксов меньше.

Сохраняется суффикс *–min*, имеющий значение процесса: лашло-min ‘пение’ (лашл-о-а ‘петь’), mene-min ‘уход’ (mennə ‘идти’); обладает абсолютной продуктивностью - присоединяется ко всем глагольным основам, по регулярности приближается к формообразовательному аффиксу[7].

Также очень продуктивен суффикс -iə, имеющий значение nomina agentis: aia-iə ‘погонщик’ (aia ‘гнать’), õpõttõ-iə ‘учитель’ (õpõttə ‘учить’); присоединяется практически ко всем глаголам. Слова, образованные по данной модели могут выступать и в атрибутивной функции; существительные и причастия различаются только синтаксической позицией.

Суффикс *-nikk*ə, с тем же значением – nomina agentis является старым заимствованием из русского языка, в разной степени представлен во всех прибалтийско-финских языках. П.Пальмеос, изучавшая данный суффикс в прибалтийско-финских языках, пишет, что «в ижорском языке рассматриваемый суффикс непродуктивен: встречается лишь в трех производных словах» (Пальмеос 1982: 5), а водском языке этот «суф-

---

[7] Будем, тем не менее, считать данный аффикс словообразовательным, исходя из того, что, во-первых, «грамматические оппозиции не могут быть привативными» (Плунгян 1992: 48), а во-вторых, они обладают свойством семантической неоднородности (см. там же).

фикс более продуктивен, чем в ижорском языке» (Пальмеос 1982: 6). В настоящее время новые слова с данным суффиксом не образуются, некоторые старые образования употребляются: api-nikkə ‘помощник’ (api ‘помощь’), kала-nikkə ‘рыбак’ (kала ‘рыба’).

Суфикс *–ri* в родственных языках имеет широкое значение nomina agentis. Л.Хакулинен детально описывает в финском языке все оттенки семантики данного суффикса, отдельно выделяя «прочие названия существ, в основном выражающие презрение» (Хакулинен 1953: 153). В современном водском языке закрепилось за этим суффиксом значение nomina agentis с отрицательной коннотацией: itku-ri ‘плакса’ (itku ‘плач’) (ср. itku-iə ‘плакальщица’), söömä-ri ‘обжора’ (söömä ‘еда’), (ср. söö-iə ‘едок’), jooma-ri ‘пьяница’ (jooma ‘напиток’); в современном языке малопродуктивен в силу ограниченной семантики. В словаре (Tsvetkov 1995), отражающем синхронный срез начала ХХв., еще присутствует слово siku-ri ‘свинопас’, однако лampu-ri ‘чабан’, засвидетельствованное в более ранних срезах, здесь отсутствует. Видимо, проявляется агглютинативная тенденция соответствия одного аффикса одному значению и, наоборот, – одного значения одному аффиксу.

Возврат к агглютинативной стратегии: одно значение – один аффикс, еще более четко прослеживается в выражении диминутивной семантики. Из диминутивных суффиксов ne-, ut/-üt , -(i)kko и –kkõin, в принципе, сохраняется только последний, являясь довольно продуктивным (тем не менее, он не обладает абсолютной продуктивностью, так как не от всякого слова информанты соглашаются образовывать диминутив). В грамматике (Ahlqvist 1856), построенной на базе ныне вымершего котельского говора, данный суффикс отсутствует, что скорее всего обусловлено диалектными различиями. Суффикс *–ne,* напротив, в сохранившихся говорах не встречается, в (Ahlqvist 1856): nîttinê' ‘кончик нитки’, wâlijanê' ‘нянечка’.

Суффикс *-ut*, *-üt* никогда не был особенно продуктивным, образованные с его помощью слова iz-üt ‘папочка’, em-üt ‘мамочка' современными носителями не употребляются. Суффикс *-(i)kko* используется ог-

раничено: naizi-kko ‘женщина’ (nain то же, основа генитива naizə), tütär-ikko ‘дочка’ (tütär ‘дочь’), noori-kko ‘невеста’ (noor(i) ‘молодой’). В довольно большом количестве слов вычленяется данный словообразовательный элемент, однако найти производящуу основу для них на синхронном уровне не представляется возможным. Этот же суффикс имеет значение собирательности, а также храктеристики места čivi-kko ‘каменистое место’ (čivi ‘камень’), liiv-ikko ‘песчаная почва’ (liiv ‘песок’). Однако в таком значении он теряет продуктивность, вытесняясь суффиксом *–zikko*: aapõ-zikko ‘осинник’, (aap ‘осина’), tammi-zikko ‘дубняк’, (tammi ‘дуб), ’koivu-zikko ‘березняк’ (koivu ‘береза’), muta-zikko ‘торфяное болото’ (muta 'торф, ил, тина, грязь').

Интересно, что в вепсском языке, сдвиг которого начался раньше, чем водского, напротив, до сих пор последовательно во всех диалектах без единого исключения сохраняется дистрибуция трех диминутивных суффиксов *–ut, -ikain'e* и *-in'e*. Каждый из данных суффиксов присоединяется к определенному типу основ, при этом пересечений не бывает. Несмотря на то, что никаких прямых аналогий в финском (пережившем, очевидно, экспансию форманта *–nen*) и эстонском (где все прочие суффиксы оказались «смыты» распространением показателя *–ke*) ситуация в вепсском языке не находит, она, безусловно, является, очень архаичной (Иткин 1997). Заметим, что ни в финском, ни в эстонском сдвига не наблюдается.

Что касается некоторых других водских именных суффиксов, то продуктивность сохраняет *–лain*; значение – принадлежащий к совокупности лиц с одинаковой национальностью, социальным статусом, входящих в один клан и т.д.: venä-лain ‘русский’(сущ.) (venä ‘русский’, прил.), viro-лain ‘эстонец’ (Viro ‘Эстония’), sõma-лain ‘финн’ (Sõma ‘Финляндия’), pako-лain ‘беженец’ (pako ‘бегство’), suku-лain ‘родственник’ (suku ‘родня’).

Продуктивен суффикс *-us/-üs*, который, присоединяясь к прилагательному, имеет значение имени качества: лad’d’-us ‘ширина’ (лad’d’ə ‘широкий’), nor(i)-us ‘молодость’ (no(r)i ‘молодой’), terv-üs ‘здоровье’

(terve ‘здоровый’). Присоединяясь к существительному имеет значение некое отношение к производяшему слову: kagл-us ‘воротник’ (kagл(ә) ‘шея’), sõrm-us кольцо (sõrmi ‘палец’), если не считать, что это два омонимичных суффикса.

Суффикс *-intima/-intimä* из-за своей семантики не может быть продуктивным: присоединяется ограниченному набору терминов родства, значение – приемный, неродной: em-intimä ‘мачеха’ (emä ‘мать’), poi-intima ‘пасынок’ (poika ‘сын’). При полевом сборе терминов родства у современных носителей не удалось получить ни одной лексемы с данным суффиксом даже у тех информантов, у которых были приемные родители. Исчезли непродуктивные суффиксы *–lliin, -елто, -čči, -me.*

Если изменения в именном словообразовании в водском языке как будто бы продиктованы некоторыми закономерностями, то тенденции в глагольной деривации выглядят как «разорение» словообразовательных гнезд.

Суффиксы способов глагольного действия, продуктивные в начале XX в., судя по словарю (Tsvetkov 1995), в настоящее время перестают употребляться носителями.

Суффикс семельфактива *-ht/ -hta/-htä* встречается в единичных примерах: mörä-ht-ä ‘вскрикнуть’ (mörn-ä ‘кричать’), issa-hta-ss ‘присесть’ (issu-a ‘сидеть’), так же, как и суффикс фреквентатива -l/-ll/-л/-лл: lenne-l ‘летать’ (lente-ss ‘лететь’), kompõsõ-лл ‘спотыкаться’ (kompõssu-a ‘споткнуться’). Присутствующая, например, в (Tsvetkov 1995) пара aivõssõлл ‘чихать’ - aivõssa ‘чихнуть’ утрачена носителями, сохраняется только непроизводный глагол. Суффикс мультипликатива –o встречается оказионально практически в единичном примере: visk-o-a ‘разбрасывать’ (vizg-әt ‘бросать’).

Таким образом, представленные в большом количестве в словаре (Tsvetkov 1995) словообразовательные гнезда, например: čöhi-ä (=čöhi-ss) ‘кашлять’ čöhisell ‘покашливать’ čöhähtäss ‘кашлянуть’, исчезли из языка. Сохраняется, по большей части, один только непроизводный глагол, который выражает все оттенки значения. При этом отсутствуют

случаи, когда сохраняется производный, а морфологически более простой исчезает.

Наиболее продуктивным был и остается каузативный суффикс *-tt-* (морфонологические варианты *t-/-s*; негиминированный вариант *-t-* выступает после согласного (кроме s), т.к. существует запрет на скопление более двух согласных; *-s-* является результатом ассимиляции t после s). Повышает валентность исходного глагола на единицу: süü-tt-ä 'кормить' (süü-vvə 'есть'), čihu-tt-a 'кипятить' (čihu-a 'кипеть'), tokku-tt-a 'ронять' (tokku-a 'падать'), kazvo-tt-a 'растить' (kazvo-a 'расти'), kuiva-tt-a 'сушить' (kuiva-ss 'сохнуть'), kassu-tt-a 'мочить' (kass-u-ss = kass-u-a 'мокнуть'). Подобно тому как в финском языке есть случаи, когда каузируется признак, а не состояние, и тогда исходным словом оказывается прилагательное, выражающее признак, а производным - глагол, выражающий каузированный признак, и глагол этот находится формально в деривационном отношении к прилагательному (Володин, Холодович, Храковский 1969: 224), в водском языке каузативный показатель может присоединяться к прилагательным, наречиям и существительным: eri-tt-ä 'разделять' (eri 'врозь'), mur-t-a 'отламывать' (muru 'крошка'), teri-tt-ä 'наточить' (terä 'острый'), puhas-s-a 'чистить' (puhas 'чистый').

В меньшей степени продуктивен декаузативный суффикс: *-u/-ü*: лaadi-u-ss 'устраиваться' (лaadi-a 'устраивать'), rikka-u-ss 'ломаться' (rikko-a 'ломать'), katka-u-s 'ломаться' (kadgõ-t 'ломать'), pain-u-a 'сгибаться' (pain-a 'сгибать').

Удивительно, что наиболее продуктивным остается каузативный показатель, отсутствующий в контактном языке (русском), но исчезают показатели способов действия, очень продуктивные в контактном языке. С. Гал в исследовании языка «narrow-users» также констатирует, что одним только систематическим давлением со стороны немецкого языка нельзя объяснить снижение продуктивности венгерских форм (здесь как раз идет речь об уменьшении продуктивности морфологического каузатива) (Gal 1989: 325).

Э. Вяари, изучая динамику глагольного словообразования в ливском языке, говорит об уменьшении продуктивности всех суффиксов, кроме показателя каузатива. Пробел заполняется заимствованными из латышского языка префиксами, которые ранее отсутствовали в ливском, которому, как и другим прибалтийско-финских языках, не был свойствен префиксальный способ образования слов (Vääri 1975).

Рассмотрим теперь частотность употребления аффиксов по текстам.

До настоящего времени сохраняются кракольский и песоцко-лужицкий говоры. Записей песоцко-лужицкого говора было сделано ничтожно мало, кракольского несколько больше. Самая ранняя фиксация связных текстов на обоих говорах относится ко второй половине XIX в. (Mustonen 1883). На кракольском говоре была записана сказка и перевод четырех глав Евангелия, общее число словоупотреблений 2750. В 1924 г. носитель кракольского говора Д. Цветков написал текст на родном диалекте, опубликованный посмертно (Tsvetkov 1931), около 2500 словоупотреблений. Возьмем для подсчета частотности словообразовательных суффиксов эти тексты, а также несколько текстов, записанных мной с 1995 по 2005 гг. от трех информанток-носительниц кракольского говора, общее число словоупотреблений 4500.

Таблица 1.

Абсолютное число употребленных аффикссов в текстах

Суффикс	XIX в.	XX в.	конец XX в. – нач. XXI в.
каузатив -tt-	57	18	36
семельфактив -ht/ -hta/-htä	3	1	0
декаузатив -u/-ü	3	0	0
-kko	2	6	1
-min	13	10	0
-kkõin	4	0	2
-лain	6	60	2
-us/-üs	9	7	0
-iə	4	1	0

Таблица 2.
Число аффиксов на 1000 словоупотреблений

Суффикс	XIX в.	XX в.	конец XX в. – нач. XXI в.
каузатив -tt-	20,7	7,2	8
семельфактив -ht/ -hta/-htä	1,1	0,4	0
декаузатив -u/-ü	1,1	0	0
-kko	0,7	2,4	0,2
-min	4,7	4	0
-kkõin	1,5	0	0,4
-лain	2,2	24	0,4
-us/-üs	3,3	2,8	0
-iə	1,5	0,4	0
всего	36,8	41,2	9

К сожалению, выборка очень мала, именно поэтому в нее не попали некоторые продуктивные суффиксы. Кроме того, высокая частотность некоторых аффиксов объясняется спецификой текста, например, в (Tsvetkov 1931) переизбыток *–лain* объясняется тем, что этот текст о води и соседних народах, названия которых все время упоминаются. И все-таки наблюдается тенденция к уменьшению употребления аффиксов, т.е. к уменьшению глубины слова. Косвенно этому есть еще одно подтверждение.

Я.Я. Ленсу в экспедиции 1929 г. записал текст от 85-летнего информанта Л.Г. Гаврилова в деревне Пески (см. Ленсу 1930: 298). Через 75 лет я попросила прямую правнучку этого информанта сделать обратный перевод данного текста с русского языка на водский. В целом, перевод оказался близким[8]. Но интересно, что в значении ‘посылать’ в раннем

[8] Лексические расхождения незначительны: появилось заимствование вместо водского слова: в старом тексте tätäjä ‘знахарь’, в новом – znahar’; кроме того, herr ‘барин’ из старого текста в новом переводится kunik, что означает

тексте употребляется глагол lähettää, в позднем – laita, хотя последний имеет еще и другое значение – 'порицать'. Употреблена более короткая форма, не использована возможность избежать омонимии.

Сравнение двух этих текстов дает некоторый материал для изучения изменений, произошедших в водском языке за четыре поколения, в том числе и в грамматике и, особенно, в морфонологии. Совершенно необязательно эти изменения произошли под влиянием процесса языкового сдвига, так как языкам вообще свойственно меняться. Также необязательно «разорение» словообразовательных гнезд является результатом сдвига, а не внутренним процессом развития водского языка, как, например, вытеснение формами имперсонала 3 лица мн.ч. Последнее в (Ariste 1968) объясняется русским влиянием, однако в (Mustonen 1883) данный процесс уже заметен, но формы эти употребляются в XIX в. в свободной дистрибуции, а к настоящему времени их распределение превратилось в систему (см. об этом Агранат 2002).

Ср. также направленный процесс перехода агглютинатов в падежные аффиксы в корвальском диалекте вепсского языка, где прекратилась передача языка детям (см. Агранат 1994).

В принципе, может быть, свою роль играет и отсуствие кодифицированной нормы языка, переживающего языковой сдвиг, сдерживающей стихийные процессы варьирования. Консервативность финского литературного языка широко известна; кто знает, может быть, именно норма не позволяет финскому языку расстаться с большинством своих суффиксов?

'царь', и то, и другое связано с отсутствием этих реалий в современной жизни.

Н.Б. Вахтин [1]

Временна́я систе́ма юпикских эскимосских языков: различное развитие или разная интерпретация?

В двух лингвистических традициях – американской и российской – система времен одного и того же языка, носители которого расположены по обе стороны границы между Российской Федерацией и США, описана очень по-разному. Это может объясняться одной из следующих причин (либо их сочетанием): (1) действительно существующими различиями между системами выражения временн*ы*х значений в двух «частях» (говорах) одного и того же языка (2) особенностями модели описания: дескриптивной *vs.* интерпретативной; (3) влиянием родного языка исследователей (соотв., русского и английского); и, наконец, (4) различными путями развития системы времен в двух говорах под влиянием доминирующего языка (русского и английского).

Настоящая статья посвящена обсуждению этого вопроса.

1.

Речь идет об эскимосском (юпикском, юитском, Yupik) языке, распространенном по обе стороны линии перемены дат и государственной границы между РФ и США – на юго-восточной Чукотке и на острове Святого Лаврентия. В русских работах он известен под именем **уназикский**, или **чаплинский,** в американских работах его обычно называют **Central Siberian Yupik**. Сегодня на нем говорят:

- На западной (российской) стороне: жители Провиденского р-на Чукотского автономного округа – поселков Провидения, Новое Чаплино, Сиреники, а также пос. Уэлькаль и некоторых других населенных пунктов;

[1] Николай Борисович Вахтин, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. nik@eu.spb.ru

- На восточной (американской) стороне: жители двух поселков о-ва Сивукак (эскимосское название), или о-ва Св. Лаврентия (официальное английское название) – Савунга и Гэмбелл.

Первый («российский») говор мы будем ниже называть **уназикским,** второй («американский») – **сивукакским**.

Для сопоставления будет привлекаться материал языка Central Alaskan Yupik (центрально-аляскинский юпик, цаю).

Уназикский и **сивукакский** говоры очень близки и почти стопроцентно взаимопонятны; дата их расхождения известна из исторических источников: почти полная идентичность этих двух говоров объясняется сравнительно недавним повторным заселением острова жителями после опустошительной эпидемии или голода в 1878-1879 гг., когда почти все жители острова погибли (Krauss 1980).

Центрально-аляскинский юпик описан подробно и широко распространен. Существует ряд говоров: а) говор р. Кускоквим ниже Аниак и к югу по побережью от устья р. Кускоквим до Бристольского залива (говор имеет значитльное количество инноваций); б) говор р. Кускоквим выше Аниак, р. Юкон, оз. Илиамна (говор более консервативен); в) ряд смешанных говоров (о-в Нельсон, р. Нушагак) (о говорах цаю см. подробно: Jacobson 1984: 28-38).

2.

Сравним два описания категории времени в уназикском и сивукакском говорах.

Уназикский

"Глагольная категория времени является обязательной грамматической категорией: каждый глагол – сказуемое простого (или главного) предложения имеет временн*о*е значение и включает тот или иной суффикс времени. <…> В эскимосском языке выделяется пять времен: настоящее, близкое прошедшее, прошедшее, близкое буду-

щее и будущее" (Меновщиков, Вахтин 1990: 62; ср. также Меновщиков 1967: 94 сл.).

Примеры:

улима- "мастерить"

улима-**ак'**-а "мастерит что-то"
улима-**ма**-а "мастерил что-то"
улима-∅-а "смастерил что-то"
улима-**лъык'**-а "будет мастерить что-то"
улима-**нак'**-а "сейчас смастерит что-то"

На самом деле система средств выражения значений времен в уназикском использует морфологические средства трех грамматических категорий: показатель финитности (порядок 4), показатели будущего / небудущего времени" (порядок 7), и два показателя (порядки 8 и 9) для суффиксов способов действия и эвиденциальности (в Таблице 1 представлен фрагмент порядковой организации глагольной словоформы).

Таблица 1. Фрагмент порядковой системы юпикского глагола

Порядок (ранг) Значение	9 действие в прошлом, свидетелем которого говорящий не был	8 континуатив / многократность	7 будущее / небудущее	*4 показатель финитности*
прошедшее	-(и/у)ма-			-∅-/-т-
настоящее		-ак'-		-∅-/-т-
будущее			-лъык'-	-∅-/-т-
близкое будущее			-нак'-	-∅-/-т-
близкое прошедшее			-∅-	-∅-/-т-

Близкое прошедшее время фактически имеет значение перфекта и выражается **нулевым** показателем на порядке 7; *будущее* и *близкое будущее*, соответственно, показателями **-лъык'-** и **-нак'-** на порядке 7; *прошедшее* (с оттенком эвденциальности) – **нулевым** показателем (порядок 7) в сочетании с показателем прошлого действия / эвиденциалиса **-(и/у)ма-** (порядок 9); наконец, *настоящее* время (имеющее оттенок континуатива) – тем же **нулевым** показателем (порядок 7) в сочетании с показателем континуатива / многократности **-ак'-** (порядок 8) (см. подробно: Вахтин 2006: в печати).

Какая бы ни была выбрана модель для описания системы времен – предложенная выше либо какая-то иная – важно, что само *существование* системы выражения грамматического значения времени в этом и подобных описаниях не вызывает сомнений.

Сивукакский

В *Указателе* суффиксов грамматики сивукакского языка (Jacobson 2001) находим почти все те же суффиксы, что и в уназикском, однако они не объединены в парадигму категории времени (и иногда не выделены отдельно) и рассматриваются в разных разделах *грамматического описания*:

Указатель: -(g)aqe- "to be V-ing; to regularly V; to repeatedly V" [ср. уназикское -ак'-]. *Описание в грамматике*: "Indicates present-time ongoing action: tagi- "to come" – tagi-aq-uq (> tagiiquq) "he is coming"" (§ 5.2.1., p. 30)

Указатель: -(i/u)ma- "to have V-ed or to have been V-ed; to evidently have V-ed" [ср. уназикское -(и/у)ма-]: *Описание в грамматике*: "indicates that an action has already occured... or that an action or state has been going on for some time": negh- "to eat" – negh-uma-uq (>neghumaaq) "he has eaten" or "it has been eaten" (§ 11.2.2., стр. 70).

Указатель: -lleqe- "to V in future; will V" [ср. уназикское -лъык'-]. *Описание в грамматике*: этот суффикс используется "for future action, will V": tagi- "to come" – tagi-lleq-uq "he will come" (§ 5.2.2., стр. 31)

Указатель: -nanghite- "to not V in future" [ср. униазикское -нак'-нг'и-т- (>-нанг'ит-) "близк. буд. + отрицание + финитность"]. *Описание в грамматике*: этот суффикс "...is the future negative and may be translated with the word *won't*" (§ 15.2.4, стр. 98).

3.

Что происходит в других юпикских языках? В грамматике центрально-аляскинского юпика (цаю) (Reed, Jacobson, Miyaoka et. al. 1977) раздел, посвященный выражению категории времени, также отсутствует. И если категория *лица* утвердительной, вопросительной и повелительной форм описана достаточно подробно и именно как грамматическая категория, то категории *времени*, если судить по этому описанию, в цаю как бы не существует.

Несовпадение юпикской и английской систем вынудили С. Джейкобсона ввести в предисловие к Словарю специальный параграф "*Проблема глагольного времени при переводе с юпикского на английский*". В юпикском, пишет автор, "существуют суффиксы, помещающие действие в будущее (-чик'ы-, -н'аиты-, -ах'кау- и др.), и суффиксы, явно относящие действие к прошлому (-лъх'у-, -ума- и др.), но глагол без одного из этих временных (time-fixing) суффиксов может выражать как действие, происходящее в момент речи, так и действие, произошедшее в прошлом" (Jacobson 1984: 22).

По некоторым говорам цаю находим материально те же или близкие показатели с теми же значениями, что и в уназикском; ср. сравнительно редкое (кускоквимский говор цаю) патума^{w}к' (< пату-ма-у-к') 'оно было покрыто', иг'ама^{w}к' (< иг'а-ма-у-к') 'было написано на нем' (Bergsland 1966: 143).

Приведу *полностью все* сведения по вопросу о выражении времени в цаю, которые имеются в обширной статье Осахито Мияока: "Значение времени, в значительной степени аспектуальное, выражается суффиксами типа 52 [*нумерация – по списку суффиксов, данному в статье*. – Н.В.] (-л'гу-), как в киу-лг'у- (+гук') > киулг'ук' 'он отвечал', и 54 (+$_1$

чик'ы), как в киу-чик'ы-(+ гук') > киучик'ук' 'он ответит' " (Miyaoka 1984: 24).

И все. Далее автор переходит к анализу категорий лица и наклонения и к выражению времени уже не возвращается.

4.

Вернемся к материалам уназикского и сивукакского вариантов Central Siberian Yupik. Видно, что описания способов выражения значения времени существенно различаются: в уназикском система времен описана как самостоятельная и полноценная; в сивукакском категория времени описана как фрагментарное выражение временных и аспектуальных значений. Как мне представляется, эти различия в описании могут объясняться несколькими причинами.

Первая причина – наличие реальных различий между говорами – материалом, как кажется, не подтверждается. Материально сивукакские и уназикские показатели совпадают и морфонологически ведут себя совершенно одинаково. Вторая причина – различия в модели описания – несомненно, имеет место: сотрудники Alaska Native Language Center, которым в основном принадлежат цитированные выше описания сивукакского говора, пользуются дескриптивной моделью и, кроме того, основной «потребитель» их продукции – школьные учителя-практики, что не может не налагать отпечатка даже на серьезные академические описания. Однако приведенный выше факт – наличие в предисловии к Словарю специального параграфа, описывающего проблему перевода времен*ных* форм, показывает, что эта проблема ими осознается. Но тогда непонятно, что помешало им свести средства выражения времен*ных* значений в парадигму, подобно тому, как это сделано для лица-числа.

Что касается влияния родного языка исследователей, то эта причина, видимо, также значима. Русским лингвистам привычно искать (и находить) настоящее, прошедшее и будущее время; англоязычным – более привычно искать средства выражения видо-временных форм (перфекта, плюсквамперфекта, континуатива). Иными словами, мы, возможно, действительно имеем здесь дело с различиями в интерпретации под

влиянием традиции описания грамматики русского и английского языка: если первая трактует категорию времени как отдельную грамматическую категорию, то для второй она тесно переплетена с аспектуальностью (ср. Miyaoka 1984: 24).

Это влияние проявляется прежде всего в тех вопросах, которые исследователь задает информанту в ходе полевой работы. Для исследователя, "воспитанного" в русской лингвистической традиции, при сборе глагольной парадигмы естественно давать информанту на перевод русские формы настоящего, прошедшего и будущего времени: он предъявляет эти формы как парадигму времени, и получает, соответственно, парадигму времени: понятно, что выразить по-эскимосски разные значения времен можно; другой вопрос, что в языке эти формы могут и не образовывать «настоящей» парадигмы в смысле, например, грамматики порядков – и, как видно из приведенной выше таблицы, не образуют.

Остается разобрать четвертую возможность, которая является в каком-то смысле синтезом всех остальных: при полной идентичности материального облика и морфонологического поведения показателей времени эти показатели могли по-разному группироваться в системе двух говоров в результате многолетнего и интенсивного влияния доминирующего языка (русского и английского). Азиатские юпикские языки могли *развить* более четкую и последовательную систему времен, в то время как на аляскинской стороне этого по каким-то причинам не произошло. То есть, например, в уназикском прошедшее время на -(и/у)ма- выделилось или по крайней мере находится в процессе выделения как грамматическая категория; при этом в сивукакском, хотя все суффиксальные показатели и значения в инвентаре есть, это значение не приобрело системного характера и не воспринимается как таковое не только исследователями, но и носителями.

5.

Хочу подчеркнуть, что изменение (развитие) системы времен в уназикском, о котором я говорю, не касается ни *появления* новых показателей под воздействием русского языка, ни *изменения значения* этих пока-

зателей. Так, суффикс -ма- зафиксирован в уназикском в значении прошедшего времени уже в материалах В.Г. Богораза 1901 г. (Богораз 1949: 65-66), то есть более 100 лет назад, задолго до начала интенсивного контакта с русским языком. Речь может идти именно о *переинтерпретации* единых для обоих идиомов показателей как грамматической парадигмы времени.

Эти формы могли получить в уназикском именно такую переинтерпретацию в результате воздействия временно́й системы русского языка, прежде всего – через школьное преподавание, через постоянно возникавшие как в ходе обучения эскимосскому языку в классе, так и в ходе создания учебной литературы задачи "перевода" с русского на уназикский.

За всю историю существования эскимосской письменности на уназикском всего было опубликовано 93 книги (преимущественно учебная и художественная литература), из них 54 книги между 1932 и 1959 годом [2]. Подавляющее большинство этих изданий, особенно художественная литература, представляет собой переводы с русского. При этом чем дальше от 1930х годов, тем более синтаксис переводных текстов становится похож на синтаксис русских оригиналов.

В качестве иллюстрации возьмем текст из книги 1949 года ("Рассказы" Е. Чарушина (Чарушин 1949). Издание, кроме эскимосского текста, включает (в качестве приложения) и полный русский текст оригинала, так что сравнение проводить достаточно просто.

Первый эпизод первого рассказа:

---

[2] Коллекция литературы на языках народов Севера хранится в Отделе книг на языках народов России Российской национальной библиотеки в Петербурге. Теоретически эта коллекция покрывает все, что когда-либо издавалось на этих языках; на практике в ней, естественно, есть лакуны. Тем не менее эта "база данных" является наиболее полной из всего, что нам доступно. Здесь хранятся книги от церковных и школьных изданий 19 века, через 1920е и 1930е годы и далее, вплоть до современных публикаций. Об учебной литературе на эскимосском языке см.: Krauss 1974; Vakhtin 2005.

жил в лесу волчишка с матерью	кийах'**симак** ук'фигми аман'их'ак накуталг'ик
вот как-то **ушла** мать на охоту	таўатын илян'ани унан'ниг'йа**ма**лг'и нан'а
а волчишку **поймал** человек	аман'их'ак' акук'**ама**кан'а йугым
сунул его в мешок	канах'**сима**кан'а ак'ыфтаг'аг'мун
и **принес** в город	ынкам таги**сима**кан'а городмун
посереди комнаты мешок **положил**	к'укакун нын'ўаг'ым ак'ыфтаг'ак' лъи**ма**кан'а
и т.д.	

Видно, что в этом фрагменте все русские формы прошедшего времени переданы с помощью эскимосских форм на **-(и/у)ма-**. Это верно и для всего последующего текста; ср. выписанные из первых двух страниц текста русские глаголы и временн*ы*е суффиксы, маркирующие их эскимосские переводы (**-ма-** – прошедшее, **-ак'-** – настоящее):

жил (-ма-), **ушла** (-ма-), **поймал** (-ма-), **поймал** (-ма-), **сунул** (-ма-), **принес** (-ма-), **положил** (-ма-), **не шевелился** (-ма-), **забарахтался** (-ма-), **вылез** (-ма-), **посмотрел** (-ма-), **испугался** (-ма-), **сидит** (-ак'-), **смотрит** (-ак'-), **посмотрел** (-ма-), **фыркает** (-ак'-), **пыжится** (-ак'-), **скалит** (-ак'-), **забоялся** (-ма-), **полез** (-ма-), **не [смог] влезть** (-ма-), **лежит** (-ак'-), **пыжился** (-ма-), **пыжился** (-ма-), ***как зашипит*** (-ма-), **прыгнул** (-ма-), ***свалил*** (деепр.), **разбилось** (-ма-), **залаял** (-ма-), **закричал** (-ма-), **забился** (-ма-), **стал дрожать** (-ма-), **стоит** (-ак'-), **посматривает** (-ак'-), **бегает** (-ак'-), **сидит** (-ак'-), **дымит** (-ак'-), **еле жив** (-ак'-), **уснул** (-ма-), **уснул** (-ма-), **зажмурился** (-ма-)

Из этого правила в тексте есть два исключения. Сочетание "пыжился, пыжился, да как **зашипит**" переведено как "пыжился, пыжился, потом **зашипел**"; и еще в одном месте переводчик использовал нормативную для уназикского зависимую форму (букв. "прыгнул на стол, блюдце **свалив**"). Обилие зависимых глагольных форм (так наз. *деепричастий*) для уназикского повествовательного текста – это норма; в данном отрывке такая форма только одна; там, где в повествовательном фольклорном тексте, например, были бы использованы деепричастия, в дан-

ном переводе копируется русская конструкция.) Все остальные употребления временн*ых* показателей следуют точной схеме: русское прошедшее переводится формой на **-ма-**, русское настоящее – формой на **-ак'-**.

Важно, что переводы таких случаев, как "**посмотрел** – человек **сидит**, на него **смотрит**" грубо нарушают нормальный способ выражения подобных смыслов в эскимосском. Так, для перевода предложений типа "посмотрел – (а там) сидит" в уназикском существует стандартная конструкция, ср. примеры из фольклорных текстов:

сх'аг'-**йа-лг'и**:-ми к'икмъик' ави:-т-у-к'
смотреть-**СУФФ**.-**ПРИЧ**-3ед.завис собака не.быть-БЛ.ПРОШ.-ИНТР.-3ед.

"когда посмотрел – собаки нет" [3]

кат-**йа-лг'и**:-ми мытых'лъук ак'умг-ак'-ыфт-у-к'
подходить-**СУФФ**.-**ПРИЧ**-3ед.завис ворон сидеть-НАСТ.-ЭВИД.-ИНТР.-3ед.

"подошел – [там] ворон сидит, оказывается"

В данном же тексте вместо этой стандартной конструкции мы имеем точную копию русской синтаксической модели:

сх'а-**ма**-лг'и – йук ак'умга-**ак'**-у-к'
смотреть-**ПРОШ**-ПРИЧ – человек сидеть-**НАСТ**-ИНТР-3ед
"посмотрел – человек сидит"

Перевод сочетания **посмотрел** – человек **сидит** как сх'а-**ма**-лг'и – ак'умг-**ак'**-у-к' для уназикского выглядит очень странно и очевидным образом является результатом русского влияния.

6.

Это влияние, по-видимому, осуществлялось прежде всего через школьное обучение. Возьмем для примера Учебник эскимосского языка

---

[3] Здесь нет возможности говорить о семантике суффикса **-йа-** – отсылаю к своей статье (Вахтин 2004).

для 2 класса начальной школы (Меновщиков 1957). В этом учебнике последовательно осуществляется перевод[4] русских форм настоящего времени эскимосскими формами на **-ак'-**, русского прошедшего – формами на **-ма-**, русского будущего – формами на **-лъык'-**. Так, в тексте раздела "Сказуемое" (стр. 33 и сл.) на несколько десятков форм всего два отклонения от этого правила: глагол "делают" переведен как улима**мат** "делали" (явная описка), и глагол "гудит" переведен как сыфлухпахтук' "загудел" (форма близкого прошедшего на -∅-).

На стр. 36 приведен список «вопросов, на которые может отвечать сказуемое»:

> сямат (< са-**ма**-а-т) "что делали?"
> сяк'ат (< са-**ак'**-а-т) "что делают?"
> сялъык'ат (<са-**лъык'**-а-т) "что будут делать?"

И далее, как иллюстрация и упражнение на перевод, приведен текст "Школьники": весь первый абзац – в прошедшем (отдыхали, гуляли, играли…; все формы на -(и/у)ма-), весь второй – в настоящем (учатся, читают, рисуют…; все формы на -ак'-), весь третий – в будущем (будут отдыхать, собирать, ловить…; все формы на -лъык'-).

Видно, что в соответствии со школьной программой ученики должны были усвоить правила перевода эскимосских глагольных форм на русский язык – и эти правила были сформулированы в точном соответствии с русской временн*о*й системой.

---

[4] На первый взгляд учебник, написанный целиком по-эскимосски, является оригинальным текстом, а его перевод на русский, который приложен к учебнику в качестве отдельной брошюры под названием "Перевод учебника…", является действительно переводом, призванным помочь учителю разобраться в эскимосском тексте. Однако я исхожу из предположения, что исходным здесь является русский текст, а эскимосский является фактически переводом с русского; думать так меня заставляет мой собственный опыт составления подобных учебников и букварей, когда издательство фактически предоставляло авторам написанную по-русски и утвержденную в Министерстве "болванку", которую надлежало перевести на один из «северных» языков.

Употребление форм "близкого прошедшего" (с показателем -∅-) менее последовательно: они используются и для перевода русского прошедшего, причем как в перфектном значении, так и без оного, и для перевода русского настоящего (реже). Так, на стр. 5 (упражнение 4) идет текст в настоящем, затем три фразы:

вошел учитель	**-ма-** (прошедшее)
все встали	**-ма-** (прошедшее)
начался урок	-∅- (близкое прошедшее)

На стр. 8 (упражнение 12) приведены четыре коротких предложения, описывающие утро школьницы:

проснулась	**-ма-** (прошедшее)
надела платье	-∅- (близкое прошедшее)
пошла в школу	-∅- (близкое прошедшее)
отвечала урок	**-ма-** (прошедшее)

Примеры можно умножать, однако основной вывод, как мне кажется, очевиден: школьная программа настойчиво вбивала в головы учеников мысль, что в эскимосском языке существует система времен, и что эта система по своему устройству очень близка к русской. Обратим внимание на дату издание цитированного выше учебника: 1957 год; сегодня людям, учившимся по этому учебнику, пятьдесят лет и больше, и на их сегодняшнее языковое употребление эти навыки не могли не оказать влияния.

Поскольку авторами школьных учебников и авторами грамматических описаний были одни и те же люди, и они же – обычно в соавторстве с бывшими учениками – переводили на эскимосский с русского художественную и публицистическую литературу либо выступали редакторами переводов, не удивительно, что идея наличия в эскимосском последовательной пятичленной системы времен проникла в грамматики и надежно там закрепилась. И не удивительно, что через школьное преподавание, через переводческую деятельность и далее – через узус эта идея могла проникнуть и в саму систему уназикского говора и закрепиться там – чего не произошло с сивукакским говором.

7.

Такое сильное воздействие русской *школьной* системы времен *через перевод* на временную систему азиатских юпикских языков возможно, скорее всего, только в ситуации языкового сдвига, то есть когда **язык существует для нескольких поколений только в письменной форме и только как школьный предмет**, и его система обладает "пониженной сопротивляемостью".

Введение письменности, ведение школьного преподавания, которое по замыслу должно *усиливать* позиции языка, способствовать развитию у него новых функций, в данном случае в каком-то смысле *ослабляет* эти позиции. Появляется новый мощный канал, через который элементы доминирующего русского языка могут существенно влиять на грамматическую структуру эскимосского. Носители языка приняли новшество: система глагольных времен в чаплинском подверглась настолько серьезному воздействию соответствующей русской категории, что в языке действительно *появилась* система времен, не слишком отличная от русской. Можно было бы возразить, что эта система появилась только в письменной форме – однако дело-то как раз в том, что никакой другой формы у эскимосского в условиях языкового сдвига практически уже не осталось.

Список сокращений

БЛ.ПРОШ. – показатель близкого прошедшего времени
ИНТР. – показатель непереходности
НАСТ. – показатель настоящего времени
ПРИЧ. – показатель причастия
СУФФ. – суффиксальный показатель (не расшифрованный в морфемной строке)
ЭВИД. – показатель эвиденциалиса

Е. Ю. Груздева [1]

Комплексное представление языковых изменений в условиях языкового сдвига (на материале нивхского языка)

1. Введение

При анализе языковых изменений в условиях языкового сдвига обычно принимаются во внимание два типа явлений, а именно: (а) контактные изменения, происходящие в конкретном языке под влиянием доминирующего языка, и (б) внутриструктурные изменения, связанные непосредственно с утратой данного языка.

Указанные явления описываются в исследовательской литературе либо как тождественные (см., напр., Dorian 1981, Romaine 1995), либо как принципиально различные (см., напр., Sasse 1992). В первом случае предполагается, что изменения, вызванные контактами с другим языком или языками, при которых языковой сдвиг не происходит, принципиально не отличаются от изменений, происходящих в конкретном языке в условиях языкового сдвига. Во втором случае проводится четкое различие между, с одной стороны, заимствованием и интерференцией, характерными для контактной ситуации, и, с другой стороны, необратимой редукцией языковой системы, присущей утрачиваемому языку. В соответствии с еще одной, так сказать, промежуточной точкой зрения (см., напр., Campbell, Muntzel 1989), между изменениями, относящимися к группам (а) и (б), действительно существуют различия, однако обнаружить их достаточно непросто.

В настоящей статье делается попытка разграничить контактные процессы и процессы, связанные собственно с утратой языка. Кроме того,

[1] Ekaterina Gruzdeva, Department of General Linguistics, P.O. Box 9 (Siltavuorenpenger 20 A), FI-00014 University of Helsinki, Finland. gruzdeva@ling.helsinki.fi

при анализе общей картины изменений, происходящих в “умирающих” языках, предлагается учитывать еще один фактор, а именно (в) внутриструктурные процессы, которые не связаны с утратой языка, а являются аналогичными процессам, наблюдаемым в “здоровых” языках. Способность к такого рода изменениям, как мне представляется, на нетерминальном этапе языкового сдвига сохраняется и у многих исчезающих языков.

Таким образом, в статье обсуждаются проблемы разграничения и взаимодействия различных типов языковых изменений и под этим углом зрения анализируются отдельные лексические, фонологические и грамматические процессы, наблюдаемые в настоящее время в речи двуязычных носителей восточно-сахалинского диалекта нивхского языка, для которых доминирующим языком является русский.

Пользуясь случаем, я хотела бы принести огромную благодарность за неоценимую помощь в исследовании как данной проблематики, так и других аспектов нивхского языка всем моим информантам, и прежде всего Н.В. Ниткук, Г.И. Паклиной, В.Н. Сачгун и Н.Я. Танзиной.

2. Социолингвистическая ситуация

Традиционно (до середины XX в.) нивхи проживали в небольших селениях на Дальнем Востоке России в низовьях реки Амур, вдоль побережья Амурского лимана, Охотского моря и Татарского пролива, на северо-западном и восточном побережьях острова Сахалин, а также в небольших количествах на юге Сахалина. За последние полвека территория проживания нивхов существенно сократилась, кроме того, полностью исчезли мононациональные нивхские селения. В настоящее время нивхи живут в Хабаровском крае, где лишь в одном поселке Алеевка наблюдается их относительно компактное расселение, и в Сахалинской области, где наиболее многочисленные группы нивхов проживают в поселках Ноглики, Некрасовка и Рыбное. Во всех указанных поселках преобладает русскоязычное население.

Общая численность нивхов в последние сто лет оставалась относительно стабильной. По данным первой всеобщей переписи населения

Российской Империи 1897 г., их число составляло 6194 чел. (Тройницкий 1905: 53). По сведениям последней Всероссийской переписи населения 2002 г., в России проживает 5162 нивха, из них в Хабаровском крае – 2452 человек, а на Сахалине – 2450 человек (Всероссийская 2002). Что касается числа носителей нивхского языка, то оно стремительно сокращается. Еще в 1959 г. нивхский язык считало родным 77,1% нивхов. В 1989 г. их число составляло 1090 чел., т.е. 23,3% от общей численности населения (Национальный 1991). По данным переписи 2002 г., на нивхском языке говорит только 477 чел., что составляет всего 9,2% от общей численности населения. Таким образом, за 13 лет число говорящих на нивхском языке уменьшилось более чем вдвое и продолжает неуклонно убывать.

Я начала работать с информантами в поселках Ноглики и Катангли в 1989 г. Районный центр Ноглики расположен в северо-восточной части острова Сахалин, в месте слияния рек Тымь и Ноглинка, в 8 км от впадения р. Тымь в Охотское море и в 659 км от Южно-Сахалинска. В 1992 г. население поселка составляло 12,3 тыс. челеловек, среди них – около 750 нивхов. Представителей других коренных народов (эвенков, ороков) в поселке чрезвычайно мало, подавляющую часть составляет русскоязычное население. В поселке Катангли, расположенном в Ногликском районе, проживает всего несколько нивхов.

Проведенное в Ногликах в 1989 г. выборочное социолингвистическое исследование, охватившее 315 нивхов, показало, что приблизительно 75 человек, т.е. 23,8%, знают и используют нивхский язык. В то время самому молодому носителю языка было 40 лет (Груздева, Леонова 1990).

В целом языковая компетенция нивхов определяется преимущественно возрастом говорящего. В настоящее время практически все компетентные говорящие достигли 65-летнего возраста. Среднее поколение от 50 до 65 лет знает язык довольно слабо, поскольку не имело возможности овладеть им в полной мере – большинство нивхов, принадлежащих к этой возрастной группе, воспитывалось в интернатах, где препо-

давание велось только по-русски. Поколение младше 50 лет в Ногликах за единичными исключениями совсем не владеет языком (хотя некоторые нивхи и изучают его).

Налицо, таким образом, ситуация языкового сдвига, а именно перехода коренного населения поселка с нивхского языка на русский. При этом утрата нивхского языка обусловлена социально-политическими факторами, которые являются общими для всех малочисленных языков народов Севера (см., например, Алпатов 1997, Вахтин 2001, Lewis 1972, de Graaf 1992).

В 1989 г. самому молодому из моих информантов – полностью компетентных носителей нивхского языка – было 55 лет, а сейчас все они соответственно старше 70 лет. Все информанты двуязычны и в общении с окружающими используют в основном русский язык. Их можно отнести к категории компетентных говорящих, забывающих язык в силу его редкого использования ('forgetters'). В данной статье рассматриваются языковые особенности, которые мне удалось наблюдать в речи указанной группы носителей языка в ходе полевой работы на Сахалине в 1989, 1991 и 2000 гг.

3. Языковые изменения как результат языковых контактов

Обычно результатом контактной ситуации является заимствование языкового материала, языковых моделей или категориальных различий из одного языка в другой. Это как бы процесс имитации, или, другими словами, моделирование одного языка по аналогии с другим языком (см., напр., Seliger, Vago 1991). В нивхском языке такого рода языковые изменения наблюдаются прежде всего в области лексикона (см. раздел 3.1) и грамматики (см. раздел 3.2). Что касается фонетических и фонологических изменений, произошедших под влиянием русского языка, то они проявляются, пожалуй, только в интонации.

3.1. Изменения в лексиконе

В соответствии с традиционной точкой зрения, в контактных ситуациях обычно наблюдаются три типа явлений, затрагивающих лексиче-

скую систему языка, а именно: (а) переключение кодов, то есть переход в ходе одного и того же разговора с одного языка на другой (см., напр., Thomason 2001), (б) смешение кодов, то есть использование в одной и той же фразовой структуре элементов из различных языков (см., напр., Muysken (2000)), которое называют иногда "гибридизацей" языков, и (в) лексические заимствования. В речи моих нивхских информантов можно встретить все перечисленные типы явлений.

Из короткого текста в примере (1) видно, например, каким образом происходит переключение кодов.

(1) *hu—ñiγvŋ* *ha-ŋa* [пауза] *eto Nazř* *haimŋř* [пауза]
этот-человек быть-inter это Назрш старик
Nazř *aki* [пауза] *samǝj* *staršij* [пауза]
Назрш старший.брат самый старший
ha-ra [пауза] *Ŋayskin—vǝřk* *poslednij*
так.делать-ind Нгахскин—только последний
'Кто этот человек? Это старик Назрш. Старший брат Назрш. Самый старший. Нгахскин только последний.'

Довольно долго говоря до этого только по-нивхски, в конце разговора информант начал время от времени переходить на русский язык. Так, наряду с нивхскими словами он стал употреблять также русские слова, например *eto* и *poslednij*, при этом никак не адаптируя их к системе нивхского языка. В какой-то момент информант употребил целую русскую фразу *samyj starshij*. Заметив это, он постарался адаптировать эту фразу к системе нивхского языка и после паузы вставил нивхский глагол *hara* 'так делает', который обычно входит в состав аналитических конструкций.

Случаи смешения кодов, при котором наблюдается, например, окказиональное словообразование с использованием элементов как русского, так и нивхского языков, встречаются в речи моих информантов значительно реже. Одним из немногочисленных примеров может служить следующая фраза, ср.:

(2) *sole-χar-ŋ* *ṭ'o*
солить-result-ptc рыба
'соленая (засоленная) рыба'

Форма *soleχarŋ* 'соленый' образована от русского корня *sole-* по регулярной нивхской модели образования отглагольных причастий с помощью суффикса результатива *-χar-* и суффикса причастия *-ŋ*.

Помимо переключения и смешения кодов, в речи говорящих встречаются также лексические заимствования из русского, которые адаптированы к нивхской грамматической и фонетической системам и широко используются всеми носителями языка. Слово *афтобус* в примере (3) является одним из таких заимствований.

(3) *aftobus-kiř* *p'řə-d-γun*
автобус-instr приехать-ind-pl
'[Они] приехали на автобусе (букв. автобусом).'

3.2. Изменения в грамматике

Под влиянием русского языка происходят изменения и в нивхской грамматике. Так, меняются грамматические правила, в частности синтаксическое согласование (см. раздел 3.2.1), возникают новые грамматические конструкции, например, аналитические императивные и оптативные формы (см. раздел 3.2.2), изменяется порядок слов (см. раздел 3.2.3)[2]. В целом те грамматические инновации, которые происходят в нивхском языке под влиянием русского языка, можно рассматривать либо как усложнение языковой системы, в некоторых случаях приводящее к избыточности, либо как ее регуляризацию.

3.2.1. Регуляризация синтаксического согласования

Одним из примеров изменений нивхских грамматических правил под влиянием русского языка может служить более регулярное использование системы синтаксического согласования. Нивхская глагольная

[2] Более подробное описание различных контактных явлений, наблюдаемых в нивхском грамматическом строе, представлено в (Gruzdeva 2000).

форма в индикативе не согласуется ни с одним из своих аргументов в лице, но может факультативно согласовываться с субъектом в числе. Если субъект выражен местоимением мн. ч., ср. (4а), или существительным, оформленным суффиксом мн.ч., ср. (4б), то глагол чаще всего употребляется (точнее – употреблялся) без суффикса мн.ч. В свою очередь, имя, обозначающее несколько объектов, может быть употреблено в ед.ч., если глагол оформлен суффиксом мн.ч., ср. (4 в).

(4) а. *in* *vi-d*
они идти-ind
'Они идут / шли.'

б. *eylŋ-gun* *lu-d*
ребенок-pl петь-ind
'Дети поют / пели.'

в. *qanŋ* *ay-d-yun*
собака лаять-ind-pl
'Собаки лают / лаяли.'

В настоящее время носители нивхского языка стремятся более регулярно оформлять показателем мн.ч. как субъект, так и глагол, ср. (5). Таким образом, правило согласования приобретает обязательный характер, что является характерным для русского языка.

(5) *qanŋ-gun* *v-avli-d-yun*
собака-pl rec-рычать-ind-pl
'Собаки рычат / рычали друг на друга.'

Следует отметить, что тенденция к заимствованию регулярных правил в целом довольна типична для контактных ситуаций (см. Trudgill 1986).

3.2.2. Образование аналитических императивных и оптативных форм

Другим примером влияния русского языка на нивхский может служить возникновение новых грамматических конструкций. Во многих

случаях они появляются как результат калькирования, то есть дословного перевода той или иной русской конструкции на нивхский язык.

Так, например, в нивхском языке появились аналитические императивные формы 3-го лица с частицей *p'eγrdoχ* 'пусть', ср. (6), и оптативные формы с частицей *hağaro* 'пусть', ср. (7). Эти частицы избыточны, поскольку в нивхском языке существуют синтетические формы с суффиксами *-ğaro* в ед.ч и *-ğarğaro* во мн.ч, которые могут иметь императивное и оптативное значение.

(6) *jaŋ p'ř∂-in-ağñi-ğaj* *p'eγrdoχ* *p'ř∂-ğaro*
он прийти-mod-хотеть-cond пусть прийти-imp.3sg
'Если он хочет прийти, пусть приходит.'

(7) *hağaro* *la* *ur-katn-ğaro*
пусть погода быть.хорошим-intens-imp.3sg
'Пусть погода будет очень хорошей!'

Для императива характерно образование и новых аналитических форм 1-го лица, которые образованы по типу соответствующих русских конструкций и состоят из (а) застывших императивных форм 2-го лица ед.ч *t'ana* 'дай' и мн.ч. *t'anave* 'дайте' и (б) регулярных императивных форм 2-го лица ед. и мн.ч., которые включают в свой состав каузативный суффикс *-gu-/-ku-*, маркирующий некореферентность слушающего и исполнителя прескрипции, ср.:

(8) а. *t'ana* *ñ-aχ* *lu-gu-ja*
дай:imp.2sg я-acc петь-caus-imp.2sg
'Дай спою!'

б. *t'ana-ve* *ñ-aχ* *lu-gu-ve*
дать:imp.2sg –imp.2pl я-acc петь-caus-imp.2pl
'Дайте спою!'

3.2.3. Изменения в порядке слов

Что касается порядка слов в нивхском языке, то под влиянием русского языка он становится более свободным как в монопредикативных, так и в

полипредикативных конструкциях. Кроме того, происходят и внутрифразовые изменения, что хорошо видно на примере нивхских конструкций с числительными.

Традиционно нивхские числительные до ‘пяти’ включительно используются в постпозиции к считаемым именам, ср. :

(9) *pitɣəŋ—t‘oqř*
книга—пять
‘пять книг’

Это правило, однако, оказывается неприменимым к фразам, которые содержат считаемые имена, заимствованные из русского языка, ср. (10). В таких случаях все нивхские числительные, включая числительные до ‘пяти’, употребляются моими информантами препозиционно, как это характерно для русского языка.

(10) *t‘oqř—čas*
пять—час
‘пять часов’

4. Языковые изменения, связанные с утратой языка

Обратимся теперь к языковым изменениям, которые связаны непосредственно с утратой нивхского языка и, по-видимому, не могут быть объяснены исключительно его контактами с русским языком. Такого рода изменения, как правило, сводятся к общему упрощению и редукции языковой системы, которые наблюдаются прежде всего на фонологическом (см. раздел 4.1), лексическом (см. раздел 4.2), и лексико-морфологическом уровнях (см. раздел 4.3)[3]. В ходе своего развития эти явления во многих случаях приобретают необратимый и тотальный характер, охватывая все новые области языка.

---

[3] Различные аттриционные явления, характерные для нивхского языка подробно описаны в (Gruzdeva 2002).

4.1. Фонологическая редукция

Измененения на уровне фонологии включают, например, утрату фонологических различий между отдельными фонемами. Так, в речи некоторых из моих информантов постепенно исчезает контраст между заднеязычными и увулярными согласными.

Одни говорящие практически не различают заднеязычный *k* и увулярный *q*, используя только увулярный согласный как в начале слова, так и в других позициях, ср.:

(11) *keŋ* → *qeŋ* 'кит'
ŋakř → *ŋaqř* 'ветка'

У других носителей языка пропадает контраст между заднеязычным *γ* и *y*вулярным *ğ* в неначальной позиции. Опять-таки вместо заднеязычного согласного начинает употребляться увулярный, ср.:

(12) *eγlŋ* → *eğlŋ* 'ребенок'

Вряд ли указанные изменения можно объяснить влиянием русского языка, поскольку в последнем отсутствуют увулярные согласные. Возможно, что речь идет всего лишь об индивидуальных особенностях произношения того или иного носителя языка. Однако возможно, что наблюдаемая тенденция к разрушению определенных фонологических противопоставлений является частным случаем языковой утраты в целом.

Отмеченные изменения подтверждают и гипотезу Андерсена, в соответствии с которой двуязычный носитель исчезающего языка делает меньше фонологических различий, чем полностью компетентный моноязычный носитель языка (Andersen 1982: 95).

4.2. Лексическая редукция

Наиболее истощенной областью умирающего языка является обычно лексикон. Его сохранение или утрата напрямую зависит от частоты и необходимости употребления тех или иных слов (см. Andersen 1982: 94). В этом смысле нивхский лексикон утрачивается вполне предсказуемо. Наиболее

вероятными “жертвами” оказываются слова, обозначающие объекты, которые больше не существуют, а также слова, которые вышли из употребления или мало использовались теми или иными носителями языка.

Так, нивхские женщины не помнят практически никакой охотничьей лексики. Учитывая, что мужская часть компетентных носителей языка стремительно убывает, можно ожидать, что вскоре этот пласт лексики будет совершенно утрачен.

Кроме того, носители языка забывают специальные обозначения, такие, например, как названия растений, птиц или рыб. Если говорящему так и не удается вспомнить нужное слово, он прибегает к одной из двух возможных компенсаторных стратегий. Наиболее распространенный способ – это замена нивхского слова русским, как в примере (13), где вместо нивхского слова *sidux* ‘бочка’ употреблено соответствующее русское слово.

(13) *hu—<u>bočka-roχ</u>* *nudvəřklu—mařk-t…*
этот—бочка-dat что-то—насыпать-conv:man.1pl
‘В эту бочку что-то насыпав....’

Другой способ компенсации забытого слова – это замена слова с видовым значением словом с родовым значением. Так, один из моих информантов не мог вспомнить нивхское слово ‘подснежник’ и вместо него употребил слово *eñfk* ‘цветок’, ср.:

(14) *eñfk* *poţur-d*
цветок быть.красивым-ind
‘Цветок красивый.’

4.3. Лексико-морфологическая редукция

В ходе утраты нивхского языка происходит также значительная редукция отдельных лексико-морфологических категорий, например количественных числительных (см. раздел 4.3.1) и пространственных терминов (см. раздел 4.3.2).

4.3.1. Редукция количественных числительных

Одним из наиболее ярких примеров языковой редукции можно считать радикальное сокращение системы нивхских количественных числительных. В нивхском языке существовало некогда по крайней мере 33 класса числительных, использовавшихся для счета различных объектов (см. Крейнович 1932, 1934; Панфилов 1953, 1959, 1961: 172–221; Gruzdeva 2004).

Каждое числительное состоит из числового элемента, общего для всех числительных, и классификатора, который специфичен для каждого числительного. Для числительных от 'одного' до 'пяти' классификатор является обязательным, числительные кратные 'десяти' могут употребляться как с классификаторами, так и без них, а числительные от 'шести' до 'девяти' употребляются, как правило, без классификаторов. В Таблице 1 представлены числительные от 'одного' до 'пяти' и 'десять'[4].

В данной таблице представлена система количественных числительных, которая существовала в нивхском языке по крайней мере еще 70 лет тому назад. Уже в то время исследователи отмечали, что молодое поколение носителей нивхского языка забывает отдельные числительные. Например, Е.А. Крейнович (1932: 12) указывает на то, что некоторые из числительных, включенных в его список, вышли из употребления – вместо них молодые носители языка используют числительные для счета объектов разной формы (класс 22). Мои полевые материалы показывают, что в настоящее время подавляющее большинство исконных нивхских числительных забыто. Все числительные, приведенные в Таблице 1 на темном фоне, можно считать полностью утраченными. Ни один из моих информантов не смог опознать их даже при предъявлении.

Однако, несмотря на общую неблагоприятную картину, некоторые числительные пока еще сохраняются. Так, при счете различных объектов носители языка продолжают проводить различие между числительными для счета людей (класс 14), не-людей (класс 15), не-рыб (класс 17), одно-

---

[3] Вопросительный знак в таблице указывает на отсутствие соответствующей формы в моих материалах.

мерных объектов (класс 19), трехмерных объектов (класс 21) и объектов разной формы (класс 22). Более того, говорящие помнят отдельные числительные из других классов. Так, например, один из моих информантов до сих пор использует числительное *mevř* 'два (места)' (класс 12), но не помнит других числительных, использовавшихся для счета мест.

Произошли также некоторые изменения в употреблении сохранившихся числительных. С одной стороны, информанты используют "одномерные" числительные (класс 19) в основном для счета парных пластов юколы (*ma*), которые раньше считались с помощью "парных" числительных (класс 18). С другой стороны, длинные одномерные объекты считаются теперь в основном при помощи числительных для счета разнообразных объектов (класс 22). Произошло также сокращение семантической сферы числительных из класса 21, которые раньше использовались для счета как трехмерных обьектов, так и дней. В настоящее время мои информанты считают дни, пользуясь числительными для счета объектов разной формы (класс 22). В целом, числительные из класса 22 используются информантами наиболее активно и, в принципе, могут замещать числительные из любого другого класса (ср. выше наблюдение Е.А Крейновича).

Такое радикалъное сокращение системы числительных частично объясняется изменениями в материальной и культурной жизни нивхов. Некоторые числительные вышли из употребления в связи с исчезновением из обихода предметов, для счета которых они использовались. Нивхи, например, больше не ездят на санях, не плетут сами сети, не пользуются сухой травой для выстилания обуви. Однако многие предметы сохранились и до сих пор используются в повседневной жизни. Так, нивхи продолжают ловить рыбу, пользуясь лодками и сетями, а также сушат рыбу традиционным способом. Тем не менее, числительные для счета лодок, сетей, шестов для сушки рыбы, связок юколы и т.д. неизвестны даже наиболее компетентным носителям языка.

Очевидно, что определенное влияние на процесс утраты числительных было оказано русским языком, в котором существует только один класс

числительных. Однако решающую роль сыграла, видимо, общая ситуация утраты нивхского языка. Исчезновение числительных, которое происходило в языке довольно быстро, в пределах одного-двух поколений, привело к практически полной редукции сложной лексико-морфологической категории. Такого рода массовые редукционные явления, спресованные в относительно короткий временной отрезок, обычно считаются наглядным признаком умирания языка (см. Schmidt 1985: 213, Aikhenvald 2002: 144).

4.3.2. Редукция пространственных терминов

В качестве другого интересного примера утраты лексико-морфологической категории можно привести редукцию нивхских пространственных терминов. В нивхском языке существует исключительно детальная система пространственной ориентации, которая маркируется, в частности, различными пространственными терминами (см. Крейнович 1960, 1986, Gruzdeva (forthcoming)). Каждый из таких терминов обозначает некоторое место, расположение которого определяется по отношению либо к говорящему (маркируется пространственными демонстративными местоимениями), либо к различным природным объектам (маркируется пространственными именами). Пространственные термины обоих типов образуются по одной из следующих моделей:

(а) корень + суффикс *-s/-kř*
(б) корень + суффикс *-s/-kř* + суффикс *-ŋa*
(в) корень + суффикс *-s/-kř* + суффикс *-ŋa* + суффикс *-jo*

Один из пяти корней демонстративных местоимений выбирается в зависимости от отдаленности того или иного места от говорящего (см. Табл. 2). Пространство вокруг говорящего подразделяется на пять зон: проксимальную, близкую, срединную, отдаленную и далекую. Если, допустим, какое-либо место расположено в близкой зоне, то для его обозначения используется корень *hu-*.

Пространственные имена в свою очередь образуются от одного из шести корней, которые выбираются в зависимости от направления пространственной оси, на которой расположено обозначаемое место (см. Табл. 3). Эта ось соединяет два географических ориентира, например

исток реки и ее устье, и образует пространственную зону с соответствующими границами. Если, скажем, какое-либо место расположено на пространственной оси 'берег → водное пространство / противоположный берег', то оно обозначается с помощью корня *t'a-*.

К любому из демонстративных или пространственных корней может присоединяться либо суффикс *-s*, маркирующий некоторое определенное место, легко идентифицируемое как говорящим, так и слушающим, либо суффикс *-kř*, который указывает лишь на то, что место находится в том или ином направлении, обозначенном корнем, но не дает возможности точно определить его расположение.

Кроме того, в рамках каждой пространственной зоны, обозначаемой корнем, можно указать на расположение места по отношению к начальной (у демонстративных местоимений) или конечной (у пространственных имен) границам этой зоны. Если место расположено близко к границе зоны, пространственный термин употребляется без каких-либо дополнительных суффиксов. В том случае, если место более отдалено от границы, к соответствующему термину присоединяется суффикс *-ŋa*. При необходимости подчеркнуть еще более отдаленное расположение места от границы зоны говорящие присоединяют к пространственному термину еще один деривационный суффикс *-jo*.

Как и система числительных, исконная система пространственных терминов постепенно изменяется, хотя пока еще и не таким радикальным образом. В речи современных носителей языка регулярно используются только те термины, которые представлены в таблицах 1 и 2 на светлом фоне, т.е. термины, которые традиционно обозначали место, расположенное вблизи от границы пространственной зоны. Что касается остальных пространственных терминов, тоони используются чрезвычайно редко, а некоторые информанты не употребляют их вовсе, хотя в большинстве случаев и опознают их. Таким образом, происходит как бы реструктуризация системы пространственных терминов, при которой классифицирующий параметр, указывающий на расположение

места относительно границы пространственной зоны, оказывается нерелевантным.

Такое системное перестраивание скорее всего объясняется тем фактом, что, когда процесс нормальной передачи языка нарушается, более сложные аспекты языка являются по определению наиболее вероятными кандидатами для утраты или реструктуризации. Кроме того, как утверждается в (Andersen 1982: 99, 102), если одно и то же базовое значение выражается различными способами, то в речи носителей утрачиваемого языка обычно сохраняется только один способ для выражения этого значения. Нивхский язык пока еще не достиг этой стадии, однако число способов, используемых для выражения пространственного расположения (так же как и числа), в нем постоянно сокращается.

5. Внутриструктурные языковые изменения

Обратимся в заключение к внутриструктурными изменениям, происходящим в нивхском языке, которые, как кажется, не мотивированы ни его контактами с русским языком, ни общей ситуацией утраты языка. Эти изменения являются продолжением языковых процессов, которые были характерны для нивхского языка на более ранних стадиях его развития и происходят сегодня как на фонологическом (см. раздел 5.1), так и на грамматическом (см. раздел 5.2) уровнях.

5.1. Изменения в фонологии

В области фонологии наиболее очевидным процессом является утрата конечных носовых согласных. Это явление хорошо известно в нивхском языке. В амурском диалекте конечные носовые согласные выпали полностью, в то время как в восточно-сахалинском диалекте большая часть из них сохранилась.

В настоящее время можно наблюдать процесс выпадения согласных и в восточно-сахалинском диалекте. Практически все из моих информатов регулярно опускают конечный носовой согласный *ŋ* у существительных, если в результате присоединения суффикса мн. ч. *-kun/-γun/-gun/-xun* этот звук оказывается в окружении согласных, ср.:

(15) *eylŋ-gun* → *eyl-gun* ‘дети’
qanŋ-gun → *qan-gun* ‘собаки’

Конечный носовой все чаще выпадает и у атрибутивных форм демонстративных местоимений в тех случаях, когда они выступают в функции определения, ср.:

(16) *tuŋ—řaŋġ* → *tu—řaŋġ* ‘эта женщина’
eyŋ—daf → *ey—daf* ‘тот дом’

5.2. Изменения в грамматике

К числу “здоровых” грамматических изменений, наблюдаемых в нивхском языке, можно отнести развитие синтетизма у отдельных форм (см. раздел 5.2.1) и изменения в системе падежей (см. раздел 5.2.2).

5.2.1. Развитие синтетизма

Постепенная замена аналитических глагольных форм синтетическими наблюдается в нивхском языке уже в течение довольно долгого периода. Так, тексты, записанные Л.Я. Штернбергом (1908), насыщены аналитическими формами, образованными с помощью глагола *hunv-* ‘быть’. Другой глагол, активно используемый в этой функции, – *ha-* ‘так делать’. Аналитические формы с этими глаголами встречаются также и в текстах, записанных в более позднее время другими исследователями, однако уже не так часто. В текстах, которые удалось записать мне, аналитические формы встречаются чрезвычайно редко – носители языка явным образом предпочитают использовать синтетические формы. В частности, уже практически невозможно встретить аналитическую форму типа *lerř haroř* ‘играя’, вместо нее используется синтетическая форма *lerroř* с тем же значением, ср.:

(17) *jaŋ toru* *ler-ř* *ha-roř* →
он немного играть-conv:man.3sg так.делать-conv:after.3sg
ler-roř *p‘saryo-i-d-yun-da*
играть-conv:after.3sg отдыхать-fut-ind-pl-foc
‘После того как он немного поиграет, будет отдыхать.’

Заметим, что указанная тенденция к синтетизму является процессом, обратным тому, который происходит в нивхском языке под влиянием русского языка и в результате которого в нивхском языке образуются новые аналитические формы (например аналитические императивные и оптативные формы, см. раздел 3.2.2).

5.2.2. Изменения в системе падежей

Отдельные внутриструктурные изменения происходят и в системе нивхских падежей. Приведу лишь один пример, который касается двух локативных падежей, а именно перлатива и аблатива.

В соответствии с описанием, представленным в работе (Гашилова 1987), перлативные формы на *-uɣe/-ɣe, -xe/-xi* выполняют следующие основные функции:

(а) 'участок пространства, по которому происходит движение',
(б) 'исходный момент во времени',
(в) 'исходный пункт движения в пространстве'.

Аблативные формы на *-ux/-x* в свою очередь выполняют следующие функции:

(а) 'исходный пункт движения в пространстве',
(б) 'местонахождение',
(в) 'время протекания действия'.

Судя по различным источникам, перлатив всегда конкурировал с аблативом в значении 'исходный пункт движения в пространстве'. Насколько можно судить по собранным мною материалам, в настоящее время в значении перлатива происходят существенные изменения. Так, теперь в двух первых значениях (а) и (б) перлатив практически не употребляется. Эти значения маркируются аблативом, что является новым явлением, так как раньше этот падеж в данных функциях не использовался.

Во-первых, перлатив заменяется аблативом в значении 'участок пространства, по которому происходит движение'. В примере (18) инфор-

манты явно предпочитают использовать форму аблатива: вместо *i-uye* 'по реке' они употребляют *i-ux* 'по реке', ср.:

(18) *mu* <u>*i-uye*</u> → <u>*i-ux*</u> *tujvu-d*
лодка река-perl река-abl плыть-ind
'Лодка плыла по реке.'

Во-вторых, формы перлатива заменяются аблативными формами также в значении 'исходный момент во времени'. В примере (19) вместо формы *t'atŋ-uye* 'с утра' говорящие используют форму *t'atŋ-ux* 'с утра', ср.:

(19) *ƫ'oŋanyŋərŋ-ux* <u>*t'atŋ-uye*</u> → <u>*t'atŋ-ux*</u>
рыбный.сезон-abl утро-perl утро-abl
parf-toyo oryop-t-yun
вечер-dest работать-ind-pl
'Во время рыбного сезона [мы] работаем с утра до вечера.'

Когда я спрашивала моих информантов, можно ли использовать в этих предложениях перлативные формы *i-uye* 'по реке' и *t'atŋ-uye* 'с утра', они всегда отвечали утвердительно и, более того, отмечали, что эти формы являются более правильными. Это суждение не мешало им, однако, вновь употреблять аблативные, а не перлативные формы в соответствующем контексте в ходе нашей последующей работы.

Все сказанное, однако, не означает, что формы перлатива окончательно вышли из употребления. Как уже отмечалось, значение 'исходный пункт движения в пространстве' традиционно маркировалось как перлативом, так и аблативом. Интересно, что эта вариативность сохранилась. Так, в примере (20) информанты употребляют как перлативную форму *ñ-vo-uye* 'из моей деревни', так и аблативную форму *ñ-vo-ux* 'из моей деревни'.

(20) <u>*ñ-vo-uye*</u> / <u>*ñ-vo-ux*</u> *ƫ'-vo-roχ* *vi-i-d*
1sg-деревня-perl 1sg-деревня-abl 2sg-деревня-dat идти-fut-ind
'Я пойду из своей деревни в твою деревню.'

Итак, можно сделать вывод, что перлатив, очевидно, исчезает. Но исчезает он достаточно загадочным образом. Этот падеж уже не используется в тех значениях, которые были некогда присущи только ему, но продолжает сохраняться в значении, которое выражается также и аблативом.

6. Заключение

Рассмотрев три группы явлений, наблюдаемых в речи современных носителей нивхского языка, я попыталась показать, что изменения, которые происходят в этом языке в ходе языкового сдвига, неоднородны и во многих случаях приводят к различным результатам.

Те явления, которые мотивированы влиянием доминирующего (в данном случае – русского) языка, в области лексики ведут к переключению и смешению кодов, а также к заимствованиям, а в области грамматики – к новообразованиям и регуляризации существующих правил. Другой тип изменений, который, как представляется, связан непосредственно с утратой языка, характеризуется массовой редукцией и упрощением языковой системы. И наконец, внутриструктурные изменения, которые являются естественным продолжением языковых процессов, происходивших в языке на более ранних стадиях его развития, приводят к определенной перестройке языковой системы на разных уровнях.

Примеры, приведенные в статье в доказательство нетождественности указанных изменений, кажутся мне более или менее однозначными. Тем не менее, вполне допустимо, что источником определенных языковых изменений могут послужить несколько факторов одновременно или что при определении этого источника могут возникнуть трудности. Например, утрату форм двойственного числа у местоимений и императивных глагольных форм в нивхском языке можно пытаться более или менее в равной степени объяснить как влиянием русского языка, в котором соответствующие формы отсутствуют, так и внутриструктурными процессами. В этой связи стоит вспомнить, что утрата форм двойственного числа характерна и для многих "здоровых" языков, находящихся вне зоны активных контактов с другими языками.

Однако тот факт, что различные типы языковых изменений подчас действительно довольно непросто различить, вовсе не означает, что в принципе не существует возможности показать, каким образом они могут быть отграничены друг от друга (ср. Sasse 1992: 60). Трудности, которые возникают в процессе комплексного анализа языковых изменений в утрачиваемых языках, очевидно, не должны становиться препятствием для попыток такого рода многосторонних описаний.

Табл. 1. Нивхские количественные числительные

КЛАС С	СЧИТАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ	‘один’	‘два’	‘три’	‘четыре’	‘пять’	‘десять’
1	сани	*ñiř*	*miř*	*ţeř*	*nəř*	*t‘oř*	*mxoŋ*
2	лодки	*ñim*	*mim*	*ţem*	*nəm*	*t‘om*	*mxoŋ*
3	ячейки сетей	*ñiu*	*miu*	*ţeu*	*nuu*	*t‘ou*	*mxou*
4	полосы сетей	*ñeřqe*	*meřqe*	*ţeřqe*	*nəřqe*	*t‘ořqe*	?
5	сети и остроги	*ñvor*	*mevor*	*ţfor*	*nvur*	*t‘ovor*	*mxovor*
6	специальные сети	*ñeo*	*meo*	*ţeo*	*nəu*	*t‘ou*	*mxou*
7	шесты	*ñla*	*mel*	*ţla*	*nlə*	*t‘ola*	*mxola*
8	шесты для сушки рыбы	*ñesk*	*mesk*	*ţesk*	*nəsk*	*t‘osk*	?
9	доски для лодок	*ñeţ*	*meţ*	*ţeţ*	*nəţ*	*t‘oţ*	*mxoeţ*
10	семьи	*ñiřn*	*miřn*	*ţeřn*	*nəřn*	*t‘ořn*	*mxoŋiřn*
11	поколения	*ñesvax*	*mesvax*	*ţesvax*	*nəsvax*	*t‘osvax*	?
12	места	*ñavř*	*mevř*	*ţavř*	*nəvř*	*t‘ovř*	*mxovr*
13	дневки	*ñix*	*mix*	*ţex*	*nəx*	*t‘ox*	?
14	люди	*ñenŋ*	*menŋ*	*ţaqř*	*nərŋ*	*t‘orŋ*	
15	не-люди	*ñan*	*mař*	*ţaqř*	*nuř*	*t‘oř*	

16	рыбы						*mxos*
17	не-рыбы						*mxoŋ*
18	парные объекты	*ñvazř*	*mevzř*	*ţfazř*	*nvəzř*	*t'ovazř*	*mxovazř*
19	одномерные обьекты	*ñex*	*mex*	*ţex*	*nux*	*t'ox*	*mxox*
20	двухмерные объекты	*ñraχ*	*meraχ*	*ţraχ*	*nrəχ*	*t'oraχ*	*mxoraχ*
21	трехмерные объекты; дни	*ñik*	*mik*	*ţex*	*nəx*	*t'ox*	*mxox*
22	объекты разной формы	*ñaqř*	*meqř*	*ţaqř*	*nəkř*	*t'oqř*	*mxoqř*
23	прутья с корюшкой	*ñğos*	*meğos*	*ţğos*	*nğəs*	*t'oğos*	*mxoğos*
24	прутья с корюшкой	*ñŋaq*	*meŋaq*	*ţŋaq*	*nŋəq*	*t'oŋaq*	*mxoŋaq*
25	связки юколы	*ñar*	*mer*	*ţar*	*nər*	*t'or*	*mxor*
26	связки корюшки	*ñŋaq*	*meŋaq*	*ţŋaq*	*nurŋaq*	*t'orŋaq*	?
27	связки корма для собак	*ñγuvi*	*miγvi*	*ţeγvi*	*nuγvi*	*t'oγvi*	*mxoγuvi*
28	связки сухой травы	*ñarvs*	*mervs*	*ţarvs*	*nərvs*	*t'orvs*	?
29	снасти для ловли тюленей	*ñfat*	*mefat*	*ţfat*	*nfət*	*t'ofat*	*mxofat*
30	пальцы (мера толщины)	*ñiux*	*miux*	*ţeox*	*nəux*	*t'oğ*	?
31	четверти (≈ 0.18 м)	*ñma*	*mema*	*ţma*	*nma*	*t'oma*	*mxoma*
32	сажени (≈ 2.13 м)	*ña*	*me*	*ţa*	*nə*	*t'o*	*mxoa*
33	пряди веревки	*ñlaj*	*melaj*	*ţlaj*	*nləj*	*t'olaj*	*mxolaj*

Табл. 2. Нивхские пространственные демонстративные местоимения

	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ГОВОРЯЩЕГО	ТИП ЛОКАЛИЗАЦИИ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАНИЦЫ ЗОНЫ		
			близкое	срединное	отдаленное
1	проксимальная (корень *tu-)*	место	*tu-s*	*tu-z-ŋa*	*tu-z-ŋa-jo*
		направление	*tu-kř*	*tu-kr-ŋa*	*tu-kr-ŋa-jo*
2	близкая (корень *hu-)*	место	*hu-s*	*hu-z-ŋa*	*hu-z-ŋa-jo*
		направление	*hu-kř*	*hu-kr-ŋa*	*hu-kr-ŋa-jo*
3	срединная (корень *eγ-*)	место	*eγ-s*	*eγ-z-ŋa*	*eγ-z-ŋa-jo*
		направление	*e-kř*	*e-kr-ŋa*	*e-kr-ŋa-jo*
4	отдаленная (корень *au-/a-*)	место	*au-s*	*au-z-ŋa*	*au-z-ŋa-jo*
		направление	*a-kř*	*a-kr-ŋa*	*a-kr-ŋa-jo*
5	далекая (корень *aiγ-*)	место	*aiγ-s*	*aiγ-z-ŋa*	*aiγ-z-ŋa-jo*
		направление	?*ai-kř*[1]	?*ai-kr-ŋa*	?*aγ-kr-ŋa-jo*

[1] В моих материалах нет примеров форм со значением направления, образованных от корня *aiγ-*.

	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОСЬ: ‘начальный ориентир’ → ‘конечный ориентир’	ТИП ЛОКАЛИЗАЦИИ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАНИЦЫ ЗОНЫ		
			близкое	срединное	отдаленное
1	‘водное пространство’ → ‘берег’, ‘берег’ → ‘удаленная от моря территория’, ‘опушка леса’ → ‘лес’ (корень *he-*)	место направление	*he-s* *he-kř*	*he-z-ŋa* *he-kr-ŋa*	*he-z-ŋa-jo* *he-kr-ŋa-jo*
2	‘берег’ → ‘водное пространство’ / ‘противоположный берег’ (корень *t‘a-*)	место направление	*t‘a-s* *t‘a-kř*	*t‘a-z-ŋa* *t‘a-kr-ŋa*	*t‘a-z-ŋa-jo* *t‘a-kr-ŋa-jo*
3	‘удаленная от моря территория’ → ‘берег’, ‘лес’ → ‘опушка леса’, ‘более высокое место’ → ‘более низкое место’ (корень *qo-*)	место направление	*qo-s* *qo-kř*	*qo-z-ŋa* *qo-kr-ŋa*	*qo-z-ŋa-jo* *qo-kr-ŋa-jo*
4	‘более низкое место’ → ‘более высокое место’, ‘земля’ → ‘воздух’ (корень *k‘i-*)	место направление	*k‘i-s* *k‘i-kř*	*k‘i-z-ŋa* *k‘i-kr-ŋa*	*k‘i-z-ŋa-jo* *k‘i-kr-ŋa-jo*
5	‘исток реки’ → ‘устье реки’ (корень *a-)*	место направление	*a-s* *a-kř*	*a-z-ŋa* *a-kr-ŋa*	*a-z-ŋa-jo* *a-kr-ŋa-jo*
6	‘устье реки’ → ‘исток реки’ (корень *k‘e-)*	место направление	*k‘e-s* *k‘e-kř*	*k‘e-z-ŋa* *k‘e-kr-ŋa*	*k‘e-z-ŋa-jo* *k‘e-kr-ŋa-jo*

Е.А. Хелимский [1]

Фонетика и морфонология энецкого языка в условиях языкового сдвига

Данная публикация посвящена кардинальным изменениям в фиксировавшемся при полевых исследованиях фонетическом облике слов в лесном диалекте энецкого (енисейско-самоедского) языка, происшедшими в период в условиях быстрой и, видимо, необратимой утраты этим языком своих позиций в среде энцев и их потомков. Данные имеющихся источников (включая полевые материалы автора) позволяют констатировать, что эти изменения произошли преимущественно между 1930ми и 1960ми гг. и окончательно закрепились в 1990х гг. со смертью последних людей, для которых энецкий язык был, по крайней мере в определенные периоды их жизни, основным средством общения и которые имели по крайней мере воспоминания об энецкой речи своих родителей и других энцев, чьи языковые навыки сформировались не позднее первых десятилетий XX века.

Среди четырех современных самодийских языков энецкий не только представлен наименьшим числом носителей и наименьшими (фактически близкими к нулю) шансами на сохранение до конца нынешнего века, но и выделяется постоянной ролью "страдающей стороны", которой оборачивались для энецкого языка и этноса все этноязыковые контакты последних 400 (если не более) лет. В начале XVII в., к моменту развертывания русской колонизации Енисейского Севера и основания на энецкой этнической территории ее опорных пунктов – Мангазеи (1601), Туруханска (1607), позднее Дудинки (1667) – энцы занимали несоизмеримо большую территорию, чем в настоящее время. Кочевья лесных энцев ("карасинских самоедов") простирались от Среднего и Верхнего Таза на северо-восток до правобережья Енисея в районе рек Нижняя Тунгуска и Курейка. Численность этой группы составляла, согласно

[1] Евгений Арнольдович Хелимский, Институт Макса Планка, Гамбург. Eugen.Helimski@uni-hamburg.de

обработанным Б. О. Долгих данным актов русской администрации, не менее 400–500 чел., но, видимо, могла быть заметно – в 2-3 раза – большей, так как значительная часть энцев уклонялась от уплаты ясака и от контактов с русскими (а сами эти контакты в начальный период нередко имели форму вооруженных конфликтов). Район кочевий тундровых энцев ("хантайских самоедов", не менее 800 чел.) охватывал обширные пространства тундры и лесотундры от бассейна Нижнего Таза на юго-западе до Енисейской губы и реки Пясины на северо-востоке. Столкновения с русскими, эпидемическое распространение ранее неизвестных болезней и отселение части энцев на север и северо-восток — часто на земли союзников-нганасанов — привели, по-видимому, к значительному ослаблению тазовской группировки энцев. Во второй половине XVII в. и в XVIII в. фактически вся прежняя территория лесных энцев переходит во владение переселившихся с юга – также под натиском русской колонизации – селькупов (нынешние северные, тазовско-енисейские селькупы), которые ассимилировали часть побежденных ими лесных энцев[2], другая часть отступила по Енисею на север, в районы между современными городами Игарка и Дудинка. Несколько позже ямальские ненцы, продвигавшиеся на восток, вытеснили тундровых энцев из низовий Таза и с левобережья Енисея. В результате наиболее поздних по времени военных действий (первая половина XIX в.) ненцам удалось закрепиться и на энецких землях на правом берегу Енисея. Наряду с русификацией, значительные масштабы приобрела культурно-языковая ассимиляция лесных и тундровых энцев ненцами, которая продолжается до настоящего времени (ряд родов восточных ненцев – Нгасяда и др. – имеет энецкое происхождение). Кроме того, часть принявших православие энцев влилась в XVIII-XIX вв. в состав нового для Енисейского Севера долганского этноса. Административные меры советского периода (колективизация, перевод кочевого населения на оседлость, укрупнение поселков и под.) стали продолжением этих негативных процессов, сократив энецкую этническую территорию фактиче-

---

[2] Ср. распространенную у тазовских селькупов фамилию Полиных, предположительно потомков энцев-Болиных.

ски до двух поселков, Потапово Дудинского р-на (лесные энцы) и Воронцово Усть-Енисейского р-на (тундровые энцы). См. Долгих 1960, 1970; Васильев 1979; Болина, Хелимский 1994; Хелимский 2000: 38-39).

В силу этих причин вместе с уменьшением территории постоянно сокращалась и численность энцев — приблизительно до 500 чел. во второй половине XIX в., до 378 чел. (перепись 1926 г.) и 200-230 чел., из которых около половины признавали энецкий язык родным (переписи 1989 г., 2002 г., Кривоногов 1998: 175-232). Более достоверны, однако, данные социолингвистического обследования, проведенного в 2005 г. и включавшего проверку фактической языковой компетенции: лишь 30 с небольшим человек (все старше 40 лет) свободно или хорошо владеют энецким языком (О. Ханина, А. Шаинский, личное сообщение). Русско-энецкое двуязычие или русско-ненецко-энецкое трехъязычие носит универсальный характер. Ситуационно неограниченное использование энецкого языка фактически невозможно и противоречит речевым навыкам носителей. По моим наблюдениям (1990е гг.), среди лесных энцев преобладает ситуация, когда основным языком (и первым языком у детей в энецких семьях) является русский или – в случае семей, занятых в оленеводстве – ненецкий, энецкий остается в любом случае на втором или третьем месте. Те несколько человек, которых можно признать представителями тундрового диалекта, владеют ненецким (более молодые – русским) языком более свободно, чем энецким[3]; последний служит для них скорее символом происхождения и напоминает о подлинными носителях идиома, которых уже нет в живых.

Изменения в способе фонетической фиксации отчетливо документируются и датируются сравнением единственного имеющегося источника сведений о состоянии лесного диалекта в 1930х гг. – слов из короткого текста, записанного и опубликованного Г. Н. Прокофьевым (1937:

[3] Двое известных мне пожилых тундровых энцев, много лет живущих среди нганасанов, владеют, соответственно нганасанским языком на порядок лучше, чем энецким.

90),[4] – с принципиально иной и в целом однородной (хотя и не стабильной) картиной, которую дают многочисленные материалы, собранные в 1960-х гг. (Терещенко 1966, 1973; Mikola 1967, 1980) и позднее – вплоть до словаря и сборника текстов И. П. Сорокиной и Д. С. Болиной (ЭРС 2001; ЭТ 2001). Для полноты сравнения в таблице 1 привлечены по возможности данные М. Кастрена (Castrén 1854, 1856) либо формы, сконструированные на основе этих данных (помечены астериском), а также соответствия из тундрового диалекта (в записи автора, 1970е–1990е гг.).

Даже этот небольшой перечень (текст в записи Г. Н. Прокофьева невелик по объему; нерелевантные или слабо засвидетельствованные в более поздних материалах формы опущены) с достаточной полнотой иллюстрирует отличия, в первую очередь в сфере вокализма и фонотактики, противопоставляющие формы из третьей и четвертой колонок ("редукционная фонетика")[5] формам из первой колонки, а также из пятой и шестой колонок ("полная фонетика"):

- стяжение (монофтонгизация) дифтонгических и полифтонгических сочетаний гласных, обилие которых составляет наиболее яркую фонетичекую особенность "полной фонетики" энецкого языка[6];

- возникновение новой оппозиции гласных *е* (из *ie*, *io*) : *ε* или *ä* (из *е*);

- редукция (как правило, полная) гласного *о* в абсолютном ауслауте и в положении перед ауслаутным гортанным смычным ʔ количественная (часто полная) и качественная (с сужением до *u*) редукция этого гласного в срединных слогах многосложных слов;

---

[4] Большая часть языковых данных в очерке заимствована Г. Н. Прокофьевым у Кастрена и отражает состояние языка в середине XIX в., однако этот текст записан в 1934 г. в Ленинграде от Тимофея Кепаркина – видимо, одного их студентов Института народов Севера.

[5] В ряде случаев приводимые Терещенко формы (третья колонка) выглядят несколько более архаичными в сравнении с несколько более поздними (и, возможно, записанными от более молодых информантов) фиксациями.

[6] С фонологический точки зрения эти дифтонгические и полифтонгические сочетания представляют собой последовательности гласных фонем (а долгие и сверхдолгие гласные – последовательности из двух или трех одинаковых гласных), см. (Хелимский 2000: 41-42).

- сильная тенденция к количественной (часто полной) и качественной редукции гласных *е*, *i*, *и* в срединных слогах и в ауслауте многосложных слов; в случае количественно-качественной редукции гласный *е* имеет тенденцию к сужению (и может записываться как *i*), гласные *i*, *и*, напротив – тенденцию к расширению (и иногда обозначаются через *е*, *о*);

- появление в силу указанных редукционных тенденций значительного количества форм с консонантным ауслаутом и с инлаутными сочетаниями согласных – в этой связи следует подчеркнуть, что "полная фонетика" энецкого языка (например, в записях Кастрена) допускает в ауслауте только гласный или гортанный смычный, которому предшествует гласный, а в инлауте практичеки не допускает сочетаний согласных (за исключением фонологически монофонемных геминат);

- сильная тенденция к утрате гортанного смычного;

- некоторые регулярные изменения в сфере консонантизма (в частности, *-d-* > *-δ-*[7], *-dd-* > *-d-*, *j-* > *d'-*), общие для современных лесного и тундрового диалекта (но не отраженные в записях Кастрена и Прокофьева).

Наблюдается, кроме того, значительная неустойчивость в результатах редукции и монофтонгизации, отраженная колебаниями в написании: *амки, амук, амук*; *кодуда, кодда*; *Десчи, Десчу*; *šеδе, śiδi, çизи, çэзи.* Подчеркнем, что эти колебания нельзя отнести только на счет неточностей записи или несовершенства русского алфавита: по моим наблюдениям, они действительно имеют место, в том числе и в произношении одного носителя. Именно это обстоятельство вынуждает отказаться от описания перечисленных изменений в терминах строгих фонетических правил и позволяет допустить, что "редукционная" фонетико-фонологическая система лесного энецкого языка не сформировалась[8] и

[7] И далее *-δ-*> *-z-*: это развитие, отраженное, в частности, орфографией ЭРС, представляет собой одно из проявлений фонетической "русификации". С другой стороны, некоторые явления – в особенности в сфере вокализма – сближают "редукционную фонетику" с ненецкой.

[8] В силу чего приложение к ней (или даже к отдельным идиолектам) обозначения "система" достаточно условно и продиктовано в большей мере традицией

(если негативные тенденции не удастся каким-то чудом преодолеть) никогда не сложится.

Радикализм изменений в фиксируемой фонетической структуре слов контрастирует с тем обстоятельством, что систематических отличий в этом плане между данными Прокофьева и сделанными почти столетием ранее записями Кастрена почти нет. Более того, привлечение наиболее ранних энецких материалов (см. Хелимский 2000: 56-67) показывает, что фонетическое офомление слов в целом почти не менялось начиная с конца XVII в., а совпадение фонетической структуры и вокализации форм в лесном (по данным Кастрена – Прокофьева) и тундровом диалектах позволяет с высокой долей вероятность продлить эпоху стабильности "полной фонетики" еще по крайней мере на несколько столетий.

Есть, однако, основания полагать, что эти радикальные изменения отражают не столько необычно быструю эволюцию фонетики лесного диалекта в промежутке между 1930ми и 1960ми гг., сколько происшедшую за этот период смену статуса "полных" и "редукционных" форм.

Во-первых, тенденция к редукции гласных в срединных слогах частично проявляется уже в записях Прокофьева (*ed'd'ukȯ*, *jet't'eo* в сравнении с **et'id'uku*, *jeddosio*? у Кастрена), что может служить указанием на то, что "редукционная фонетика" была не совсем чужда его информанту.

лингвистического словоупотребления, нежели реальным положением дел. Имеется группа энцев, которые пассивно хорошо понимают родной язык, но активно пользуются им настолько редко и в таких шаблонных ситуациях, что склонны к простому репродуцированию слышанных ими фраз и слов. Поскольку при этом репродуцируемые образцы заимствуются от разных лиц (чьи фонетические привычки могут довольно сильно различаться) и отражают разные стилистические уровни и хронологические срезы, речь представителей этой группы представляет собой достаточно хаотичное смешение разносистемных форм. К этой группе относится, например, Виталий Николаевич Пальчин (1958 г.р., клубный работник и активный участник фольклорной самодеятельности, который в течение нескольких лет вел в школе пос. Потапово факультативные занятия по энецкому языку): в одной и той же речевой ситуации от него зарегистрированы как относительно архаичные варианты произношения, очевидным образом копирующие речь его отца – Н. С. Пальчина, так и варианты с фактически полной русификацией энецкой фонетики.

Во-вторых, формы энецких слов, близкие или даже (с поправкой на диалектные различия) тождественные "редукционной фонетике" лесного диалекта, мне приходилось слышать и записывать и в 1970х гг. от носителей тундрового диалекта: они постоянно появлялись в небрежно-аллегровом стиле произношения (особенно, разумеется, в разговорном общении на бытовые темы), но обязательно уступали место "полным" формам, когда те же носители говорили неторопливо, выступали в роли информантов по энецкому языку, рассказывали – и тем более надиктовывали – тексты.

В-третьих, при посещении пос. Потапово в 1994 г. А. Ю. Урманчиевой и мне удалось установить, что один из старейших носителей лесного диалекта 70-летний Алексей Сергеевич Пальчин не только прекрасно понимает "полные" формы (например, из записей Кастрена), но и без особых затруднений может переходить или, точнее, переводить с естественного для него, как и для всех энцев Потапова, "редукционного" произношения на "полное". В последующие годы А. Ю. Урманчиевой удалось заново проработать с ним почти весь собранный ранее лексический и грамматический материал по лесному диалекту – при этом А. С. Пальчин вначале произносил нужные формы естественным для себя способом (в "редукционной фонетике"), а затем надиктовывал их "полные соответствия". Некоторые трудности могли представлять относительно редкие слова, "полные" формы которых были ему незнакомы. Основная же часть лексики – как и все грамматические форманты – не вызывала затруднений; как показывает сличение сделанных записей с данными Кастрена и тундрового диалекта, "полный" стиль произношения воспроизводился информантом, быстро привыкшим к этой необычной, но интересной для него форме опроса, безукоризненно точно. Сам этот стиль несомненно вызывал у А. С. Пальчина определенный пиетет.

Кроме того, обнаружилось, что его старший брат Николай Сергеевич Пальчин (прекрасный знаток фольклора – от него записано наибольшее число и, пожалуй, наиболее интересная часть текстов в (ЭТ 2005)) и лесная энка Вера Николаевна Болина (1929 г.р.) также без труда и без ошибок могли переходить на "полное" произношение изолированных

слов. Сколько-нибудь систематической работе с Н. С. Пальчиным помешал его почтенный возраст. В. Н. Болина, в отличие от А. С. Пальчина, относилась к порождаемым ею "полным" формы скорее как к искусственным искажениям нормального, т. е. "редукционного", произношения.

Братьев Пальчиных и В. Н. Болиной уже нет в живых. Другие носители лесного диалекта (речь идет о людях, возраст которых в 1990х гг. не превышал 50-60 лет) способны были в лучшем случае – и то далеко не всегда – понимать "полные" формы знакомым им и используемых ими в "редукционном" варианте слов, однако не могли их порождать.

Эти обстоятельства позволяют усмотреть в процессе переходе от "полной" к "редукционной" фонетике лесного диалекта не только и не столько его внешнюю форму – ускоренную фонетическую эволюцию, сколько его внутреннее содержание – переориентацию произносительной нормы, приобретение небрежно-аллегровым вариантом произношения того статуса и тех коммуникативных функций, которые раньше были присущи отчетливому ("дикторскому") произношению, в частности, нарративно-поэтической функции.

Охарактеризованное выше соотношение между произносительными нормами раличных периодов в обоих энецких диалектах (в сопоставлении с данными Кастрена) можно далее проиллюстрировать небольшой лексической выборкой в таблице 2 (слова с ƀ-). Как "гипернорма" обозначенны записанные от А. С. Пальчина и В. Н. Болиной "полные", не используемые ими в речевой практике, формы. Колонки с фонетической транскрипциями отражают записи автора и его коллег по лингвистическими экспедициям.

В условиях языкового сдвига, резко сдвинувшего коммуникативные функции лесного энецкого языка в сторону исключительно бытовой сферы и домашнего общения, произошла, таким образом, абсолютизация прежней аллегровой ("редукционной") фонетики: нынешние носители диалекта не способны произносить слова по-другому, как бы медленно и старательно оно не говорили. Нет оснований сомневаться, что

небрежно-аллегровое произношение у человека, владеющего полным стилем произношения, является результатом наложения дополнительных фонетических правил поверхностного уровня. Соответственно, энецкий переход от "полной" фонетики к "редукционной" в своей основе представляет собой рефонологизацию, при которой прежний факультативный поверхностный уровень становится облигаторным и вытесняет глубинный (морфо)фонологогический уровень. Относительно меньшая роль принадлежит изменениям, происшедшим или происходящим под влиянием иноязычной (русской, ненецкой) фонетики.

Исчезновение этого прежнего глубинного уровня документируется, в частности, лексикографическими нитерпретациями ЭРС (один из его соавторов – лесная энка Д. С. Болина), которые были бы вряд ли возможны в поколении Тимофея Кепаркина или братьев Пальчиных (если бы оно дало своих лексикографов). В ЭРС одно из слов таблицы 2 приведено как "**ба́ртэ** мизинец (*букв.* крайний олень)", т.е. его концовка – исторически и в гипернорме это словообразовательный суффикс *-ti* – интерпретируется как слово ‚олень' (исторически и в гипернорме *tia*, в орфографии ЭРС **тэ**). На это указывает и трактовка в ЭРС совпавших (по крайней мере в некоторых вариантах произношения) слов как омонимов, ср. **то** I крыло (< *tua*), **то** II лето (< *too*), **то** III озеро (< нен. *to*), **то** IV одеяло (< нен. *toʔ*); **бéды** I горе, несчастье (< рус. *бéдыʔ*), **бéды** II течение (< *bioduʔ*), **бéды** III дыхание (< *beduʔi* ‚пар от дыхания')[9].

[9] Хотелось бы подчеркнуть, что словарь И. П. Сорокиной и Д. С. Болиной (ЭРС 2001) достаточно адекватно отражает речевую практику и языковое сознание большинства или даже всех современных носителей лесного энецкого языка – вместе со всеми их непоследовательностями.

Таблица 1

Прокофьев		Mikola 1995[1]	ЭРС, ЭТ	Castrén (B)	Тундровый диалект
abbua	какой	(M) *obū*, (T, S, G) *obu*, (T) *óbu*	(ЭРС) *óбу*	*awuo*	-
amuke-	хозяин (черт)	-	(ЭТ) *амки, амук, амуки*	-	*amuke*
bese-	железо, металл	(M) *bεsε*, (G) *bεθε*, *b'eθi*, (S) *b'esi-*	(ЭРС) *бя́си*	*bése*	*bese*
ed'd'uko	мальчик	(G) *ed'd'uku*, *εd'uku*	(ЭТ) *эддюку, эдюку*	**et'id'uku*	*et'id'uku*
ed'd'ukoro	твой мальчик	-	(ЭТ) *эддюкур*	**et'id'ukuro*	*et'id'ukuro*
edādo	будешь	(T, S) *εʒad*	(ЭТ) *эзад*	-	*eбado*
*enete*ʔ (опечатка вместо *enet'e*ʔ)	человек	(T) *εn'čeʔ*, (G) *en'čiʔ*, *en'či*, (M) *enči*, (S) *εn'če*, *εnči*	(ЭРС) *э́нчи*	*ennet'e*ʔ	*enet'e*ʔ
enet'eddo	ты человек	(S) *εnčid*	(ЭТ) *энчид*	**enet'eddo*	*enet'edo*
*jadado*ʔ	иду	(M) *d'aбaб*, *d'azaz*	(ЭТ) *дязаз*	*jadado*ʔ	*d'aбaбo*ʔ
*jāredo*ʔ	он заплакал	-	(ЭТ) *дяриз', дяриз*	-	*d'aareбo*ʔ
Jere	день	(T) *d'erε*, (M) *d'er'e*, (P) *d'eri*, (S) *d'εrε*	(ЭРС) *дéри*	*jére*	*d'ere*

[1] В энецком словаре Тибора Миколы собраны и воспроизведены в унифицированной латинской транскрипции данные ряда источников; для таблицы отобраны формы из публикаций Н. М. Терещенко (T), Т. Миколы (M), И. П. Сорокиной (S), Я. А. Глухия (G), Я. Пустаи (P), отражающих записи 1960х-1970х гг. по лесному диалекту.

Таблица 1: *окончание*

Прокофьев		Mikola 1995	ЭРС, ЭТ	Castrén (B)	Тундровый диалект
jet'tʼeo	Енисей (Acc.)	(S) *d'esču?*	(ЭТ) *Дедчи, Десчи, Десчу, Дечу*	*jeddosio?*	*d'edos'io?*
jise-	дед	(T) *d'ise*, (P) *d'iśi*	(ЭРС) *диси*	-	*ise*
Kati	девка	(T) *kati*, (S) *kati?*	(ЭРС) *ка́ты*	*káti*	*kati*
kedero	дикого оленя (Gen.)	(T) *kεʒεr?*, (S) *kεzar*	(ЭРС) *ке́зер*	*kédero'*	*keбero'*
koddodda	его нарту	(T) *koddoda*	(ЭТ) *кодуда, кодда*	**koddodda*	*kododa*
Meto	в чум	(T, S, G) *mεt*, (G) *met*, (P) *m'ed, m'ād*	(ЭРС) *мят*	**meto*	*meto*
mod'ihua-	я-то	-	(ЭТ) *модьхо*	-	*mod'ixuano*
motado?	я пересек	-	(ЭТ) *мотаз*	*motado*	*motaбo?*
nie	пусть он не	-	(ЭРС) *не*	*n'ē*	*(n'ieebe)*
S'iedi	лопатка	(G) *šeбe, śiбi*	(ЭТ) *çизи, çэзи*		*sioбi*
sudobe-	великан	(T) *šuʒobε, šüʒobε*	(ЭРС) *çу́зби*	-	*s'uбobe*
toa	он пришел	(T) *toa*, (P) *tō*	(ЭРС) *то*	**toa*	*tôa*
t'ua	он вошел	(T) *čua*	(ЭРС) *чуо*	-	*t'uua*

Таблица 2

	Тундровый энецкий			Лесной энецкий				
	Castrén (Ch)	Норма 1970е	Аллегро 1970е	Castrén (B)	Гипернорма	Норма 1990е	Mikola 1995	ЭРС
начальник, хозяин	*biómo*	[*biomo*]	[*biʔo̭mŭ*, *biʔo̭m*]	*biómo*	[*biomo*]	[*b'em*]	(T) *bíomo*, (M) *bemo*, (P) *bem*	*бем*
замена	-	[*baʔi*]	[*bai*, *bai̭*]	-	[*baʔi*]	[*bai*, *bai̭*, *baj*]	(P) *baj*	-
яма	*bággo*	[*bago*]	[*bagŭ*, *bag*, *baG*]	*bággo*	[*bago*]	[*bagŏ̭*, *bagŭ*, *bag*, *bak*]	(T) *bágo*, (M) *bago* (G) *bagu*	*баг*
песня	-	[*bare*]	[*barə*]	-	[*bare*]	[*barḙ̆*, *barĭ*, *barᵊ*]	(P) *bari*	*бáри*
старание, усилие	-	[*bario*]	[*bariʔo̭*]	-	[*barie*]	[*bar'i̭i*, *bar'i*]	-	*бáри*
крайний, мизинец	*ba ├oti*	[*baroti*]	[*barᵊtĭ*]	*baroti*	[*baroti*]	[*barᶦᶦtə̆*]	(T) *bartḙ*	*бáртэ*
кромка	-	[*beiʔa*]	[*bei̭a*]	-	[*beiʔa*]	[*b'eja*]	-	-
шея	-	[*beko*]	[*bekŭ*, *bek*]	-	[*beko*]	[*bɛkŭ*, *bɛk*, *b'ɛkŭ*, *b'ɛk*]	(M) *bɛk*, (P) *bɛko*, *b'ak*	*бяк*
волдырь	-	[*biδoe*]	[*biδŭi̭*]	-	[*biδoe*]	[*b'iδŭi̭*, *b'iδŭj*]	-	-
идти вброд	*beheŋero 1Sg.*	[*bexed'e*]	[*bexəd'*, *bexəD'*]	*beheŋedo 1Sg.*	[*bexed'*]	[*bɛxḙ̆D'*, *b'ɛ-*, *-ĭD'*, *-ḙ̆č'*, *-ĭč'*]	-	*бя́хичь*

М.З. Муслимов [1]

Языковой сдвиг и изменения в прибалтийско-финских языках и диалектах Западной Ингерманландии [2]

Введение

В данной статье мы рассмотрим некоторые явления, связанные с изменениями в языках и диалектах Западной Ингерманландии в ходе языкового сдвига. Наше внимание будет в основном сосредоточено на изменениях в морфонологии и морфологии данных идиомов. К сожалению, в отличие от водского синтаксиса, изучавшегося в последние десятилетия Х. Хейнсоо, Ф.И. Рожанским, Т.Б. Агранат, Л. Сабо (см. например Агранат 1997, 2002а, 2004; Митрофанова, Рожанский 2002; Сабо 1963; Heinsoo 1985, 1993), к настоящему времени синтаксис ижорского языка и финских диалектов Ингерманландии остается очень плохо изученным, что затрудняет сопоставление современного состояния ижорского языка и финских диалектов с предшествующими.

В настоящее время в западной части Ингерманландии говорят на следующих прибалтийско-финских языках и диалектах (ПФЯ): водском (говоры дер. Краколье, Пески, Лужицы), ижорском (сойкинский и нижнелужский диалекты, для последнего характерны заметные различия ?между отдельными говорами), финском (говоры лютеранского прихода Нарвуси: говоры деревень Курголовского полуострова, долины р. Россонь, дер. Дубровка; диалекты приходов Каттила, Новасолкка, Молосковица, Губаница, Каприо, говоры восточной и западной частей прихода Тюрё[3]), эстонском (очень малое число изолированных носителей).

---

[1] Мехмет Закирович Муслимов, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. mehmet@narod.ru.

[2] Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 05-04-18027е «Документация финских говоров Западной Ингерманландии».

[3] Мы пользуемся традиционным делением Ингерманландии на лютеранские приходы по состоянию на 1920-30е годы (подробнее см.: Mustonen 1931).

В данной статье предметом нашего рассмотрения будет более обширный ареал, включающий в себя также приходы Серепетта, Коприна и Лииссиля. Данный ареал охватывает территории большей части Кингисеппского, Ораниенбаумского, Волосовского и Гатчинского районов, а также небольшую территорию на западе Тосненского района Ленинградской области.

Следует отметить, что в ряде деревень к настоящему времени уже не осталось ни одного носителя местных прибалтийско-финских языков. С другой стороны, языковая ситуация в соседних деревнях может довольно сильно отличаться, и хотя в целом можно говорить о возникновении возрастного континуума языковой компетенции, более или менее четкую картину можно наблюдать только в пределах одной деревни, так как возраст «поколения перелома» (Вахтин 2001) в разных деревнях может отличаться на 40–50 лет (такова ситуация, например, в ижорских деревнях Ванакюля и Венекюля в долине р. Россонь). Существенное воздействие на степень владения языком оказывает наличие / отсутствие других носителей ПФЯ в той же деревне, связи с Эстонией или Финляндией и другие индивидуальные особенности лингвистической биографии информанта. В качестве материала для сравнения с современным состоянием мы использовали описания и тексты середины XX века (Лаанест 1966; Галахова 1974, 1990, 2000; Alvre 1971; Ariste 1941, 1948, 1962, 1968 – 1969; Leppik 1975; Mullonen 2004; Nirvi 1971; 1978; 1981; Pallonen 1986; Virtaranta 1953, 1955), однако далеко для всех локальных говоров, в особенности финских, такие тексты и описания существовали.

Изменения, происходящие в языке при языковом сдвиге, в том числе и в отдельных идиолектах (language attrition), уже становились предметом изучения в ряде работ, посвященных языкам разной типологии, в

Следует иметь в виду, что существующее в настоящее время деление Ингерманландии на лютеранские приходы сложилось в 1990е годы XX века и существенно отличается от традиционного. В частности, в западной Ингерманландии в настоящее время не существуют приходы Молосковица, Сойккола, Новасолкка.

частности, австралийскому языку дирбал (Schmidt 1985), гэльскому языку Шотландии (Dorian 1981), бретонскому (Dressler 1991), венгерскому (Vago 1991), финскому (Larmouth 1974) и эстонскому (Maandi 1989). В работе (Dressler 1991), а также в обзоре (Seliger, Vago 1991) описывались основные виды таких изменений, см. также статью Е.А. Груздевой в настоящем издании. Такого рода изменения могут быть вызваны либо интерференцией со стороны доминирующего языка, либо внутренними причинами. Селиджер и Ваго выделяют четыре основных типа внутриструктурных изменений (Seliger, Vago 1991: 10-11): аналогическое выравнивание, парадигматическое выравнивание, категориальное выравнивание, категориальное переключение.

1) Аналогическое выравнивание

Устранение разного рода иррегулярных, непродуктивных моделей словоизменения и переход лексем, входящих в непродуктивные словоизменительные типы в более распространенные.

Такого рода выравнивание встречается в идиомах Западной Ингерманландии очень часто, в том числе и у информантов с достаточно высокой степенью владения языком (СВЯ). Для водского языка отдельные случаи такого выравнивания фиксируются еще в словаре Д. Цветкова (Tsvetkov 1995), а сравнение данных Д. Цветкова (1920 годы)и Е. Маркус (начало XXI века, см. Маркус 2006) показывает дальнейшее развитие этого процесса.

2) Парадигматическое выравнивание

Редукция алломорфии, элиминация регулярных чередований в парадигме, которая становится более единообразной.

В ПФЯ Западной Ингерманландии можно выделить два основных вида таких чередований: чередование ступеней и общую геминацию. Геминация является общим явлением для ижорских и финских говоров, в водском языке она широко представлена только в говорах в окрестностях нижней Луги, то есть именно в тех говорах, которые сохранились до настоящего времени. С другой стороны, система чередований ступе-

ней довольно сильно отличается в местных ПФЯ, а также в литературных эстонском и финском литературном языках, и в ряде случаев устранение чередований приводит к таким же результатам, что и влияние другого ПФЯ, что затрудняет дифференциацию этих случаев. Мы будем рассматривать два основных типа изменений в системе чередований:

а) полное исчезновение чередований в парадигме лексемы;

б) замена одного алломорфа основы на алломорф с другой ступенью чередования.

Следует отметить, что подобного рода явления встречаются в основном у информантов с невысокой СВЯ.

Элиминация части алломорфов словоизменительных показателей затрагивает некоторые падежные показатели, в частности, показатели иллатива и партитива. Среди словоизменительных показателей глагола сокращение числа алломорфов затрагивает в основном кондиционал. Следует отметить, что воздействие других ПФЯ может приводить к увеличению числа алломорфов, что затрагивает в первую очередь активное причастие имперфекта, имперфект и иллатив.

3) Категориальное выравнивание

Нейтрализация грамматического противопоставления. В ПФЯ нижней Луги (приход Нарвуси) этот тип изменений проявляется прежде всего в нейтрализации противопоставления форм имперсонала и 3 лица множественного числа. Следует отметить, что такая нейтрализация отмечалась еще Юнусом (Junus 1936) и Аристе (Ariste 1948), однако вплоть до настоящего времени в большинстве идиолектов такого рода нейтрализация еще не привела к полному устранению одной из конкурирующих форм. Другой пример такой нейтрализации — исчезновение потенциалиса, которое началось еще раньше; уже Лаанест (Лаанест 1966) и Аристе (Ariste 1948) фиксируют его только в песнях, в наших же материалах он ни встретился ни одного раза. Другие примеры подобного рода — окказиональная нейтрализация оппозиции аккузатив / партитив и аккузатив / номинатив у некоторых информантов.

4) Категориальное переключение

Грамматическая категория сохраняется, однако начинает выражаться по другому. В ПФЯ нижней Луги примерами подобного рода изменений может служить исчезновение абессива и замена его конструкцией ilma+партитив, а также утрата притяжательных суффиксов и замена их конструкцией с генитивом личных местоимений.

С другой стороны, перечисленные в пунктах 3 и 4 явления (за исключением нейтрализации падежных противопоставлений) фиксируются в нижнелужском ареале уже достаточно давно, и поэтому их возникновение может быть обусловлено не языковым сдвигом, а контактами с русским языком в «спокойной» ситуации или внутренними тенденциями развития ПФЯ. Утрата абессива наблюдается и в финском литературном языке, притяжательные суффиксы исчезли в эстонском языке.

Следует отметить, что среди носителей прибалтийско-финских идиомов Западной Ингерманландии встречаются говорящие с разной СВЯ, и их идиолекты могут довольно заметно отличаться как по степени сохранности старой системы, так и по произошедшим в этих идиолектах изменениям (ср. также в настоящем издании статью Т.Б. Агранат). Тем не менее, можно выделить изменения такого рода, которые произошли не в одном, а в нескольких идиолектах, зачастую не контактировавших между собой (например, в идиолектах информантов, живущих в разных деревнях на большом удалении друг от друга). По-видимому, в таких случаях можно говорить именно о действии внутриструктурных тенденций. Однако разграничение явлений, закрепившихся в том или ином говоре, от индивидуальных изменений остается трудной задачей. В свою очередь, и разграничение случаев изменений, характерных для языкового сдвига, от явлений, характерных для «естественной» эволюции языка, также оказывается возможным далеко не всегда.

Рассмотрим подробно некоторые из упомянутых выше явлений; при этом мы будем использовать следующие критерии оценки характера происходящих изменений:

1) *Время появления данного явления.* Если оно фиксируется еще в начале XX века, то оно может быть связано либо с влиянием других языков, либо с действием внутриструктурных тенденций и не являться специфичным именно для языкового сдвига. Информанты, чья речь была зафиксирована в начале столетия, не были последним поколением говорящих, поскольку современные носители ПФЯ Западной Ингерманландии в основном относятся к поколениям 1920-30х годов (или даже 1940х и 1950-х годов).

2) *Географическое распределение данного явления.* Характерными признаками недавнего появления той или иной инновации, на наш взгляд, является отсутствие сплошного ареала, наличие в одной и той же деревне и «консервативных», и «инновационных» идиолектов. Такое распределение может отражать как инновации, связанные с ускорением внутриструктурных изменений в условиях языкового сдвига, так и влияние литературного финского языка.

Верхней грнаницей языкового сдвига можно считать 1940е годы, когда почти все прибалтийско-финское население Ингерманландии было депортировано, хотя в отдельных местностях, например, в центральной и восточной частях водского ареала, в ижорских деревнях долины р. Systa и вблизи Усть-Нарвы, в некоторых районах приходов Новасолкка и Молосковица языковой сдвиг, по-видимому, начался еще раньше. Влияние литературного финского языка не связано с каким-то определенным ареалом Ингерманландии. Наоборот, наличие определенного четкого ареала той или иной особенности указывает на достаточно давнее ее появление. Наличие в соседних деревнях другого ПФЯ, в котором представлено такое же явление, может указывать на влияние этого ПФЯ.

3) *Корреляция между степенью владения языком* (СВЯ) *и наличием данного явления* в идиолекте данного информанта.

4) *Особенности лингвистической биографии данного информанта*, в частности, изучение литературных финского или эстонского языков. Следует иметь в виду, что существуют определенные диагностические

признаки сильного влияния литературного финского или эстонского языков на идиолект информанта. В первую очередь к ним можно отнести формы личных местоимений, которые отделяют финский и эстонский литературные языки ото всех ПФЯ Ингерманландии.

1. Чередование ступеней

Чередование ступеней в большинстве ПФЯ является одним из видов регулярных чередований. Выделяются две ступени чередования, традиционно называемые сильной и слабой ступенью. Диахронически сильная ступень является «исходной», в то время как слабая является производной от нее, причем по виду слабой ступени не всегда можно однозначно восстановить сильную. Чередованию подвергаются согласные и группы согласных, чаще всего на границе первого и второго слогов (в большинстве современных ПФЯ такие же чередования возможны и в более далеких слогах, однако в водском языке ситуация несколько иная). Чередоваться могут не все согласные и группы согласных, причем в разных языках чередоваться могут разные согласные. В Таблице 1 приведены некоторые из чередований, отличающихся в разных ПФЯ (слева дана сильная ступень, справа – слабая).

Таблица 1

водский	ижорский	финские диалекты Ингерманландии	эстонский	литературный финский
tk/dg	tk/t, d	tk	tk	tk
st	st/ss	st/ss, st	st	st
sk/zg	sk/s, z	sk/s, sk	sk/s	sk
ht/h	ht/h	ht/h	ht/h	ht/hd
hk/hg	hk/h	hk/h, hk	hk/h	hk/hk, h
k/g	k/ø	k/ø, v, j	k/ø, j	k/ø
t/ø	t/ø	t/ø, v, j	t/ø, j	t/d

Выбор ступени чередования зависит от грамматической формы и от типа склонения или спряжения. В качестве иллюстрации приведем фрагменты парадигм глаголов uskoa ‘верить’, jakaa ‘делить’, vizgata ‘бросать’, magata ‘спать’ в водском говоре дер. Котлы (сильная ступень выделена жирным). См. Таблицу 2.

Таблица 2

	Глаголы с основой на краткий гласный		Стяженные глаголы	
	верить	делить	бросать	спать
Инфинитив	**uskoa**	**jakaa**	vizgata	magata
Презенс 1Sg	uzgon	jagan	**viskaan**	**makaan**
Имперфект имперсонала	uzgottii	jagõttii	vizgattii	magattii

Парадигматическое выравнивание может приводить либо к полной элиминации чередования ступеней в парадигме данной лексемы, либо к замене слабой ступени на сильную (или наоборот) только в определенных грамматических формах.

1.1. Утрата чередований в парадигме

Как уже было отмечено выше, некоторые из вышеупомянутых чередований присутствуют не во всех ПФЯ Западной Ингерманландии, более того, наличие / отсутствие таких чередований являются важными изоглоссами, отделяющими одни ПФЯ от других (см. табл. 1). Влияние ПФЯ Западной Ингерманландии друг на друга или влияние на них литературных финского и эстонского языков также может приводить к исчезновению чередований. На наш взгляд, критериями для различения этих двух случаев могут служить географическое распределение чередований и степень владения языком. Ниже мы рассмотрим важнейшие из упомянутых чередований.

1) Чередование tk. Эта консонантная группа чередуется только в водском и ижорском. В отдельных ижорских идиолектах нижней Луги встречаются случаи отсутствия этого чередования в парадигмах отдельных лексем, например инфинитив[4] itkee 'плакать', но 1Sg презенса itken 'я плачу' вместо ожидаемого iten.

Для идиолектов информантов, живущих в «чисто ижорских» деревнях (например, Дальняя Поляна), можно предполагать, что случаи отсутствия данного чередования связаны именно с языковым сдвигом. В отличие от этого, для идиолектов некоторых жителей дер. Ванакюля мы не можем сделать такого же предположения, поскольку в данной деревне существует идиолектный континуум, причем изоглоссы, отделяющие финские нижнелужские говоры от ижорских, могут отделять идиолекты жителей дер. Ванакюля друг от друга. В таком случае отсутствие чередования может быть просто характерной особенностью данного смешанного идиолекта. Для случаев отсутствия чередования в ижорских идиолектах дер. Лужицы и Пески можно предполагать влияние водского языка, поскольку водское слабоступенное соответствие dg из-за отсутствия в фонологической системе ижорского языка такого сочетания могло адаптироваться в ижорском как tk.

2) Чередование st. Это сочетание чередуется в ижорском языке, а также в нижнелужском финском, финском говоре дер. Финская Рассия (приход Каттила) и в финских говорах дер. Липово и Ручьи в окрестностях г. Сосновый Бор (северная часть Каприо). В водском языке это сочетание встречается в основном в заимствованиях, в остальных финских диалектах Западной Ингерманландии эта группа не чередуется. Однако чередование в нижнелужском финском не является последовательным. В одних идиолектах это чередование отсутстствует, в других оно отсутствует в парадигмах некоторых лексем, при этом какой-либо корреляции со СВЯ не наблюдается. Как правило, отсутствие чередования встречается обычно в парадигмах имен, в то время как в глагольных

---

[4] Инфинитивом мы условно называем нефинитную глагольную форму, которая традиционно называется первым инфинитивом в описаниях финского языка и da-инфинитивом в описаниях эстонского языка.

парадигмах это чередование обычно сохраняется, например инфинитив ostaa ‘покупать’, 1Sg презенса ossan ‘я покупаю’, но NomSg musta ‘черный’, NomPl mustat ‘черные’ (вместо mussat у других информантов) GenSg mustan ‘черного’ (вместо mussan). Следует отметить, что отсутствие чередования или непоследовательное чередование сочетания встречаются, как правило, у тех информантов, для которых характерно смешение в речи финского литературного языка и нижнелужского финского. Таким образом, можно предположить, что непоследовательное чередование в нижнелужском финском связано с влиянием литературного финского (и, возможно, эстонского) языка, а не с изменениями при языковом сдвиге.

В отличие от нижнелужского финского, в нижнелужском ижорском отсутствие чередования встречается очень редко, в основном у носителей с невысокой СВЯ, и может быть связано именно с изменениями при языковом сдвиге.

3) Чередование sk. Данное сочетание чередуется в водском языке, а также в ижорском, многих финских диалектах и эстонском. Для некоторых финских диалектов Ингерманландии (нижнелужский говор на р. Россонь) наличие / отсутствие чередований было связано с долготой/краткостью гласного первого слога (Лаанест 1966: 40-42), например NomSg poski ‘щека’, NomPl poset ‘щеки’, но NomSg sääski ‘комар’, NomPl sääsket ‘комары’. Для большинства финских диалектов Ингерманландии такой закономерности, однако, исследователями не было отмечено. По данным Л.Я. Галаховой, относящимся к 1960-70 годам, в большинстве финских диалектов Ингерманландии чередование отсутствовало только в отдельных словах (Галахова 2000: 122), причем такое спорадическое отсутствие чередования встречалось преимущественно в западной части Ингерманландии. По данным Галаховой, это явление было отмечено в дер. Тихковицы, Поддубье, Ляды (приход Коприна), Добряницы (приход Серепетта), Ямки, Тресковицы и Сяглицы (приход Молосковица), а также в ряде деревень за пределами рассматриваемого нами ареала. Таким образом, ареал отсутствия чередования образовывал в 1960-70 годы несколько компактных анклавов. По нашим данным, в

настоящее время такое спорадическое отсутствие чередования в отдельных словах распространилось на почти все финские диалекты западной и центральной части Ингерманландии за исключением говоров дер. Финская Рассия (приход Каттила), Кикерицы (приход Новасолкка), Липово и Ручьи (Каприо). На территории нижнелужского финского и ижорского данное явление встречается только у отдельных информантов. Как и в случае с чередованием sk, такое отсутствие чередования затрагивает только имена, например NomSg posk 'щека', NomPl posket 'щеки', NomSg siäsk 'комар', NomPl siäsket 'комары', в то время как в глагольных парадигмах чередование обычно сохраняется инфинитив uskoo 'верить', 1Sg презенса uson 'верю'. Случаи отсутствия чередования у глаголов очень редки и не образуют сплошного ареала.

По мнению Л.Я Галаховой, «нет достаточных оснований также утверждать, что чередование sk получило распространение в финских говорах Ингерманландии именно под влиянием ижорского языка», поскольку случаи отсутствия чередования встречаются как раз в более близких к ареалу ижорского языка финских диалектах (Галахова 2000: 122–123). На наш взгляд, сравнение современных данных с данными 30–40-летней давности показывает распространение спорадического отсутствия чередования у имен на значительную часть Западной Ингерманландии уже на наших глазах, и тем самым нет оснований считать такое спорадическое отсутствие достаточно старым явлением. Возможно, что в данном случае имело место как влияние литературного финского языка, так и выравнивание по аналогии, хотя окончательных выводов в данном случае сделать нельзя. Отсутствие же чередования у глаголов встречается, как правило, у информантов с невысокой СВЯ и может быть отнесено к изменениям при языковом сдвиге.

4) Чередования k и t. Слабоступенными соответствиями в данном случае могут быть следующие варианты: полное выпадение согласного, развитие глайдов v и j в зиянии (в водском языке в отдельных случаях также d'd'), чередование с соответствующим звонким смычным, причем в финских диалектах Ингерманландии наблюдается очень пестрая картина распределения случаев чередования с глайдами по отдельным го-

ворам, причем появление v и j в зиянии зависит от соседних гласных. Галахова отмечает также отдельные случаи отсутствия чередования (большей частью в именных парадигмах), в основном во Всеволожском и Гатчинском районах (Галахова 2000: 118, 124-126).

В наших материалах случаи отсутствия чередования k встречаются в основном у информантов с невысокой СВЯ, не образуя сплошного ареала, например 2Pl императива jakakaa ‘делите’, 1Sg презенса jakan ‘я делю’ вместо ожидамых jaan, juan, jajan. Особо следует сказать о парадигмах глаголов nähhä ‘видеть’ и tehhä ‘делать’. Такие формы как 1Sg имперфекта näkin ‘я видел’, tekin ‘я делал’ вместо закономерных näin и tein представлены в нескольких изолированных идиолектах в Гатчинском районе и в дер. Калливере и Дубровка, расположенных вблизи от границы с Эстонией. В последнем случае можно предполагать влияние эстонского языка, в котором представлены формы nägin и tegin. В остальных случаях речь скорее всего идет об изменениях в ходе языкового сдвига.

В отличие от ситуации с чередованием k, отсутствие чередования t встречается гораздо чаще, как в именных парадигмах, так и в глагольных, например NomSg pata ‘горшок’, InessSg patas ‘в горшке’ (вместо ожидаемых paas или puas), инфинитив tietää ‘знать’, 1Sg презенса tietän ‘я знаю’ (вместо tiijen). В большинстве случаев в идиолектах таких информантов обнаруживаются следы влияния литературного финского языка. Географически такие идиолекты не образуют сплошного ареала, а в одной и той же деревне могут быть как идиолекты с чередованием, так и без него. По-видимому, в большинстве таких случаев отсутствие чередования является результатом влияния финского литературного языка, причем финское слабоступенное d отражается в ингерманландских диалектах как t.

1.2. Замена алломорфа основы на алломорф с другой ступенью чередования

Как уже упоминалось выше, в ПФЯ Ингерманландии выбор сильной или слабой ступени чередования зависит не только от конкретной грам-

матической формы, но и от того, к какому словоизменительному типу принадлежит данная лексема, например у имен с основой на краткий гласный сильная ступень выступает в единственном числе в номинативе, партитиве, иллативе и эссиве, слабая – в генитиве и всех остальных косвенных падежах, а у двухосновных имен на -s сильная ступень выступает в генитиве, иллативе и прочих косвенных падежах, а слабая – в номинативе и партитиве. При этом во всех трех языках правила выбора сильной / слабой ступени почти полностью совпадают. В отличие от случаев, рассмотренных в предыдущем разделе, когда противопоставление сильноступенной и слабоступенной основы нейтрализовывалось в пользу сильной ступени по всей парадигме, в данном случае сильноступенный и слабоступенный алломорфы сохраняются, но меняется их дистрибуция в парадигме. Чаще всего это происходит в глагольной парадигме, причем обычно подобные колебания затрагивают активное причастие имперфекта.

В большей части случаев выравнивание происходит в пользу сильной ступени, то есть стяженные глаголы «подстраиваются» под глаголы с основой на краткий гласный, однако иногда возможно и выравнивание по слабой ступени. В качестве иллюстрации приведем фрагменты парадигм глаголов maata ‘спать’ (стяженные глаголы) и lukkee ‘читать’ (глаголы с основой на краткий гласный) в различных говорах нижнелужского финского (сильная ступень выделена жирным, аномальные формы подчеркнуты). См. Таблицу 3.

Выравнивание по типу идиолекта из дер. Калливере встречается не только в нижнелужском финском, но и в других финских и ижорских диалектах, причем такие идиолекты не образуют сплошного ареала. Следует отметить, что такие аномальные формы причастия могут встречаться далеко не у всех стяженных глаголов. Однако в говоре дер. Дубровка, расположенном вблизи границы с Эстонией, эти слабоступенные формы закрепились и являются единственно возможными (Муслимов 2002: 356). В данном говоре сильноступенные формы стяженных глаголов представлены и в формах 2Pl императива. Выравнивание по типу идиолекта из дер. Федоровка встречается очень редко. Оба

типа выравнивания могут являться примером изменений в процессе языкового сдвига, поскольку они обычно представлены у информантов с невысокой СВЯ. Ситуация в дер. Дубровка не позволяет сделать окончательных выводов, хотя весьма вероятным представляется достаточно раннее возникновение таких форм.

В качестве одного из немногих примеров перераспределения сильноступенной и слабоступенной основ в именной парадигме можно привести парадигмы существительного kätüt 'колыбель' в говоре дер. Ванакюля (сильная ступень выделена жирным, аномальная форма подчеркнута). См. Таблицу 4.

Таблица 3

	консервативные идиолекты Курголовского полуострова		один из идиолектов дер. Калливере		один из идиолектов дер. Федоровка	
	спать	читать	спать	читать	спать	читать
Императив 2Pl	maatkaa	**lukekaa**	maatka	**lukeka**	maatkaa	**lukekaa**
Имперфект	**makasin**	luin	**makasin**	luin	**makasin**	luin
Причастие имперфекта (активное)	maant	**lukent**	<u>**makant**</u>	**lukent**	maant	<u>luent</u>
Имперфект имперсонала	maataa	luetaa	maata	lueta	maataa	luetaa

Таблица 4

	консервативные идиолекты	идиолект с инновацией
NomSg	kätüt	kätüt
NomPl	**kätköt**	**kätköt**
PartSg	kätütt	<u>**kätkött**</u>
InessSg	**kätkös**	**kätkös**

2. Иллатив

Иллатив в ПФЯ Западной Ингерманландии отличается обилием алломорфов, причем их набор может варьироваться в зависимости от диалекта. Мы рассмотрим здесь только иллатив единственного числа. Выбор алломорфа зависит от типа основы имени в косвенных падежах, причем можно выделить 3 основных таких типа: основы на краткий гласный, так называемые стяженные основы (в большинстве ПФЯ Западной Ингерманландии это двух- и более -сложные основы на долгий гласный, возникшие в результате выпадения h или *γ), и односложные основы на долгий гласный или дифтонг. Наиболее частотными алломорфами, встречающиеся в разных частях Ингерманландии, являются -hV(n), -h, -sse, -see/-sõõ, а также удлинение конечного гласного (VV) и (если возможна) общая геминация. Несколько упрощая картину, общую геминацию (ОГ) в ПФЯ Ингерманландии можно описать как удвоение одиночного согласного в начале четного слога перед долгим гласным (или дифтонгом), причем предшествующий слог должен быть кратким, то есть оканчиваться на краткий гласный (но не на согласный и не на долгий гласный или дифтонг). Таким образом, общая геминация наблюдается при образовании иллатива от koti ‘дом’, иллатив kottii ‘в дом’, но отсутствует в koira ‘собака’, иллатив koiraa ‘в собаку’. Следует иметь в виду, что в ряде говоров, в особенности вблизи от границы с Эстонией, наблюдается сокращение долгих гласных дальше первого слога, и наличие общей геминации может оказаться единственным признаком, отличающим иллатив от номинатива. Дистрибуция наиболее распространенных алломорфов по важнейшим типам склонения и по ареалам показана в Таблице 5. Следует отметить, что в крайней западной части Ингерманландии (приходы Нарвуси, Сойккола и Каттила) наблюдается большая диалектная дробность, чем в финских говорах, расположенных восточнее. Несмотря на то, что между этими говорами тоже существуют определенные отличия, способы образования иллатива в них очень близки, и мы можем рассматривать вместе. Данные финские говоры, распространенные восточнее приходов Нарвуси, Каттила и Сойккола, мы будем называть среднезападными говорами. См. Таблицу 5.

Таблица 5

	основы на краткий гласный	стяженные основы	односложные основы на долгий гласный
Большая часть ПФЯ нижней Луги	ОГ+VV	-ss(e)	-hV(n)
Водский говор дер. Лужицы	ОГ	-je/-jõ	-hhV
Водский говор дер. Краколье	-se/-sõ	-se/-sõ	-hVse/-hVsõ
Финский говор дер. Дубровка	ОГ+-s	-s	-hVss
Финский говор дер. Финская Рассия (приход Каттила)	-sse	-sse	-hV
Среднезападные финские говоры	ОГ+VV	-he(n)	-hV(n)

Кроме указанных вариантов, в первых двух типах склонения могут употребляться и конкурирующие, которые встречаются только у части информантов. Их дистрибуция показана только в нижнелужских финских и ижорских говорах и в среднезападных финских говорах. См. Таблицу 6.

Таблица 6

	основы на краткий гласный	стяженные основы	односложные основы на долгий гласный
Большая часть ПФЯ нижней Луги	ОГ+VV, -sse	-ss(e), ОГ+VV	-hV(n)
Среднезападные финские говоры	ОГ+VV, -he(n), -h, ОГ+VV+n, VV+n	-he(n), -h, -se, ОГ+VV, ОГ+VV+n -seen	-hV(n), -h

Фрагменты парадигм имен трех рассматриваемых типов склонения в среднезападных финских говорах приведены в Таблице 7, в качестве образца взяты существительные tupa ‘изба’, vene ‘лодка’, puu ‘дерево’:

Таблица 7

	основы на краткий гласный	стяженные основы	односложные основы на долгий гласный
NomSg	tupa	vene	puu
GenSg	tuvan	venneen	puun
IllatSg	tuppaa, tuppahe(n), tuppah, tuppaan, tupaan	venneehe(n), vennee, venneen, venneeh, venneese, venneeseen	puuhu(n), puuh

В среднезападных финских говорах у стяженных имен помимо перечисленных в Таблице 7 могут также встречаться и формы с сократившимся гласным второго слога, а также без общей геминации, например veneeseen, venneh.

У имен на краткий гласный доминирующими являются формы с удлинением гласного и общей геминацией вида tuppaa, которые представлены почти во всех обследованных деревнях. Формы вида tuppahe(n) географически представлены гораздо меньше, хотя в некоторых идиолектах они встречаются чаще, чем формы с геминацией. В основном они тяготеют к южной части Ингерманландии (приходы Коприна и Лиисиля), хотя отдельные случаи употребления отмечены также в приходах Молосковица и Купаница. Формы вида tuppah сконцентрированы в приходе Молосковица, в дер. Брюховицы, Тресковицы, Сяглицы и Горки, причем в первой из указанных деревень формы вида tuppaa вообще отсутствуют. Наконец, формы с конечным -n встречаются очень редко у информантов с сильным влиянием литературного финского языка.

У стяженных имен основными вариантами являются формы вида venneehe(n) и vennee, с преобладанием первой. В значительной части деревень у стяженных имен встречаются иллативы обоих типов. Тем не менее, в некоторых деревнях нами были отмечены только формы вида vennee, lampaa. Эти деревни находятся на значительном расстоянии друг от друга. Деревни, в которых встречаются формы обоих типов, составляют примерно 40% всех обследованных деревень, причем эти деревни соседствуют с теми, в которых встречаются только иллативы

первого типа. Формы на -h представлены в тех же деревнях прихода Молосковицы, что и аналогичные иллативные формы имен на краткий гласный. Формы вида venneese и venneeseen встречаются гораздо реже, в основном в отдельных деревнях Гатчинского района, не образующих сплошного ареала. Во всех таких деревнях такие формы конкурируют с более употребительными иллативами вида venneehe(n) и vennee. Наконец, вариант venneen встречается только у отдельных информантов.

Влиянием финского литературного языка, на наш взгляд, можно объяснить употребление таких иллативов, как tupaan, tuppaan, venneese, venneeseen, venneen. Эти формы являются либо прямыми заимствованиями из литературного финского, как tupaan, либо контаминированными. Формы на -h характерны для небольшого ареала в приходе Молосковица, где они распространились по аналогии на все типы склонения. Мы не можем сказать что-либо определенное о времени возникновения данной особенности; возможно, что она является достаточно древней локальной особенностью.

В отношении же двух основных вариантов как у имен на краткий гласный (tuppaa, tuppahe(n)), так и у стяженных имен (venneehe(n), vennee) можно сказать, что во многих локальных говорах идет процесс унификации форм иллатива, причем выравнивание может происходить в обе стороны, хотя выравнивание стяженных имен по именам на краткий гласный представлено чаще. Колебания могут встречаться и у наиболее компетентных инфорантов. По-видимому, в более ранний период у имен на краткий гласный иллатив образовывался по типу tuppaa, а у стяженных имен с помощью показателя -he(n), а впоследствии начались процессы выравнивания. Тем не менее остается неясным, обусловлены ли эти процессы языковым сдвигом или какими-либо ареальными влияниями.

На нижней Луге вариативность форм иллатива значительно меньше, причем больше всего аномальных форм зарегистривано в финских говорах Курголовского полуострова. Эти формы отражены в Таблице 8.

Таблица 8

	основы на краткий гласный	стяженные основы	односложные основы на долгий гласный
NomSg	tupa	vene	puu
GenSg	tuvan	venneen, vennen	puun
IllatSg (Курголовский полуостров)	tuppaa, tuppa, tupasse	venneess(e), venness(e), vennee, venesse	puuhu
IllatSg (прочие нижнелужские говоры)	tuppaa, tuppa	venneess(e), venness(e), vennee	puuhu

Аномальные иллативы вида vennee не образуют на нижней Луге сплошного ареала, они представлены там только у отдельных информантов со сравнительно невысокой СВЯ. Наиболее компетентные информанты, как ижороязычные, так и финноязычные, оценивают такие формы как неправильные, что позволяет связать их появление с языковым сдвигом. Особенностью Курголовского полуострова являются иллативы вида tupasse, venesse, образуемые от формы номинатива. Эти формы могут конкурировать с иллативами других типов и встречаются далеко не у всех информантов. Поскольку иллативы такого рода известны в эстонском языке, то их появление в курголовских финских идиолектах, по-видимому, связано с влиянием эстонского языка.

3. Партитив

Как и иллатив, партитив имеет несколько алломорфов, причем их дистрибуция по типам склонения может отличаться в разных говорах. В единственном числе показатели партитива могут присоединяться к разным основам в зависимости от типа склонения (на краткий или долгий гласный, на согласный), причем выбор алломорфа отчасти может быть предсказан характером основы. Однако в большинстве случаев даже у информантов с невысокой СВЯ аномальные формы не встречаются. Колебания затрагивают в основном два типа склонения: имена на -si и

стяженные имена на -е (исторически последняя группа восходит к именам на *-k и *-h). Приведем фрагменты парадигм имен kana 'курица' (имена с основой на краткий гласный кроме -е), susi 'волк' и pere 'семья' (стяженные имена на -е) в курголовском финском. См. Таблицу 9.

Таблица. 9

	курица	волк	семья
NomSg	kana	susi	pere
GenSg	kanan	suen	perreen
PartSg	kannaa	sutta	perettä

Имена с основой на любой краткий гласный кроме -е образуют партитив с помщью удлинения гласного и общей геминации. В части ижорских говоров и в существующих сейчас водских говорах показателем партитива является -а, присоединяющийся к сильноступенной основе и общая геминация (в водском говоре дер. Краколье общая геминация встречается реже, чем в других ПФЯ нижней Луги). У имен на -si в качестве показателя партитива выступает -ta/-tä, присоединяющийся к особой основе, а стяженные имена на -е присоединяют показатель -tta/-ttä к форме номинатива. В идиолектах некоторых информантов со сравнительно невысокой СВЯ вместо форм sutta, perettä встречаются susia или sussii 'волка' и perree 'семьи', образованные при помощи общей геминации и удлинения гласного. Идиолекты с такими формами не образуют сплошного ареала, что также может указывать на связь этих форм с процессом языкового сдвига. Обращает на себя внимание тот факт, что выравнивание форм партитива единственного числа происходит в пользу имен с основой на краткий гласный, причем и для форм иллатива единственного числа, как было показано в предыдущем разделе, более характерно именно такое направление выравнивания.

Формы партитива множественного числа представляют собой очень пеструю картину со значительным варьированием даже внутри одного идиолекта, и полное описание возможных форм партитива в разных говорах ПФЯ Западной Ингерманландии выходит за рамки данной ста-

тьи. Мы коснемся только одного примера экспансии одного из алломорфов в финских и ижорских говорах Курголовского полуострова.

В части идиолектов Курголовского полуострова имена с основой на краткий гласный могут образовывать партитив множественного числа четырьмя разными способами: -j-a, -i, -i-t, -i-ta (например NomSg mato ‘змея’, PartPl matoja, matoi, matoit, matoita ‘змей’), для стяженных имен характерными являются только последние три (например NomSg lammas ‘овца’, PartPl lampai, lampait, lampaita ‘овец’). В большей части местных идиолектов, однако, среди стяженных имен наибольшее распространение получили формы на -j-a, например lampaja ‘овец’, vennejä, venejä ‘лодок’, не отмеченные в более ранних описаниях ни в нижнелужском ижорском (Лаанест 1966: 110), ни в нижнелужском финском (Leppik 1975: 49). В описаниях Лаанеста и Леппик вариативность заметно ниже, особенно в финских говорах. Таким образом, распространение показателя, характерного в первую очередь для имен с основой на краткий гласный, на другие типы склонения произошло, по-видимому, уже после начала языкового сдвига и обусловлено именно им, хотя определенную роль могли сыграть и междиалектные влияния.

4. Кондиционал

Еще одним интересным примером изменений является кондиционал. В финских и ижорских говорах Западной Ингерманландии, в отличие от водского языка, кондиционал имеет два основных алломорфа: -isi-/-si-[5], сочетающийся с основами большинства глагольных типов, и -jäisi-/-jaisi-, сочетающийся с основами стяженных и рефлексивных глаголов. В водском ситуация более сложная. В исчезнувших к настоящему времени водских говорах прихода Каттила все типы глаголов имели кондиционал на -isi-/-izi- (Ariste 1948), однако в сохранившихся до настоящего времени говорах дер. Краколье, Пески и Лужицы были представлены оба варианта (а также комбинированные варианты -iseizi- и -jäiseizi-) с довольно сложной дистрибуцией этих вариантов по типам и наличием

[5] Дистрибуция вариантов -si и -isi весьма сложна. Ее обсуждение выходит за рамки данной статьи. Подробнее об этом см. (Галахова 1990).

дублетных форм (подробнее см. Агранат 2004). Поскольку эти формы отмечались еще в водской грамматике Цветкова, то их появление скорее всего связано с влиянием ижорского языка (Маркус 2006: 100–104).

Довольно распространенным случаем в современных финских и ижорских говорах Западной Ингерманландии является «экспансия» одного из показателей кондиционала на «чужие» для него глагольные типы, причем обобщаться может как-isi-/-si-, так и -jäisi-/-jaisi. Тем не менее, гораздо чаще встречается обобщение первого, а не второго показателя, что может быть объяснено как его большей распространенностью, так и аналогией с формами имперфекта. Дело в том, что для стяженных и рефлексивных глаголов (а в нижнелужском ижорском диалекте и для многих глаголов с основой на -u, -o, -ü, -i) характерен показатель имперфекта -si- (или -zi-), и распространение показателя кондиционала -si-/-isi- на стяженные и рефлексивные глаголы способствует сближению кондиционала и имперфекта, которое, в свою очередь, может быть поддержано влиянием русского языка. Некоторые информанты употребляют при формах кондиционала и заимствованный из русского языка показатель *бы*. В качестве иллюстрации приведем фрагмент парадигм глаголов olla 'быть', antaa 'дать', muata/maata 'спать', pessissä 'мыться' в идиолектах наиболее консервативных информантов (даны формы 1Sg, через запятую приведены формы, представленные в разных говорах). См. Таблицу 10.

Таблица 10

Инфинитив	olla	antaa	muata, maata	pessissä
Презенс	olen, uon, oon	annan	makkaan	pessiin
Имперфект	olin	annoin, annin	makasin	pes(s)isin
Кондиционал	olisin, oisin	anta(i)sin	makajaisin	pes(s)ijäisin

В тех идиолектах, где обобщился показатель -si-/-isi-, парадигмы приняли следующий вид (Таблица 11):

Таблица 11

Имперфект	olin	annoin, annin	makasin	pes(s)isin
Кондиционал	olisin, oisin	anta(i)sin	maka(i)sin (by)	pes(s)isin (by)

В идиолектах, для которых характерно выравнивание по стяженным и рефлексивным глаголам, парадигмы имеют такой вид (Таблица 12):

Таблица 12

Имперфект	olin	annoin, annin	makasin	pes(s)isin
Кондиционал	olijaisin	antajaisin	makajaisin	pes(s)ijäisin

Следует иметь в виду, что даже в идиолекте одного информанта могут наблюдаться колебания, и выровненные по аналогии формы могут конкурировать с исконными. В одной деревне также могут быть представлены идиолекты как с выравниванием, так и без выравнивания. В целом для более компетентных информантов выравнивание мало характерно, однако спорадически оно может встречаться и среди носителей с высокой СВЯ. Географически идиолекты с выравниванием не образуют сплошного ареала, причем в одной и той же деревне могут встречаться идиолекты с разными показателями кондиционала (дер. Пежевицы, Греблово).

Таким образом, есть основания считать выравнивание форм кондиционала обусловленным именно языковым сдвигом, а не влиянием других ПФЯ.

5. Распад непродуктивных словоизменительных типов

Этот процесс представлен почти исключительно в именном словоизменении, возможно вследствие большого числа подтипов, представленных небольшим числом имен. Почти во всех случаях происходит переход в тип с основой на краткий гласный, для которого характерно наличие только одной основы для всех падежей (не учитывая сильноступенных и слабоступенных вариантов). Для большинства непродук-

тивных типов характерно наличие двух основ в единственном числе, соотношение между которыми довольно часто является нетривиальным, например lammas 'овца' (основа косвенных падежей lampaa-), suae 'дождь' (вторая основа sattee-), kätküt 'колыбель' (вторая основа kätküve-). Обобщаться на всю парадигму может как основа косвенных падежей, так и основа, представленная в номинативе и партитиве.

В качестве примера генерализации косвенной основы можно привести парадигмы прилагательного lühüt/lüh(ü)vä 'короткий' (Таблица 13):

Таблица 13

	консервативные идиолекты	идиолекты с генерализацией	идиолекты с неполной генерализацией
NomSg	lühüt	lühüvä, lühvä	lühüt
GenSg	lühüvän, lühvän	lühüvän, lühvän	lühüvän, lühvän
PartSg	lühüttä	lühüvää, lühvää	lühüvää, lühvää
InessSg	lühüväs, lühväs	lühüväs, lühväs	lühüväs, lühväs
NomPl	lühüvät, lühvät	lühüvät, lühvät	lühüvät, lühvät

У некоторых информантов может сохраняться старая форма номинатива единственного числа, в то время как партитив подстраивается под остальные падежи.

Идиолекты с генерализацией представлены довольно широко, хотя в нижнелужском ижорском они встречаются сравнительно редко. В финских говорах они представлены гораздо шире, что, возможно, следует объяснить более ранним началом процесса выравнивания, чем в ижорском языке.

Примером генерализации формы номинатива может служить парадигма существительного tuahe/taahe 'навоз' (Таблица 14):

Таблица 14

	консервативные идиолекты	идиолекты с генерализацией	идиолекты с неполной генерализацией
NomSg	tuahe, taahe	tuahe, taahe	tuahe, taahe

GenSg	tatteen	tuahen, taahen	tuahen, taahen
PartSg	tuahetta, taahetta	tuahee, taahee	tuahetta, taahetta
InessSg	tattees	tuahes, taahes	tuahes, taahes
NomPl	tatteet	tuahet, taahet	tuahet, taahet

У многих информантов может сохраняться старая форма партитива единственного числа, для которой характерен особый алломорф партитива -tta/-ttä.

Идиолекты с полной генерализацией встречаются довольно редко, в то время как идиолекты с сохранением старой формы партитива представлены очень широко. Консервативные идиолекты представлены менее широко, в частности, они почти полностью отсутствуют в приходе Молосковица, в том числе и в дер. Пежевицы, для жителей которой характерна высокая степень владения языком.

Хотя в подавляющем числе случаев происходит переход в тип одноосновных имен с основой на краткий гласный (при этом почти все чередования, за исключением общей геминации, исчезают), в отдельных случаях может происходить и переход в другие достаточно распространенные типы. В качестве примера можно привести фрагменты парадигм существительных avvain ‘ключ’ (имена на *m), hepoin ‘лошадь’ (имена на *nen) в одном из идиолектов дер. Липово (нижнелужский ижорский) (Таблица 15). Для сравнения приведены парадигмы первого из этих существительных в идиолектах дер. Ванакюля (Таблица 16).

Таблица 15

		Sg	Pl
ключ	Nom	avvain	avvaiset
	Part	avvaista	avvaisii
лошадь	Nom	hepoin	hepoiset
	Part	hevoista	hepoisii

Таблица 16

Информант		Sg	Pl
1	Nom	avvane	avvameD
	Part	avvant	avvamei
2	Nom	avvan	avvanet
	Part	avvant	avvanii
3	Nom	avvan	avvanet
	Part	avvanet	avvaneit

Заслуживает внимания и то, что в идиолектах дер. Ванакюля также идут процессы выравнивания, причем в каждом идиолекте по-разному.

Следует отметить, что подобные процессы, хотя и интенсифицировались в ходе языкового сдвига, по-видимому, проходили в ПФЯ Западной Ингерманландии и ранее. В частности, в говоре. дер. Краколье уже в словаре Цветкова (Tsvetkov 1995) отмечаются колебания в парадигме существительного lähe~lähte 'родник', связанные с переходом это существительного из типа стяженных имен на -е в тип имен с основой на краткий гласный.

Заключение

В данной статье мы описали некоторые из изменений в морфологии и морфонологии ПФЯ Западной Ингерманландии, произошедшие сравнительно недавно. Следует отметить, что в текстах середины XX века большинство описанных изменений не отмечены. Как было показано выше, одно и то же явление может получать разную интерпретацию в зависимости от конкретного говора. Наши материалы в целом подтверждают высказывавшееся многими исследователями утверждение, что изменения при языковом сдвиге принципиально не отличаются от изменений в ходе «нормальной эволюции», а отличия заключаются в скорости и интенсивности процессов. Однако для ПФЯ Ингерманландии можно утверждать, что определенные диагностические критерии все-таки могут быть сформулированы. Одним из таких критериев, на наш

взгляд, является массовое нарушение правил чередования ступеней, в особенности разрушение таких чередований, которые существуют во всех ПФЯ Ингерманландии, финском и эстонском литературных языках.

Елена Перехвальская [1]

Диалектные различия как результат языкового сдвига (бикинский диалект удэгейского языка) [2]

Удэгейцы – один из самых малочисленных народов России. По данным переписи 2002 года их насчитывалось 1657 человек[3]. Около 15 лет назад А.Е. Кибрик отнес удэгейский язык к группе смертельно больных языков (Кибрик 1991/2001), и с тех пор ситуация только ухудшилась. Сегодня по-удэгейски говорят несколько десятков человек в трёх посёлках, местах компактного проживания удэгейцев, причем два из пяти существовавших до недавнего времени диалекта, по-видимому, окончательно утрачены. Кроме того, все, кто ещё знает удэгейский язык, двуязычны, и русский является для них доминирующим. Таким образом, мы имеем дело с далеко зашедшим языковым сдвигом. Известно, что такая ситуация неизбежно приводит к изменениям на всех языковых уровнях[4]. Об изменении удэгейского языка под влиянием русского мы уже писали (Nikolaeva, Perekhvalskaya 2001; Перехвальская 1991); в сущности, в этой ситуации находятся практически все малые языки Сибири и Дальнего Востока, с той лишь разницей, что отдельные языки могут демонстрировать разные этапы того же самого процесса. Однако в случае с удэгейским языком ситуация несколько иная – южные группы удэгейцев (иманская и бикинская), испытали на себе значительное

---

[1] Елена Всеволодовна Перехвальская, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург. elenap96@yandex.ru

[2] Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 06-04-00575а («Языковая карта России: Язык российско-китайского пограничья»), проект № 06-04-00575а.

[3] По этим же данным из 1657 человек, назвавшихся во время переписи удэгейцами, лишь четыре человека (два в Приморском и два в Хабаровском краях) отрицали знание русского языка.

[4] Нет возможности приводить всю литературу, посвященную языковому сдвигу, отошлю к обзору этой проблематики в книге Н.Б. Вахтина (Вахтин 2001), а также в статье К.В. Викторовой в настоящем издании.

влияние со стороны китайского языка и лишь позднее попали в сферу влияния русского. При этом влияние китайского языка и культуры на южные группы удэгейцев было настолько сильным, что следует констатировать: в первой половине XX века носители южных диалектов удэгейского языка уже находились в ситуации языкового сдвига, это был сдвиг в сторону *китайского* языка. Этот процесс проходил очень быстро, так что жившие на самом юге территории группы удэгейцев быстро утратили свой титульный (этнический) язык и многие элементы традиционной культуры. Представляется, что значительная часть языковых черт, отличающих южные диалекты удэгейского языка от северных, обязаны своим появлением влиянию китайского языка. Данная работа является попыткой ответить на следующие вопросы: (1) когда начался языковой сдвиг у разных территориальных групп удэгейцев; (2) чем был этот сдвиг вызван; (3) как именно он происходил; и (4) в чем проявилось влияние китайского языка на южные диалекты удэгейского.

I. История языковых контактов в Приморье

Приморье – территория, окончательно присоединенная к России по Айгунскому мирному договору в 1858-1860 гг. Она ограничена реками Амур с севера и Уссури и Ваку (Малиновка)[5] – с запада, а также Японским морем с востока. Южная часть Приморья ранее имела достаточно неопределенное международное положение, она фактически не контролировалась ни китайскими, ни российскими властями. Этот факт оказался очень важным для судьбы южных групп тунгусских народов.

До присоединения Приморья к России население Уссурийского края было немногочисленным. Тут проживали главным образом, тунгусо-маньчжурские народы, прежде всего удэгейцы (по морскому побережью

---

[5] 26 декабря 1972 г. в соответствии с постановлением Верховного совета «О переименовании некоторых районов, городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в Приморском крае» были переименованы также многие реки. Причина переименований – события марта 1969 г. на о-ве Даманский (советско-китайский военный конфликт). Переименованию подверглись не только китайские, но и многие тунгусо-маньчжурские топонимы. Местное население как правило, пользуется старыми названиями. Мы сохраняем исторические названия: Ваку (Малиновка) и Иман (Большая Уссурка).

и мелким таежным рекам) и нанайцы (по рекам Уссури и Ваку). Родственные народы населяли также левые притоки Уссури (территория современного Китая), где на реке Сунгари засвидетельствованы *солоны* (солонский язык по некоторым данным является диалектом *нанайского* языка). Наличие иных тунгусо-маньчжур–ских народов по левым притокам Уссури нам неизвестно. По подсчетам Н.А. Пальчевского на 1894 год по реке Иман жило орочен[6] (не считая гольдов, то есть по современной номенклатуре – нанайцев) 199 мужчин и 148 женщин, по реке Ваку – 49 мужчин и 34 женщины (Браиловский 1901: 14). Оценка количества удэгейцев, живущих по реке Хор – не более 500; по реке Бикин – 250–350 человек (Браиловский 1901: 46-47). По подсчетам И.П. Надарова, по реке Иман в 1880 году была 21 китайская фанза, 1 фанза солона, 2 дома оседлых ороченов; всего оседлых было 114 человек. «Бродячих» семейств – от 15 до 20 (т.е. 75-120 человек). По словам местных жителей, до эпидемии оспы по Иману жило до 80 семей, т.е. 300-400 человек. На момент подсчетов все население Приморья (орочены, гольды, китайцы, русские за исключением уссурийских казаков) составляло 1170 человек. (Надаров 1887: 26-55).

Уссурийский край до присоединения к России был формально частью исторической Маньчжурии, причем ее дальней окраиной. При династии Цин собственно китайское население (*хань*) в Маньчжурию не допускалось маньчжурской же имперской администрацией, по-видимому, опасавшейся многочисленности этнических китайцев, и стремившейся к сохранению маньчжурского этноса (Quested 1984; Сорокина 1999). Вследствие этого еще в середине XIX века Маньчжурия была запретным местом для китайских переселенцев и оставалась малозаселенной, южная же часть уссурийского края, практически не контролировавшаяся китайской администрацией[7], стала местом, где постепенно

---

[6] Это название было дано Лаперузом (см. Шренк 1883: 142). Оно является ошибочным, так как восходит к тунгусскому названию северного оленя *оrо*. Ни удэгейцы, ни орочи не занимались оленеводством.

[7] «О восточных границах империи, о местах пограничных знаков далее Амгуни <…> в китайской литературе, да и вообще нигде не упоминается. Таким образом, и Амурский-то край китайцы почти совсем не знали, и только появление

накапливались выходцы из Китая – беглые преступники, разного рода авантюристы, разорившиеся крестьяне. К моменту присоединения Приморья к России здесь уже проживали до трех тысяч китайских подданных, из которых около 900 человек жили оседло по притокам Уссури, а остальные бродили по тайге в поисках женьшеня и золота, занимались охотой и рыболовством (Сорокина 1999).

Таким образом тунгусо-маньчжурские народы, жившие на юге Приморья, оказались очень рано затронуты культурным и языковым влиянием извне. Даже населения севера Приморья достаточно рано начало контактировать с Китаем, хотя эти контакты могли быть опосредованными – через сородичей, живших южнее, очевидным образом, существовал обмен товарами[8].

Значительное влияние китайского языка на юге Приморья привело к быстрой языковой и культурной ассимиляции, и уже к началу XX века этот процесс был практически завершен.

Вскоре после присоединения Приморья к России Цинское правительство отменило законы, запрещавшие китайцам селиться в Маньчжу–рии, что было вызвано опасениями, что эту пустынную область захватит Россия (Сорокина 1999); русская администрация в свою оче–редь не препятствовала въезду китайцев на территорию Приморья, поскольку первоочередной задачей было заселение этой пустынной области. Действительно, Приморье начало активно заселяться различными этническими группами – здесь селились корейцы, русские староверы, а с конца XIX века началось переселенческое движение из европейской части Российской империи, особенно из южных областей и с Украины. Значительно возросло и количество переселившихся в Приморье китай-

---

в этой стране русских заставило их обратить на нее свое внимание. Уссурийский же край находился в стороне, и о нем китайцы знали еще меньше, чем об Амурской области» (Арсеньев 1914).

[8] Об этом, в частности свидетельствуют находки матросов Лаперуза в бухте Терней: в лесу, недалеко от берега, они обнаружили наземное захоронение, где рядом с покойной находились положснные в гроб вещи, в том числе мешочек с рисом (см. Венюков 1952: 185). Рис мог появиться в районе бухты Терней только из Китая, и, по-видимому, был дорог.

цев: к 1900 году их было здесь уже около 36 тысяч человек (Сорокина 1999). Отличие китайской миграции от миграций других групп заключалось в том, что из Китая приезжали только мужчины, поскольку по китайским законам женщины не могли покинуть пределы государства. Сюда по-прежнему приходили торговцы, скупщики женьшеня, пантов и пушнины, либо полу- или полностью люмпенизованные элементы, преступники, скрывавшиеся от закона и т.п. В конце XIX– начале XX вв. во внутренних районах Приморья, а также Приамурья власть фактически была в руках китайских купцов (Арсеньев 1914).

Большинство китайцев лишь временно находились в Приморье и со временем возвращалось Китай, однако некоторые оставались в Приморье и брали в жены местных женщин – удэгеек и нанаек. Сравнительная простота таких браков, по сравнению, скажем, с возможностью жениться на русской женщине, определялась традиционным обычаем коренных тунгусских народов покупать невесту (родителям уплачивался калым). Многие китайцы таким образом женились и заводили семьи. Дети от этих браков также считались китайцами, поскольку как по представлениям китайцев, так и по представлениям коренных народов Приморья родовая / этническая принадлежность ребенка всегда определялась по отцу.

Языком домашнего общения в смешанных семьях неизменно оставался китайский. По свидетельству Н.П. Кукченко, китайцы никогда не выучивали местный (удэгейский или нанайский язык), а говорили исключительно по-китайски. Так происходило даже в отдаленном стойбище Митахеза, расположенном в верхнем течении р. Бикин, где преобладало удэгейское население. Данный факт свидетельствует о том, что китайский язык, равно как и китайская культура, пользовался бóльшим престижем. Таким образом, очевидно, что китайцы оказались доминирующей (более престижной) группой во внутренних районах Приморья, куда еще практически не проникало русское население, если не считать отдельно селившихся староверов.

Китайцы и хозяйственная деятельность. По-видимому, в центральную часть и на север Приморья (Имана, Бикина) китайцы приходили прежде всего в поисках женьшеня. По крайней мере, граница области активной миграции китайцев практически совпадает с границей распространения женьшеня. Так, китайцы не проникали в долину реки Хор, а по Бикину не поднимались до верховий, где женьшень уже не встречается[9].

Китайцы в большинстве своем не перенимали хозяйственных навыков и занятий местного населения, а заводили хозяйство китайского образца. Они строили китайские фанзы (дома с земляным полом под соломенной крышей) с отоплением в виде канов, занимались огородничеством, разводили свиней, коров, занимались также выращиванием опиумного мака. Китайцы употребляли опиум и варили ханшин (самогон). Они также поклонялись своим божествам, устраивали кумирни, праздновали восточный Новый год. Окружающее население быстро перенимало эти обычаи. В обиход вошли новые хозяйственные орудия и инструменты, одежда. Благодаря обмену товарами в рационе удэгейцев и нанайцев появились новые продукты, изменилось соотношение мяса и рыбы, с одной стороны, и продуктов растительного происхождения, с другой. Распространилось употребление опиума и ханшина.

Следует отметить, однако, что собственно удэгейские семьи продолжали держаться своих традиционных промыслов, занимаясь охотой и связанной с ней добычей пантов и мускусных желез кабарги, рыбной ловлей и заготовкой рыбы, сбором женьшеня, собирательством. Многие семьи продолжали вести полукочевой образ жизни, перебираясь с места на место (однако на достаточно ограниченной территории).

Посёлки. Постоянные поселения по рекам Иман и Бикин возникли ещё до того, как жившие севернее удэгейцы и нанайцы были сселены в

---

[9] «Охотничьи и промысловые районы китайцев занимают всю южную и среднюю часть Уссурийского края. Северную границу этих районов можно изобразить кривою, идущей почти от Хабаровска через низовья Хора по реке Кетыкен, через верховья Бикина и за водоразделом по реке Нахтоху к мысу Гиляк» (Арсеньев 1914).

поселки в 1930е годы. Это произошло отчасти под влиянием оседло живших китайцев. В среднем течении Бикина к 1930м годам уже существовали следующие постоянные населенные пункты: Верхний Перевал, Олон, Сяин, Митахеза. В верхнем течении Имана это были Сидатун (совр. Мельничное), Картун (совр. Вострецово), Санчихеза, Вахомбе (совр. Дальний Кут) и др. Китайцы и корейцы жили в Верхнем Перевале, в Сидатуне, Картуне. Китайцы составляли основное население сел Олон на Бикине и Вахомбе на Имане. В Сяине, расположенном на Бикине выше Олона, а также в Санчихезе китайцев было мало, и лишь единицы, бессемейные старики, жили в Митахезе, расположенной еще выше по течению реки.

При этом, как уже говорилось, китайцы не говорили ни по-удэгейски, ни по-нанайски, так что жившие с ними бок о бок представители местных народов вынуждены были в какой-то мере осваивать китайский язык, поэтому дети, выросшие даже в Митахезе, понимали по-китайски и были способны к коммуникации на этом языке.

Тазы. Южнее Бикина, Имана и Ваку ассимиляционные процессы к 1930 гг. уже закончились (см.: Арсеньев 2004; Фадеев 1938). К 1930м годам удэгейцы и нанайцы, жившие к югу от долины Имана, полностью перешли на китайский язык и переняли китайские способы ведения хозяйства, обычаи и верования. В этот период большая часть их была сселена в пос. Михайловка (Ольгинский район), бывшую корейскую деревню, опустевшую после того, как корейцы были выселены из Приморья. Эти перешедшие на китайский язык нанайцы и удэгейцы образовали новую «этническую группу» *тазы*[10]. Тазы, в отличие от собственно китайцев, не подверглись выселению из Приморья в 1930е годы, в частности благодаря деятельности В.К. Арсеньева, хорошо знакомого с ис-

---

[10] Этот этноним восходит к китайскому *da-dze* "варвар, житель Приморья", среди них китайцы выделяли *ju*j-pi da-dze* «рыбокожих варваров», т.е. нанайцев. Впоследствии этноним *тазы* был переосмыслен как множественное число слова *таз*, появилась и форма женского рода *тазовка*. Именно эти термины и стали использоваться как паспортная запись.

торией формирования этой этнической группы. «Родным»[11] языком тазов был один из говоров северо-восточного диалекта китайского языка (Беликов, Перехвальская 2003). Тазы, однако, отличались от собственно китайцев многими чертами уклада и хозяйственной деятельности. В их жизни по-прежнему большое место занимает охота, причем женщины принимают в ней активной участие; тазы едят сырое мясо и рыбу, сушат юколу и т.п.

Нанайцы, жившие по реке Ваку, в большинстве своем также ассимилировались, утратив родной язык; часть из них, имевшая в паспортах запись *гольд, гольдячка*[12], были сселены в с. Михайловка вместе с тазами. В настоящее время эти две группы слились и различаются лишь записью в графе «национальность», сохранившейся в похозяйственных книгах. В переписях *тазы* и *гольды* обычно считались вместе с *нанайцами*.

Языковой сдвиг в Приморье, начавшийся еще в середине XIX века или даже ранее, был связан с утратой местных тунгусо-маньчжурских языков под воздействием китайского языка, и происходил с различной интенсивностью у разных территориальных групп. Разные группы нанайцев и удэгейцев в 1930е годы находились на разных ступенях языкового сдвига:

---

[11] О неоднозначности термина «родной язык» см., напр., (Вахтин 2001).

[12] Этноним *гольд* является дореволюционным названием *нанайцев*. В 1930е годы повсеместно происходила замена старых этнонимов на новые, в качестве которых использовалось обычно самоназвание данного народа. При этом в западной, в том числе англоязычной литературе, по-прежнему часто используются старые названия: *samoyed* "ненцы", *gilyak* "нивхи" и т.д. Очевидно, что паспортная запись *гольд* свидетельствует о том, что ни работники местной паспортной службы, ни получающие паспорт, не знали о том, что это старое название нанайцев. По предположению М.А. Пифалун (имевшей такую запись), слово *гольд* было выдумано украинцами, жившими в соседнем селе, которые хотели намекнуть на то, что *гольды* часто *голодали*. Следует заметить, что в отличие от гольдов *тазы* получили соответствующие паспортные записи, поскольку уже не соотносили себя ни с нанайцами (или гольдами), ни с удэгейцами, а на вопрос о своей национальной принадлежности отвечали *dadze,* что по-китайски означает «житель Приморья».

- нанайцы и удэгейцы, живущие южнее долины Имана – полная утрата языка, культурная ассимиляция, утрата этнической идентичности;
- нанайцы с р. Ваку – утрата языка, культурная ассимиляция, сохранение этнической идентичности;
- удэгейцы с р. Иман – сильная языковая интерференция, широкое распространение китайского языка, значительная, но не полная культурная ассимиляция при сохранении этнического самосознания;
- нанайцы с р. Бикин – значительная языковая интерференция, широкое распространение китайского языка, значительная культурная ассимиляция, сохранение этнической идентичности;
- удэгейцы с р. Бикин – заметная языковая интерференция, активное знание китайского языка только у жителей с. Олон, пассивное знание китайского языка, ощутимая культурная интерференция, сохранение этнической идентичности;
- удэгейцы с р. Хор – наличие в языке китайских заимствований, знание китайского языка отсутствует, культурные и языковые заимствования не очень значительны и по существу являются опосредованными (полученными через удэгейцев других территориальных групп);
- удэгейцы и нанайцы, жившие по Амуру и его притокам не были затронуты китайским влиянием, ни языковым, ни культурным.

Таким образом, китайское влияние шло с юга на север и с запада на восток. Так, например, в бассейне Бикина китайское влияние было более интенсивным в нижнем течении, менее интенсивным – в верхнем течении. В то же время эти процессы происходили здесь менее интенсивно, чем южнее по течению Имана. Среди бикинских удэгейцев наименее затронутыми китайским влиянием оказались рода, жившие в верховьях Бикина (Геонка и Пионка).

Ассимиляция удэгейцев и нанайцев русскими[13] началась значительно позднее, уже в послевоенное время. **Русское языковое и культурное воздействие**, начавшееся в 1930е годы, шло в противоположном направлении. Хотя первыми оказались затронуты этим влиянием те, кто жил по Уссури и в нижнем течении рек Иман, Бикин, Хор (ближе к построенной в конце XIX века железной дороге Владивосток-Хабаровск), однако русское влияние распространялось скорее с севера на юг – со стороны Хабаровска, главного культурного и экономического центра Дальнего Востока. Так, русское культурное и языковое влияние затронуло в первую очередь хунгарийских удэгейцев, живших в районе железной дороги Совгавань–Комсомольск-на-Амуре и кур-урмийских удэгейцев, живших в районе, который с 1930х гг. стал местом ссылки. В результате эти группы, и ранее малочисленные, к настоящему времени перестали существовать. Удэгейцы из бассейна р. Хор, жившие значительно ближе к Хабаровску, в первую очередь подверглись интенсивной русификации, в то время как китайское влияние их затронуло лишь опосредовано.

Русское языковое и культурное влияние носило иной характер, чем китайское. Китайское влияние распространялось снизу – китайцы селились по одному между удэгейцами и нанайцами, иногда стоили одну-две фанзы на берегу реки, вокруг которых постепенно образовывались постоянные стойбища. Китайцы занимались традиционным для них огородничеством, удэгейцы и нанайцы охотились и заготавливали рыбу. Другими словами, происходил взаимовыгодный товарообмен. Интересно, что характер взаимоотношений с китайцами в литературе того времени, как правило, представляется как жестокая эксплуатация удэгейцев

[13] Под «русскими» следует понимать всех выходцев из европейской части России (русских, украинцев, белорусов, немцев, латышей – эти народы были представлены в бассейне Бикина и Имана), поскольку языком общения с коренным населением и между собой был именно русский, они же были носителями русской бытовой культуры и традиций. Различия их между собой в данном случае несущественны.

китайцами[14]. Сами же современные удэгейцы склонны трактовать их иначе. Так, в долине реки Бикин распространен сюжет о том, что в прошлом китайцы работали на удэгейцев, были их «рабами» (удэгейское заимствование из китайского *лоуди*, или *лоди*).[15] По-видимому, в действительности имели место различные формы взаимодействия, однако вряд ли отношения местных тунгусских народов, с одной стороны, и китайцев, с другой, были исключительно антагонистическими – тем более что китайцы, в отличие от всех остальных приезжих, быстро включались в жизнь коренных народов.

Русское языковое и культурное влияние шло в значительной степени «сверху» – в соответствии с установками Советского правительства относительно так называемых народов Севера[16]. В первую очередь, многие кочевые и полукочевые народы были насильственно превращены в оседлые. Во вновь созданных поселках открывались школы, больницы, сельские советы, организовывались колхозы. Все эти учреждения обслуживались русским языком, причем в его стандартном варианте[17].

Выселение китайцев. В 1938м году положение китайцев в Приморье коренным образом изменилось. Лица, не имевшие советского гражданства, выселялись из страны, в том числе и многие китайцы[18]. Китайцы, имевшие гражданство, высылалась из Приморья главным образом в Амурскую область. Другими словами, китайцы оказались одним из «репрессированных народов». Представители местных коренных народов переселению не подлежали. Это заставило многих из тех, кто считал

---

[14] Ср., например, В.К. Арсеньев «По уссурийскому краю» о стойбище Вахомбе (Арсеньев 1978: 126).

[15] Этим сведениям нельзя полностью доверять, так как в этих рассказах, безусловно, присутствует мотив мифологизации прошлого «когда все было лучше, чем сейчас».

[16] О происхождении этого термина см.: Вахтин 2001; Алпатов 1997b.

[17] Ср. обилие «канцеляризмов» в речи пожилых удэгейцев, плохо владеющих русским языком: *показание* в значении «доказательство, пример», *обучает* в смысле «учит» и т.п.

[18] В соответствии с указом наркома НКВД Н.И. Ежова от 22 декабря 1937 года из Дальневосточного края были высланы китайцы и корейцы, 25 тыс. корейцев и 11 тыс. китайцев были арестованы.

себя китайцем[19], записываться нанайцами, удэгейцами, тазами или гольдами. Это противоречило как китайским представлениям об этнической принадлежности ребенка, так и представлениям коренных народов, у которых ребенок принадлежал к роду отца, а не матери[20]. Поэтому факт регистрации национальности при паспортизации по матери или по бабушке был значительным отходом от традиционных представлений, и, безусловно, имел прагматический характер. Многие олонские «китайцы» получили фамилию Суляндзига, появился также «новый» удэгейский род – фамилия Сундига, образованная от китайской фамилии Сун.

Таким образом, дополнительным фактором, значительно ослабившим позиции китайского языка в Приморье, стал страх перед депортацией. В течение нескольких десятилетий люди боялись признаться в том, что являются китайцами, пусть даже лишь наполовину, а также скрывали владение китайским языком.

Депортация китайцев из Приморья к тому же окончательно разрушила связи между местным китайским языком, использовавшимся в бассейнах Имана и Бикина, и маньчжурским диалектом китайского языка. Собственно, эти связи заметно ослабли еще ранее, после того, как в 1930 году была окончательно закрыта граница между СССР и Китаем. И если до этого момента еще существовали постоянные контакты между жителями приграничных районов, то после закрытия границы они полностью прекратились. Поскольку удэгейцы и жившие с ними рядом «китайцы» пересекали границу главным образом неофициально, внезапное закрытие границы застало их неожиданно – имелись люди, которые на этот момент находились на чужой территории и уже не смогли вернуться обратно к своим семьям. Китайцы, оказавшиеся таким образом, на советской территории, были через несколько лет депортированы.

---

[19] Фактически, в большинстве своём это были дети от смешанных браков.

[20] С этим, в частности, был связан обычай убивать незаконнорожденных младенцев – как людей без рода.

Несмотря на все сказанное, китайский язык продолжал звучать в бассейнах Имана и Бикина.Во-первых, имелась достаточно большая группа людей, для которых китайский был доминирующим языком. Это были, прежде всего, местные «китайцы», дети от смешанных браков китайцев с местными женщинами, а также их потомки. Во-вторых, по-китайски говорили приехавшие на Иман и Бикин удэгейцы и нанайцы с юга Приморья (таковы были нанайцы рода Дункай, приехавшие на Бикин с Ваку, а также *гольды* и *тазы*). Многие из тех, кто рос в китаеязычном Олоне, также хорошо владели этим языком.

Важным, возможно, было и то, что говорившие по-китайски занимали достаточно престижное место в хозяйственной и социальной жизни коренного населения бассейнов Имана и Бикина[21].

Современная ситуация китайского языка (начало XXI века) характеризуется как восстановлением связей с китайским языком Китая, так и повышением престижности этого языка. Появление в Приморье этнических китайцев (торговцы, скупщики женьшеня, пантов и мускусных желез кабарги), челночная торговля и поездки в Китай изменили ситуацию, хотя пока нельзя сказать, что восстановилась преемственная передача этого языка.

---

[21] Достаточно назвать некоторых из тех людей, кто занимал ответственные посты в селах. Дважды председателем сельсовета на Олоне, а затем в Красном Яре был Николай Чулаевич Суляндзига, который и сейчас является одним из лучших носителей китайского языка на Бикине. Видное место занимал Мунов, один из идеологов строительства Красного Яра. Фамилия Мунов является производным от китайской фамилии Мын. В Ленинград на факультет народов Севера ездили Соза Семенович Дункай и будущая жена Николая Чулаевича Надежда Васильевна. Все это люди, доминирующим языком которых (а, возможно, и первым) был китайский. Соза Семенович впоследствии стал директором интерната в Сяине, и был ярким представителем местной интеллигенции. Василий Батанеевич Суляндзига, также хорошо владевший китайским, долгое время был директором интерната в Красном Яре. Таким образом, мы видим, что китаеязычная группа имела в Красном Яре очень сильные позиции, что объясняется, возможно, тем что людям, уже знакомым с китайской культурой, было легче адаптироваться к новой «советской» культуре.

II. Современное диалектное членение удэгейского языка

К настоящему моменту удэгейский язык сравнительно хорошо описан на синхронном уровне. Появились грамматические описания (Кормушин 1998), подробная грамматика удэгейского языка (Nikolaeva, Tolskaya 2001), составлены словари (Шнейдер 1936; Кялундзюга, Симонов 2000), опубликованы собрания текстов (Фольклор 1998; Udeghe 2002; Udeghe 2003). Тем не менее до сих пор нет работы, в которой подробно рассматривалось бы диалектное членение удэгейского языка.

Традиционно в удэгейском языке выделялись следующие диалекты (говоры), которые соответствовали существовавшим территориальным группам удэгейцев (с севера на юг): хунгарийский, анюйский, курурмийский, хорский, самаргинский, бикинский, иманский, приморский[22].

Первые исследователи удэгейцев не разделяли удэгейцев и орочей, называя их ороченами. В.Г. Ларькин считает их двумя диалектами одного удэгейского языка, имеющего два основных диалекта: орочский и собственно удэгейский, из которых последний подразделяется на несколько говоров (Ларькин 1959: 5). Действительно, удэгейский и орочский язык очень близки друг другу, и их варианты образуют непрерывный диалектный континуум. Так, исследование, проведенное нами в 2001 году, показало, что коппинский диалект является переходным от самаргинского диалекта удэгейского языка к собственно орочскому в том виде, в каком он употреблялся в поселках Датта и Уська Орочская. И.В. Кормушин относит коппинский диалект к удэгейскому языку (Кормушин 1995). Учитывая, что удэгейцы называли орочей *патиŋка* 'житель морского побережья'[23], можно предположить, что «примор-

---

[22] Здесь я следую списку территориальных групп удэгейцев, составленному В.Г. Ларькиным; при этом он выделяет две приморские группы: самаргинско-приморскую (объединившую тех, кто жил на р. Самарга и по побережью от реки Кани на севере до реки Амгу на юге) и южную приморскую группу (по рекам, впадавшим в Японское море и у оз. Ханка) (Ларькин 1959: 7-8).

[23] Распространенное родовое название у орочей, ставшее в настоящее время «фамилией».

ский» диалект удэгейского языка следовало бы отнести к орочскому языку[24].

Мало что известно о том, каковы были языковые характеристики указанных диалектов в прошлом[25]: исследователи (этнологи и географы), ограничивались указаниями на то, что диалектные различия очень значительны, и что удэгейцы из разных территориальных групп едва понимают друг друга. Современные исследования диалектов удэгейского языка показывают, что при всех различиях, диалекты удэгейского языка, а также орочский язык, без всякого сомнения, являются взаимопонятными.

Первые записи хорского диалекта относятся к концу 1920-1930 гг, в те же годы были записаны тексты у анюйских удэгейцев (Е.Р. Шнейдер). Хорский диалект изучался также М.Д. Симоновым и Г.Л. Радченко.

К сожалению, кур-урмийский и хунгарийский диалекты оказались полностью утраченными, они так и не были зафиксированы, сравнительно мало опубликовано материалов по коппинскому диалекту.

Изучение бикинского и отчасти иманского диалекта началось позднее – с 1980-х годов, поэтому установить историю формирования этих диалектов можно только по косвенным данным, а также путем сравнения языковых данных этих диалектов с другими, засвидетельствованными ранее.

В настоящее время иманский и бикинский диалекты демонстрируют многие сходные черты, которые противопоставляют их северным диалектам (хорскому, анюйскому самаргинскому). Это, прежде всего, следующие свойства:

---

[24] Другой вариант – считать удэгейский и орочский диалектами одного языка.

[25] Исключение составляет введение Е.Р. Шнейдера к своей книге «Материалы по языку анюйских удэ», которое было опубликовано отдельно в 1895 г. (Шнейдер 1985).

- особенности произнесения аффрикат, основными аллофонами которых стали: для фонемы /ʒ/ – [dz] и для /c/ – [ts];

- падение аспирированной фонации;

- возможная реализация прерывистой фонации как тона[26];

- переход [a]+[i] в [əi];

- утрата начального ŋ- в иманском диалекте;

- иной инвентарь агглютинативных показателей (например, показатель перфектива –la в иманском диалекте);

- увеличение удельного веса аналитических конструкций;

- различия в лексике;

- перестройка системы терминов родства, в том числе, замена относительных терминов автосемантичными.

Иманский диалект обладает всеми чертами, характерными для бикинского, а также своими специфическими чертами, которые в речи носителей бикинского диалекта также спорадически встречаются, что связано со значительной миграцией удэгейцев с Имана на Бикин.

Представляется очевидным, что формирование указанных диалектных особенностей иманского и бикинского (южных) диалектов удэгейского языка в значительной степени обязано влиянию со стороны окружающих языков, прежде всего китайского. Многие особенности фонетики, фонологии, грамматики и синтаксиса этих диалектов объясняются именно интерференционными процессами со стороны китайского языка.

Северные диалекты удэгейского языка (особенно анюйский, коппинский, кур-урмийский), демонстрируют совершенно иные черты на всех языковых уровнях, что объясняется тем, что они находились вне зоны

---

[26] Следует констатировать, вслед за Я. Янхуненом, что в южном диалекте удэгейского языка развивается система тонов – под влиянием контактировавшего с ним китайского языка (Jahnhunen 1998).

влияния китайского языка, а также бикинского диалекта нанайского языка, зато контактировали с орочским, найхинским нанайским, эвенкийским, ульчским языками.

Таким образом, в настоящее время живые диалекты удэгейского языка подразделяются на две группы: южную (иманский и бикинский диалекты) и северную (хорский, анюйский, самаргинский).[27]

Ниже будет показано, что многие черты иманского и бикинского диалектов объясняются тем фактом, что языковой сдвиг в областях распространения этих диалектов начался на несколько десятилетий раньше, чем в областях распространения северных диалектов, и что многие диалектные черты, выделяющие бикинский диалект, и южную диалектную группу в целом, обязаны своим происхождением значительным интерференционным процессам, которые в свою очередь явились следствием прерванного языкового сдвига.

Признаки языкового сдвига

Поскольку речь идет о прерванном языковом сдвиге, следует обратиться к проблеме выявления прошлых ситуаций языкового сдвига. Как правило, современные описания подобных ситуаций имеют дело с синхронным состоянием, когда сдвиг происходит «на наших глазах», и некоторые языковые изменения можно фиксировать, сравнивая речь разных поколений говорящих на одном и том же языке. Труднее объяснять конкретные явления в истории языка тем, что этот язык в прошлом находился в ситуации языкового сдвига, который не завершился, т.к. ситуация, вызывавшая его, изменилась. У. Дресслер выявил несколько черт, характеризующих языковой сдвиг вообще:

- прекращают даваться и использоваться личные имена, принадлежащие уступающему языку;
- изменяется отношение людей к языку: полуязычные говорящие перестают замечать в своей речи ошибки, а старшие носители языка

[27] По кур-урмийскому диалекту слишком мало данных; кроме того, уже в 1990 году на нём говорили только два человека.

перестают их поправлять; в результате молодое поколение не усваивает всего комплекса грамматических правил уступающего языка;

- сокращается стилистическое разнообразие уступающего языка, он перестает быть адекватным средством выражения во многих речевых ситуациях и функциональных доменах;

- языком техники, культуры, моды и т.п. становится наступающий язык – по крайней мере, для той части говорящих, которые творят, заимствуют и санкционируют неологизмы;

- имеют место массовые лексические заимствования из наступающего языка, при этом в обратную сторону заимствуются «только слова, обозначающие термины этнической культуры, специфичные для культуры уступающего языка»;

- утрата словообразовательных правил обычно сопровождается увеличением морфотактической прозрачности существующих сложных форм (Dressler 1988).

Можно высказать предположение, что если в какой-то период истории языка в нём происходят указанные процессы, то в этот период язык находится в ситуации языкового сдвига, т.е. люди, говорившие на этом языке, были готовы перейти на другой, более престижный язык (ср. исследование такого рода для среднеанглийского языка в Dalton-Puffer 1995).

Применяя эти диагностические черты к бикинскому диалекту (и к южной группе диалектов удэгейского языка в целом), можно предположить, что его особенности объясняются явлениями, связанными с языковым сдвигом, который на юге начался значительно раньше, чем на севере – по крайней мере на 30-50 лет, т.е. почти на два поколения.

Я буду сравнивать данные бикинского и хорского диалектов[28]. Одной из важных отличительных черт бикинского диалекта, по сравнению с хорским, является бóльшая простота его фонологической системы и значительно бóльшее единообразие его словоизменительной морфологии.

Рассмотрим эти особенности.

Фонология

В хорском диалекте есть четыре супрасегментных варианта гласных фонем: краткие, долгие, «прерывные» и «аспирированные»[29], которым в бикинском диалекте соответствуют три ряда гласных: краткие, долгие, «ларингализованные» («скрипучая» фонация типа «creaky voice»).

	Хорский	Бикинский	
краткие	a	a	краткие
долгие	a:	a:	долгие
аспирированные	aha	a:	
прерывистые	‘a	‘a	ларингализованные

В бикинском диалекте «аспирированные» гласные слились с долгими: *toho* «пуговица» – бик. [to:], хор. [to^{h}o], а «прерывным» гласным хорского диалекта соответствует скрипучая фонация бикинского: *b’ata* «мальчик» – бик. [bâta], хор. [ba’ata]. Именно такая вокалическая система описана в статье И. Николаевой (Николаева 2000). Таким образом,

---

[28] Данные по бикинскому диалекту даются по Грамматике удэгейского языка (Nikolaeva, Tolskaya 2001), а также по моим полевым материалам (рукопись словаря бикинского диалекта, пособие по удэгейскому языку); данные по хорскому диалекту взяты из грамматического очерка к словарю Е.Р. Шнейдера (Шнейдер 1936), а также из книги И. Кормушина (Кормушин 1995).

[29] За неимением более адекватных терминов, я пользуюсь теми, которые приняты другими исследователями удэгейского языка. «Фонема–тическая трактовка категорий звуков, называемых прерывными и аспирированными гласными, представляет собой ключевую проблему удыхейской фонетики» (Кормушин 1995: 53).

вокалическая система южных диалектов оказывается более простой, чем соответствующая система северных диалектов. Эти изменения оказали существенное воздействие на морфологическую систему южных диалектов.

Словоизменительная морфология

Существительное

1. Следствием падения «аспирированных» гласных в южных диалектах явилось формальное совпадение притяжательных суффиксов существительных 1 и 2 лица единственного и множественного числа (1 л. мн. ч. эксклюзивное), а также показателей личных форм глагола 1 и 2 лица множественного числа (1 л. мн. ч. эксклюзивное), ср. фрагмент парадигмы лично-притяжательного спряжения существительных в бикинском и хорском диалектах kusigə «*нож*» (примеры глагольных парадигм см. ниже):

		Именительный падеж		Винительный падеж	
		Хорский	Бикинский	Хорский	Бикинский
	1 л.	*kusigə-i*	***kusigə-i***	*kusigə-wə-i*	***kusigə-wə-i***
ед.ч.	2 л.	*kusigə-hi*	***kusigə-i***	*kusigə-wə-hi*	***kusigə-wə-i***
	3 л.	*kusigə-ni*	*kusigə-ni*	*kusigə-wə-ni*	*kusigə-wə-ni*
	1 л. экскл.	*kusigə-u*	***kusigə-u***	*kusigə-wə-u*	***kusigə-wə-u***
	1 л. инкл.	*kusigə-fi*	*kusigə-fi*	*kusigə-wə-fi*	*kusigə-wə-fi*
мн.ч.	2 л.	*kusigə-hu*	***kusigə-u***	*kusigə-wə-hu*	***kusigə-wə-u***
	3 л.	*kusigə-ti*	*kusigə-ti*	*kusigə-wə-ti*	*kusigə-wə-ti*

В результате в бикинском и иманском диалектах в лично-притяжательном склонении существительных появились суффиксы локуторов, которым противопоставлены суффиксы не-локуторов, а также инклюзивные формы. При необходимости прояснить лицо «обладателя», с такими «общими» формами в качестве определения употребляются

личные местоимения 1 и 2 лица, которые в северных диалектах всегда опускаются. Это одно из проявлений большего аналитизма южных диалектов. Если в северных диалектах появление личного местоимения при финитной глагольной форме несет значение эмфазы, то в южных такое употребление оказывается нейтральным по смыслу.

2. В хорском диалекте есть два основных «склонения» имен: 1) с основой на гласный, и 2) с основой на *-n*, которое появляется только в косвенных падежах. Они формально различаются формой некоторых падежных суффиксов (в аккузативе *-wA* у имён с основой на гласный и *-mA* у имён с основой на *-n*; есть различия в суффиксах местного и продольного падежей).

В бикинском диалекте многие слова с основой на *–n* имеют дублетные формы *xoto-tigi* и *xoton-tig*i «в город» (направительный п.). При этом в речи молодого поколения удэгейцев встречается только вариант *xoto-tigi* без этимологического «n». Можно сказать, что в современном варианте бикинского и иманского диалектов утрачено склонение на *–n*, то есть произошло выравнивание парадигмы имени в соответствии с более распространенным вариантом.

Что же касается суффикса аккузатива *-mA*, то в бикинском диалекте он сохранился лишь «на границах» именного спряжения – у местоимений, числительных, некоторых субстантивированных прилагательных, все собственно существительные имеют в винительном падеже суффикс *-wA*.

Единственное слово, которое в хорском диалекте принадлежит к исчезнувшему склонению на *-l* — это числительное *zu* «два», которое имеет в аккузативе форму: *zu-bə*. В бикинском и иманском диалектах диалекте эта форма стала восприниматься как морфологически неразложимая основа: Им. п. *zubə* ‘два’, Вин. п. *zubə-mə*.

3. В бикинском диалекте практически исчезла семантическая группа относительных существительных, обозначающих людей (главным образом, это термины родства), у которых апеллятивная форма образуется от иной основы, нежели референтивные формы. Ср. хор. *abuga* ‘папа’,

но *amimi* 'мой отец'. На Бикине апеллятивные формы вытеснили референтивные; последние, хотя и понимаются старшими информантами, практически вышли из живого употребления. Эти старые референтивные формы принадлежали к классу относительных существительных («неотчуждаемых»), новые же термины, созданные на основе апеллятивных форм, стали обычными автосемантичными существительными («отчуждаемыми»), так что можно говорить об утрате бикинским диалектом противопоставления этих двух классов существительных.

	«отец»		«старший брат»	
	хорский	бикинский	хорский	бикинский
апеллятив	*abuga, amita*	*abuga-i*	*ag'a*	*ag'a-i*
Им. п. 1 л.	*ami-mi*	*bi abuga-*[30]*i*	*'ai-mi*	*bi ag'a-i*
Вин. п. 3 л.	*ami-ma-ni*	*abuga-wa-ni*	*'ai-ma-ni*	*ag'a-wa-ni*

Следует отметить, что Е.Р. Шнейдер уже отмечал эту тенденцию, однако по его наблюдениям «притяжательные формы от *abuga* употребляются преимущественно детьми» (Шнейдер 1936, 13). Очевидно, что изменения, произошедшие в бикинском диалекте, как раз и связаны с тем, что взрослые перестали исправлять ошибки детей, которые и закрепились в языке: положение дел, типичное для ситуации языкового сдвига.

Глагол

1. В системе глагола падение аспирированных гласных привело к совпадению форм лишь во множественном числе (см. примеры ниже). Это, однако, касается лишь финитных форм глагола; в системе же причастия, присоединяющего именные личные показатели, наблюдаются изменения, сходные с явлениями, описанными для лично- притяжательного склонения существительных.

---

[30] Личное местоимение употребляется вследствие нейтрализации притяжательных аффиксов 1-го и 2-го лица.

2. Падение аспирированных гласных привело еще к одному результату – появилась не характерная ранее для удэгейского языка грамматическая оппозиция, формально выраженная различием гласного по долготе / краткости. Речь идет об оппозиции презенс / претерит, ср. спряжение глагола *wakca-* ‘охотиться’, где формы 1 л. ед. и мн.ч. (эксклюзив и инклюзив), а также формы 2 л. мн.ч. различаются лишь долготой гласного.

	1 л.	***wakca-mi***	***wakca:-mi***
ед.ч.	2 л.	*wakcə-i*	*wakca:-i*
	3 л.	*wakcə-ini*	*wakca:-ni*
	1 л. экскл.	***wakca-u***	***wakca:-u***
	1 л. инкл .	***wakca-fi***	***wakca:-fi***
мн.ч.	2 л.	***wakca-u***	***wakca:-u***
	3 л.	*wakcə-iti*	*wakca:-ti*

Формы 3 лица различаются личными окончаниями — в презенсе они имеют вид *-ini, -iti (< -i-ni, -i-ti* < где *-i-* является «омертвевшим» показателем причастия).

В южных диалектах удэгейского языка произошел фонетический переход *[a]+[i] в [əi],* что также изменило спряжение глаголов на *–a* (в приведенном выше примере).

В северных диалектах удэгейского языка презенс и претерит формально противопоставлены оппозицией краткого гласного долгому аспирированному, этимологически восходящему к сочетанию гласного корня с претеритным суффиксом *-ha-*, который мы находим в близкородственном орочском языке. Переходный коппинский диалект уже демонстрирует значительное ослабление согласного звука; в хорском диалекте это уже неразложимый долгий аспирированный гласный (фонация); в бикинском – обычный долгий гласный:

ороч. *wakca-ha-mi*, копп. *wakca-ʰa-mi*, хор. *wakcaʰa-mi*, бик. *wakca:-mi* 'я охотился'.

3. Практически все изменяемые классы слов, которые в хорском диалекте имели различные словоизменительные парадигмы, в бикинском диалекте изменяются по единой парадигме.

В хорском диалекте глаголы по особенностям словоизменения подразделяются на два класса: с основой на гласный и с основой на согласный. Глаголы 2-го класса образуют основу презенса путем прибавления к корню тематического гласного *-A-*[31] или слога *-TA-*. Глаголы 1-го класса образуют формы прошедшего путем присоединения суффикса *-hA-*, а глаголы 2-го класса — путем присоединения суффикса *-ki-*, который ассимилирует *-n-* корня в велярный *-ŋ-*.

В бикинском диалекте все глаголы ведут себя как глаголы 1-го класса (с основой на гласный).

Презенс (*ətətə-* 'работать', *nagda-* 'попасть в цель')

		Хорский	Бикинский	Хорский	Бикинский
	1 л.	*ətətə-mi*	*ətətə-mi*	*nagda-mi*	*nagda-mi*
ед.ч.	2 л.	*ətətə -hi*	*ətətə-i*	*nagda-hi*	*nagda-i*
	3 л.	*ətətə-i-ni*	*ətətə-i-ni*	*nagda-i-ni*	*nagda-i-ni*
	1 л. экскл.	*ətətə-u*	***ətətə-u***[32]	*nagda-u*	***nagda-u***
	1 л. инкл.	*ətətə-fi*	*ətətə-fi*	*nagda-fi*	*nagda-fi*
мн.ч.	2 л.	*ətətə-hu*	***ətətə-u***	*nagda-hu*	***nagda-u***
	3 л.	*ətətə-i-ti*	*ətətə-i-ti*	*nagda-i-ti*	*nagda-i-ti*

[31] Здесь и далее прописная буква означает все морфонологические варианты, связанные с гармонией гласных или с ассимиляцией согласных по звонкости / глухости.

[32] Жирным шрифтом выделены формы, слившиеся в бикинском диалекте из-за падения «аспирированных» гласных – см. выше.

Претерит

Хорский	Бикинский	Хорский	Бикинский
ətətə-hə-mi	*ətətə:*[33]*-mi*	*nakki-mi*	*nagda:-mi*
ətətə-hə-hi	*ətətə:-i*	*nakki-hi*	*nagda:-i*
ətətə-hə-ni	*ətətə:-ni*	*nakki-ni*	*nagda:-ni*
ətətə-hə-mu	*ətətə:-mu*	*nakki-mu*	*nagda:-mu*
ətətə-hə-fi	*ətətə:-fi*	*nakki-fi*	*nagda:-fi*
ətətə-hə-hu	*ətətə:-u*	*nakki-hu*	*nagda:-u*
ətətə-hə-ti	*ətətə:-ti*	*nakki-ti*	*nagda:-ti*

Как видно из приведенных примеров, в бикинском языке произошло переразложение основ на согласный: тематический слог стал частью корня *nagda-*, от которого «регулярно» образуются формы прошедшего.

Как уже говорилось, этот процесс затронул все глаголы языка, и лишь наиболее частотные, например, *diana-* 'говорить, сказать' имеют в бикинском диалекте дублетные формы, ср. 3 л. ед. прош. *diaŋkini* и *diana:ni.* Исключение составляют также сверхчастотные «неправильные» глаголы *bi-* 'быть' (претерит 3 л. ед. ч. *bisi-ni*)и *ə-* 'отрицательный глагол' *(əsi-ni)*. Все остальные глаголы бикинского диалекта изменяются по единой парадигме.

Такое массовое «выравнивание по аналогии», произошедшее, видимо, в очень сжатые сроки, объясняется тем, что полуязычные носители языка усвоили не все правила и образуют лишь формы, совершенно прозрачные по своему морфологическому строению.

Лексические заимствования

Начало языкового сдвига, как правило, сопровождается массовыми заимствованиями из доминирующего языка в исчезающий. Действи-

---

[33] Двоеточие обозначает долготу гласного.

тельно, в удэгейском языке с начала XX века обнаруживается очень значительное количество заимствований, при этом заимствования из русского языка проникают в удэгейский только после 1930х годов, и особенно – в послевоенное время. Так, в словаре Е.Р. Шнейдера немного заимствований из русского языка, в то время как в современном удэгейском языке их на порядок больше (Nikolaeva, Perekhvalskaya 2001). Однако в довоенный период удэгейский язык заимствовал лексику из китайского языка, при этом не только названия новых явлений культуры (термины, связанные с сельским хозяйством, домашняя утварь, пища и т.п.). В северные диалекты удэгейского языка проникли слова: *tuduzə* 'картошка', *diŋə* 'лампа', *zaŋgæ* 'начальник'. В южных диалектах китайских заимствований оказалось значительно больше, поскольку материальная и духовная культура южных удэгейцев содержала значительно большее количество китайских элементов, отсюда *dəuzə* 'фасоль', *sæŋzə* 'фарш', *bæŋza* 'коса китайского типа' и др (Беликов, Перехвальская 1990).

В некоторых случаях китайские заимствования вытесняли также исконную лексику, заменяя уже существующие слова:

	хорский	бикинский
бурундук	*ətuŋgiə*	*xualibaŋza*
фасоль	*tuli*	*dəuzə*
снова, ещё	*ņa*	*xaisi*
мука	*mæna*	*øfø*

Системы и термины родства

В южных диалектах удэгейского языка заменены оказались также многие термины родства, что привело к формированию новой синкретической системы родства, объединяющей удэгейские и китайские элементы. Традиционная удэгейская система родства была классификационной. Она состояла из нескольких терминов, каждый из которых объединял большую группу родственников и свойственников. Так, напри-

мер, термин *'ai-ni* (апеллятив *ag'a*) обозначал «отдельных лиц обширной группы родственников мужского пола. В основном – это мои братья всех степеней старше меня и братья моего отца всех степеней старше меня, но младше моего отца» (Шнейдер 1936: 13); термин *ədigi-ni* (апеллятив *od'o*) имел следующие значения: «мои деды, прадеды и т.д. со стороны моего отца и моей матери и братья всех степеней моих дедов, прадедов и т.д., бабушек и прабабушек и т.л. Братья моего отца и матери всех степеней старше, чем последние» (Шнейдер, 1936, 58).

Китайская система родства, в отличие от традиционной удэгейской, является кровнородственной, в ней каждый родственник получает свое наименование; в результате заимствования китайских терминов система родства и свойства у южных удэгейцев коренным образом перестроилась. Были не просто заимствованы новые термины, но изменился сам принцип построения системы родства.

Так, в новой системе различаются родственники по восходящей линии в зависимости от пола родственника, через которого передаётся родство: различаются *jəjə* и *nəinəi* «дед и бабка по матери» и *laujə* и *lou-lou* «дед и бабка по отцу»; различаются также дядья по отцу и дядья по матери, при этом дядья по отцу также различаются в зависимости от того, оказываются ли они старше отца или младше отца. Таким образом, если в традиционной системе родства вообще не было специальных терминов для дядьев и теток, то в новой системе появилось три термина для обозначения дядьев (*dajə* 'старший брат отца', *susu* 'младший брат отца' и *g'oso* 'брат матери'). Сюда же добавились многочисленные наименования свойственников, ср. «мужья теток» (не вошедшие в представленную таблицу): *gufu* 'муж тети по отцу' и *ifu* 'муж тети по отцу'. Все указанные термины соответствуют русскому термину «дядя», или традиционным удэгейским *ədigi-ni*, если этот дядя оказывался старше отца или *'ai-ni*, если он был младше отца.

Сказанное относится, однако, лишь к терминам родства по восходящей линии, из терминов родства по нисходящей только термин *oməlo* «внук, внучка, жена сына» оказался заменённым на китайское по проис-

хождению *sundzə,* причем эта замена характерна в большей степени для иманского диалекта, в бикинском чаще продолжал употребляться собственно удэгейский термин.

Как мы видим, произошло не просто заимствование отдельных терминов родства, а полная перестройка самой системы родства, что было, безусловно, связано с сильнейшим культурным влиянием китайцев, а также с широким распространением смешанных браков, причем, в этих смешанных семьях, по-видимому, доминантной оказывалась именно китайская составляющая.

В тех случаях, когда удэгейский термин сохранялся, произошла утрата различения референтивных и апеллятивных терминов (см. выше). В приведенной удэгейской системе кровного родства жирным шрифтом выделены «новые» термины родства китайского происхождения, которые употребляются только южными удэгейцами, курсивом выделены апеллятивные по происхождению термины, также характерные для южных диалектов удэгейского языка.

Антропонимика

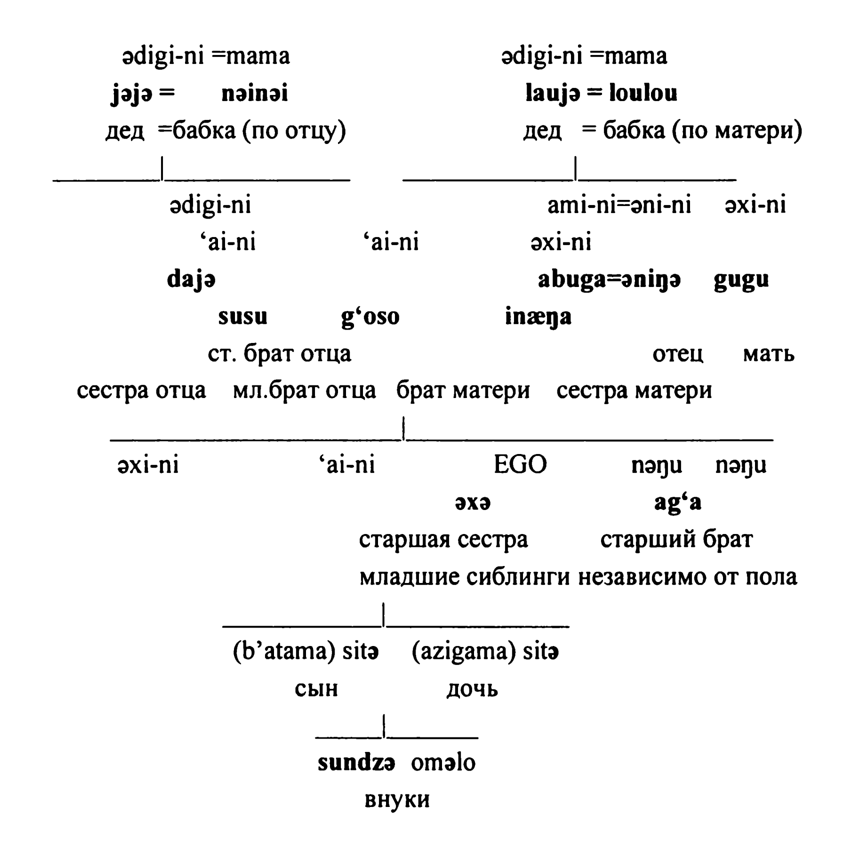
Достаточно спорным представляется положение В. Дресслера о том, что симптомом начинающегося языкового сдвига оказывается изменение стратегии называния – меняется антропонимика. В приложении к иманскому и бикинскому диалектам это положение оказывается достаточно оправданным. Действительно, в 1910-1920ые годы хорские удэгейцы по-прежнему называют сыновей Джанси, Исула, Мячина, Ингили и т.д. (об этом можно судить, главным образом, по сохранившимся отчествам, т.к. удэгейский именник в силу различных обстоятельств дошёл до нас далеко не полностью[34]). В то же самое время на Бикине, наряду с удэгейскими, люди получали такие имена: Либоуцан, Соусан и т.д. Впрочем, многие люди получали также и удэгейские имена.

[34] См. (Перехвальская 1991).

Удэгейская система родства

(термины, обозначающие кровных родственников)

северные (прямой шрифт) и южные (**жирный шрифт**) диалекты



Заключение

Представленный выше материал показывает, что языковой сдвиг начался на юге территории обитания удэгейцев на поколение или на два поколения раньше, чем на севере, причём это был сдвиг в сторону китайского языка.

При этом перечисленные диалектные черты, которые, как кажется, обязаны своим появлением начавшемуся языковому сдвигу, как раз и являются наиболее яркими чертами, выделяющими современные южные диалекты. Это заставляет предположить, что перед нами не обычное развитие диалекта, а явления, обязанные своим появлением радикальным изменениям, характерным для ситуации языкового сдвига.

Представляется, что многие языковые черты, которые отличают южные диалекты удэгейского языка от северных, обязаны своим появлением влиянию китайского языка. Следовательно, резкое различение между собой южных (иманский, бикинский) и северных (хорский, самаргинский, анюйский) диалектов может быть обязано прерванному языковому сдвигу в сторону китайского, которое захватывало южные диалекты удэгейского языка, и почти не касалось северных диалектов. Все это предопределило современную диалектную картину удэгейского языка.

Список использованной литературы [1]

Аврорин 1975 – Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). Л., 1975.

Агранат 1994 – Агранат Т.Б. Переход так называемых агглютинатов в падежные аффиксы в корвальском диалекте вепсского языка // Актуальные проблемы языкознания и литературоведения. М., 1994. С. 46–48.

Агранат 1997 – Агранат Т.Б. Инфинитивы и отглагольные имена в водском языке // Перспективные направления развития в современном финно-угроведении. Тезисы международной конференции. М., 1997. С. 9 – 13.

Агранат 2002a – Агранат Т.Б. О дистрибуции двух отглагольных форм в водском языке // Лингвистический беспредел. Сб. статей к 70-летию А.И. Кузнецовой. М., 2002. С. 56–63.

Агранат 2002b – Агранат Т.Б. Живые процессы в вымирающем языке // Материалы 3-й международной школы-семинара по лингвистической типологии и антропологии, Москва, 31 января – 6 февраля 2002 г. М., 2002. С. 92–94.

Агранат 2004 – Агранат Т.Б. Ирреальность в водском языке // Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004. С. 177–187.

Агранат 2005 – Агранат Т.Б. Изменение системы пространственного дейксиса в водском языке // Тезисы секционных докладов X Международного конгресса финно-угроведов, часть II Лингвистика, Йошкар-Ола, 2005. С. 6–7.

Агранат Т.Б. (в печати) – Аграант Т.Б. Изменение системы пространственного дейксиса в водском языке // Материалы X Международного конгресса финно-угроведов, Йошкар-Ола.

Агранат, Шошитайшвили 1997 – Агранат Т., Шошитайшвили И. Водский язык: в конце пути // Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. М., 1997. С. 75–77.

Адлер 1966 – Адлер Э. Водский язык // Языки народов СССР. Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 118–137.

[1] Сокращения, использованные в библиографии: ИРГО – Императорское Российское географическое общество; МГЛУ – Московский государственный лингвистический университет; МИОН – Межрегиональные исследования по общественным наукам; СФУ – Советское финно-угроведение; ELPR – Endangered Languages of Pacific Rim; CUP – Cambridge University Press; NWAV – New Ways of Analyzing Variation.

Алпатов 1997a – Алпатов В. М. Японский язык // Языки мира: Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М., 1997.

Алпатов 1997b – Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917–1997. М., 1997.

Аникин 1997 – Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Новосибирск, 1997.

Аристэ 1967 – Аристэ П.А. Пути отмирания двух прибалтийско-финских языков. Проблемы языкознания (доклады на X Международном конгрессе лингвистов), М., 1967. С. 115–119.

Арсеньев 1914 – Арсеньев В.К. Китайцы в Уссурийском крае. Очерк историко-этнографический // Записки Приамурского отдела ИРГО. Т. X, вып. 1. Хабаровск, 1914.

Арсеньев 1978 – Арсеньев В.К. По уссурийскому краю. Хабаровск, 1978.

Беликов, Крысин 2001 – Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001.

Беликов, Перехвальская 1990 – Беликов В.И., Перехвальская Е.В. Китайское культурно-языковое влияние на различные группы удэгейцев // Теоретические проблемы языков Азии и Африки. V Международный симпозиум. М., 1990. С. 19–22.

Беликов, Перехвальская 2003 – Беликов В.И., Перехвальская Е.В. Тазов язык // Красная книга народов России: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003. С. 50–51.

Берков 2000 – Берков В. П. Исландский язык // Языки мира: Германские языки. Кельтские языки. М., 2000.

Богораз 1949 – Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949.

Бодуэн де Куртенэ 1963 – Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. В 2 т.

Болина, Хелимский 1994 – Болина Д. С., Хелимский Е. А. Энецкий язык // Красная книга языков народов России: Энциклопедический словарь-справочник. М., 1994. С. 71–73.

Браиловский 1901 – Браиловский С.Н. Тазы или удихэ. Опыт историко-этнографического исследования // Живая старина. Вып. II–IV. 1901.

Булатова 1987 – Булатова Н.Я. Говоры эвенков Амурской области. Л., 1987.

Булатова 2002 – Булатова Н.Я. Эвенкийский язык // Языки народов России. Красная книга, глав. ред. В. П. Нерознак. М., 2002. С 267–272.
Бурлак 2000 – Бурлак С.А. История тохарских языков в свете данных глоттохронологии // Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия: Доклады и тезисы научной конференции. М., 2000.
Бурлак, Старостин 2005 – Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.
Вайнрайх 1972 – Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. VI: Языковые контакты. М., 1972.
Вайнрайх 1979 – Вайнрайх У. Языковые контакты. Киев, 1979.
Василевич 1948 – Василевич Г.М. Очерки диалектов эвенкийского языка. М.;Л., 1948.
Василевич 1958 – Василевич Г.М. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958.
Васильев 1979 – Васильев В. И. Проблемы формирования северосамодийских народностей. М., 1979.
Вахтин 1998 – Вахтин Н.Б. Исчезновение языка и языковая трансформация: заметки о метафоре «языковой смерти» // Типология, грамматика, семантика. СПб., 1998. С. 115–129.
Вахтин 2001 – Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в XX веке. Очерки языкового сдвига. – СПб., 2001.
Вахтин 2004 – Вахтин Н.Б. Уступительные конструкции в эскимосском языке // Типология уступительных конструкций / Под ред. В.С. Храковского. СПб., 2004.
Вахтин 2006 – Вахтин Н.Б. Словоизменительные категории юпикского (эскимосского) глагола (в печати).
Вахтин, Головко 2004 – Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. Учебное пособие. СПб., 2004.
Венюков 1952 – Венюков М. Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря // Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск, 1952. С. 127–185.
Видеман 1872 – Видеман Ф.И. О происхождении и языке вымерших ныне кревинов, СПб., 1972.
Володин, Холодович, Храковский 1969 – Володин А.П., Холодович А.А., Храковский В.С. Каузативы, антикаузативы и каузативные конструкции в финском языке // Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив, Л., 1969. С. 221–237.

Всероссийская 2002 – Всероссийская перепись населения 2002 года. http://www.perepis2002.ru
Вяари 1966 – Вяари Э. Продуктивные суффиксы имен в ливском языке // Вопросы финно-угорского языкознания. Вып. 3. М., 1966.
Галахова 1974 – Галахова Л.Я. Основные особенности консонантизма в финских говорах Ленинградской области. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Л., 1974.
Галахова 1990 – Галахова Л.Я. Личные и временные формы глагола в финских говорах Ленинградской области // Вопросы финно-угорской филологии. Вып. 5. Л., 1990. С. 72–81.
Галахова 2000 – Галахова Л.Я. Чередование ступеней согласных в основе слова в финских говорах Ленинградской области // Кафедра финно-угорской филологии: К 75-летию кафедры. Избр. тр. // Отв. ред. Л.И.Сувиженко. СПб., 2000. С. 115–133.
Гашилова 1987 – Гашилова Л.Б. Выражение пространственной ориентации средствами падежной системы в сахалинском диалекте нивхского языка // Проблемы фонетики и морфологии языков народов Севера. Межвузовский сборник научных трудов. Л., 1987. С. 102–112.
Головко 1997 – Головко Е. В. Медновских алеутов язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997.
Граудина и др. 1976 – Граудина Л.К., Ицкович В.А., Л.П. Катлинская. Грамматическая правильность речи. Опыт частотно- стилистического словаря вариантов. М., 1976.
Груздева, Леонова 1990 – Груздева, Е.Ю, Леонова Ю.В. К изучению нивхско-русского двуязычия в социолингвистическом аспекте // Лингвистические исследования 1990. Системные отношения в синхронии и диахронии. М., 1990. С.48–55.
Гумбольдт 1984 – Гумбольдт В. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С.307–322.
Долгих 1960 – Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. (Тр. Ин-та этнографии 55).
Долгих 1970 – Долгих Б. О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М. 1970.
Домашнев 2003 – Домашнев А.И. Европейский союз и проблемы языка общения // Решение национально-языковых вопросов в современном мире. – СПб., 2003. С. 91–112.
Дыбо 1996 – Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.

Дыбо 2004 – Дыбо В.А. Язык – этнос – археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы: Сб. ст. М., 2004.
Истрина 1948 – Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культуры речи. М.;Л., 1948.
Иткин 1997 – Иткин И.Б. Распределение именных диминутивных суффиксов в вепсском язык // Перспективные направления развития в современнои финно-угроведении. Тезисы международной научной конференции, М., 1997. С. 31–33.
Канчуга 2003 – Канчуга А.А. Багдисэ хокто тэлунгуни (Автобиографическая повесть), Саппоро, 2003.
Карцевский 1961 – Карцевский С.О. Подчинение и бессоюзие в русском языке // Вопросы языкознания. 1961, № 2. С.121–131.
Каск 1966 – Каск А.Х. Эстонский язык // Языки народов СССР. Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 35–60.
Кибрик 1992 – Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
Кибрик 2001 – Кибрик А. Е. Проблема исчезающих языков в бывшем СССР // Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 2001. С. 67–79.
Колесникова 1966 – Колесникова В.Д. Синтаксис эвенкийского языка. М.;Л., 1966.
Константинова 1964 – Константинова О.А. Эвенкийский язык: фонетика, морфология. М.;Л., 1964.
Кормушин 1998 – Кормушин И. Удыхейский язык. М., 1998.
Косериу 1963 – Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения) (1958) // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 143–343.
Крейнович 1932 – Крейнович Е.А. Гиляцкие числительные. Труды научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера ЦИК СССР, I.3. Л., 1932.
Крейнович 1934 – Крейнович Е.А. Нивхский (гиляцкий) язык // Языки и письменность народов Севера III. Языки и письменность палеоазиатских народов. М.;Л., 1934. С. 181–222.
Крейнович 1960 – Крейнович Е.А. Выражение пространственной ориентации в нивхском языке (К истории ориентации в пространстве) // Вопросы языкознания. 1960. № 1. С. 78–89.

Крейнович 1968 – Крейнович Е. А. Кетский язык // Языки народов СССР. Т. V. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки. Л., 1968.
Крейнович 1986 – Крейнович Е.А. Об именах пространственной ориентации в нивхском языке // Палеоазиатские языки. Л., 1986. С. 157–167.
Кривоногов 1998 – Кривоногов В. П. Этнические процессы у малочисленных народов Средней Сибири. Красноярск, 1998.
Кубрякова 1965 – Кубрякова Е.С. Что такое словообразование? М., 1965.
Кузнецова 2000 – Кузнецова А.И. Изменения в глагольном управлении в селькупском языке: спустя 65 лет после работы Г.Н. Прокофьева у туруханских селькупов // XXII Дульзоновские чтения. Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Ч. III. Томск, 2000. С. 107–113.
Кузнецова 2001 – Кузнецова А.И. 'Гендер' как категория социолингвистики (по обско-угорским и самодийским материалам) // Гендер: язык, культура, коммуникация. Доклады Первой Международной конференции МГЛУ 25–26 ноября 1999 г. М., 2001. С. 221–233.
Кузнецова 2002 – Кузнецова А.И. Признаки нестабильности категории императива в языке северных селькупов на протяжении XX века // XXIII Дульзоновские чтения. Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Ч.I. Томск, 2002. С. 268–273.
Кузнецова 2004a – Кузнецова А.И. Каким может быть статус эвиденциальности и ирреалиса? (к постановке вопроса) // Исследования по теории грамматики. 3. Ирреалис и ирреальность. М., 2004. С. 88–106.
Кузнецова 2004b – Кузнецова А.И. Взгляд лингвиста на проблему реконструкции традиционного мировоззрения // Традиционное сознание: проблемы реконструкции. Томск, 2004. С.47–59.
Кузнецова 2004c – Кузнецова А.И. Языковые параллели: о чем могут рассказать сходства и различия языков, генетически и типологически разных? // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Тр. Междунар. конф. Диалог–2004. М., 2004. С.395–400.
Кялундзюга, Симонов 2001 – Кялундзюга В.Т., Симонов М.Т. Словарь удэгейского языка. Варшава, 2001. В 3 т.
Лаанест 1966 – Лаанест А. Ижорские диалекты. Лингвогеографическое исследование. Таллин, 1966.

Ларькин 1959 – Ларькин В.Г. Удэгейцы. Историко-этнографический очерк с середины XIX в. до наших дней. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Владивосток, 1959.
Ленсу 1930 – Ленсу Я.Я. Материалы по говорам води // Западно-финский сборник. Л., 1930.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Лярская 2001 – Лярская Е.В. Культурная ассимиляция или два варианта культуры? (на примере ненцев Ямала) // Антропология, фольклористика, лингвистика. СПб, 2001. С.36–55
Мамудян 1985 – Мамудян М. Лингвистика (1982). М., 1985.
Маркус 2006 – Маркус Е.Б. Типология морфемного варьирования (на материале морфонологических систем говоров водского языка). М., 2006.
Мартине 1963 – Мартине Андре. Основы общей лингвистики (1960) // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 366–566.
Меновщиков 1957 – Меновщиков Г.А. Учебник эскимосыг'мит улюн'истун аюк'ылг'и. Алъх'ан классын'анун пиюхаг'ми иг'аг'вигми (Учебник эскимосского языка для второго класса начальной школы). Л., 1957.
Меновщиков 1964 – Меновщиков Г. А. К вопросу о проницаемости грамматического строя языка // Вопросы языкознания, 1964, № 5.
Меновщиков 1967 – Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Л., 1967. Ч. 2.
Меновщиков, Вахтин 1990 – Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык. 2-е изд. Л., 1990.
Миронов С. А. Африкаанс язык // Языки мира: Германские языки. Кельтские языки. М., 2000.
Митрофанова, Рожанский 2002 – Митрофанова Н.К., Рожанский Ф.И. Релятивизация именных групп с предлогами и послелогами в водском языке // Третья зимняя типологическая школа. Международная школа-семинар молодых ученых по лингвистической типологии и антропологии. 29 января – 4 февраля 2002, Московская область. М., 2002. С. 215–217.
Муслимов 2002 – Муслимов М.З. Финский диалект дер. Дубровка (Suokylä) // Труды Европейского университета. Антропология. Фольклористика. Лингвистика. Вып. 2, СПб., 2002. С. 344–362.
Муслимов 2005 – Муслимов М.З. Языковые контакты в Западной Ингерманландии (нижнее течение реки Луги. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2005.

Муслимов (рукопись) – Муслимов М. Языковые контакты в Западной Ингерманландии (нижнее течение Луги). Рукопись.
Надаров 1887 – Надаров И.П. Северно-уссурийский край (с картою) // Записки ИРГО. СПб, Т. XVII, № 1, 1887.
Национальный 1991 – Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991.
Очерки 1980 – Кузнецова А.И., Хелимский Е.А., Грушкина Е.В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М., 1980.
Пальмеос 1982 – Пальмеос П. Суффикс *–nik* в прибалтийско-финских языках // СФУ, Т. XVII. 1982. С. 1-7
Панфилов 1953 – Панфилов В.З. Нивхские количественные числительные. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1953.
Панфилов 1959 – Панфилов В.З. К истории счета (нивхские количественные числительные) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 4. М., 1959.
Панфилов 1961 – Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка 1. М.; Л., 1961.
Перехвальская 1991 – Перехвальская Е. Современная удэгейская антропонимия // IV Всесоюзная конференция востоковедов «Восток: прошлое и будущее народов. Тез. докл. и сообщ. Т. 1., М., 1991. С. 104–107.
Плунгян 1992 – Плунгян В.А. Глагол в агглютинативном языке (на материале догон). М., 1992.
Прокофьев 1937 – Прокофьев Г. Н. Энецкий (енисейско-самоедский) диалект // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов. М.;Л., 1937. С. 75–50.
Романова, Мыреева 1971 – Романова А.В., Мыреева А.Н. Фольклор эвенков Якутии. Л., 1971.
Русаков 2005 – Русаков А.Ю. Механизмы грамматических изменений в условиях языкового сдвига. Доклад на конференции «Языковые изменения в условиях языкового сдвига». СПб., 30 сентября-2 октября 2005 г.
Сабо 1963 – Сабо Л. Очерки по синтаксису водского языка. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1963.
Сем 1988 – Сем Л.И. Бикинский диалект нанайского языка, М., 1988.
Симченко и др. 1993 – Симченко Ю.Б., Смоляк А.В., Соколова З.П. Календари народов Сибири // Календарь в культуре народов мира. М., 1993. С. 201–253.
Словарь 1983 – Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.

Сорокина 1999 – Сорокина Т.Н. Китайская иммиграция на Дальний Восток России в конце XIX – начале XX вв. // Исторический ежегодник. 1998, Омск, 1999. С. 13–23.
ССТМЯ 1977 – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., т. I – 1975, т. II. – 1977.
Суник 1958 – Суник О. П. Кур-урмийский диалект. Исследования и материалы по нанайскому языку. Л., 1958.
Терещенко 1966 – Терещенко Н. М. Энецкий язык // Языки народов СССР. Т. 3: Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 438–457.
Терещенко 1973 – Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков. Л., 1973.
Тройницкий 1905 – Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 год. Т. 2. СПб., 1905.
Трубецкой 1987 – Трубецкой Н.С. Мысли об индоевропейской проблеме [1939] // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.
Фадеев 1938 – Фадеев А. Последний из удэге. М., 1938.
Фольклор 1998 – Фольклор удэгейцев (сост. В.Т. Кялундзюга, М.Д. Симонов, М.М. Хасанова). Новосибирск, 1998.
Хакулинен 1953 – Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч.1: Фонетика и морфология. М., 1932.
Хасанова, Певнов 2003 – Хасанова М., Певнов А. Мифы и сказки негидальцев // ELPR Publications Series A2-024, Osaka, 2003.
Хелимский 2000 – Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика: Статьи и лекции. М., 2000.
Хелимский 2002 – Хелимский Е.А. Словарь Ф.Г. Мальцева (1903) и особенности языка енисейских селькупов // Лингвистический беспредел. Сб. ст. к 70-летию А.И. Кузнецовой. М., 2002. С.155–170.
Цветков 1922 – Цветков Д. Первая грамматика водьского языка (рукопись).
Цинциус 1997 – Цинциус В. И. Эвенкийский язык // Языки мира. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М., 1997. С. 267–284.
Чарушин 1949 – Чарушин Е. Ун'ипамсюгыт (Рассказы). Л., 1949.
Шнейдер 1936 – Шнейдер Е.Р. Краткий удэйско-русский словарь. М.;Л., 1936.

Шнейдер 1985 – Шнейдер Е.Р. Материалы по языку анюйских удэ (фонетика, морфология, лексика). Введение // Лексика тунгусо-маньчжурских языков Сибири (сборник научных трудов). Новосибирск, 1985. С. 105–125.
Шренк 1883 – Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. СПб., 1883, Т.1.
Штернберг 1908 – Штернберг Л.Я. Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора. Том 1: Образцы народной словесности. Ч. 1. Изв. импер. АН. Том XXII. СПб., 1908.
Шухардт 1950 – Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
ЭРС 1972 – Эвенкийско-русский словарь. Сост. Г. М. Василевич. М., 1958.
ЭРС 2001 – Сорокина И. П., Болина, Д. С. Словарь энецко-русский и русско-энецкий. Ок. 6 000 слов. Пособие для учащихся начальной школы. СПб., 2001
ЭТ 2005 – Сорокина И. П., Болина, Д. С. Энецкие тексты. СПб., 2005.
ЯРС 1972 – Якутско-русский словарь / Под ред. П. А. Слепцова. М., 1972.

Adler, Leppik 1990–2002 – Adler E., Leppik M. (toim.) Vadja keele sõnaraamat (1–4). Tallinn, 1990–2002.
Ahlquist 1856 – Ahlquist A. Wotisk Grammatik jemte språkprof och ordförteckning. Helsingfors, 1856.
Aikhenvald 2002a – Aikhenvald A.Y. Language obsolescence: Progress or decay? The emergence of new grammatical categories in 'language death'' // Language endangerment and language maintenance / Ed. by D. Bradley and M. Bradley. London; New York: Routledge Curzon, 2002. P. 144–155.
Aikhenvald 2002b – Aikhenvald A. Language contact in Amazonia. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Alvre 1971 – Alvre P. Soome keelenäiteid // Emakeele Seltsi Aastaraamat; 17. Tallinn,1971. C. 173–186.
Andersen 1982 – Andersen R.W. Determining the linguistic attributes of language attrition // The loss of language skills / Ed. by R.D. Lambert and B.F. Freed. Rowley, MA: Newbury House Publishers, 1982. P. 83–118.
Andersen 1989 – Andersen R.W. The "up" and "down" staircase in secondary language development // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge:

CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 385–394.
Ariste 1941 – Ariste P. Vadja keelenäiteid. Tartu, 1941. (Acta et Commentationes Univ. Tartuensis B XLIX).
Ariste 1948 – Ariste P. Vadja keele grammatika. Tartu, 1948.
Ariste 1962 – Ariste P.Vadja muinasjutte. Tallinn, 1962.
Ariste 1968 – Ariste P. A Grammar of the Votic language, The Hague: Mouton, 1968.
Ariste 1968–1969 – Ariste P. Vanaküla isuri murrakust // Emakeele Seltsi Aastaraamat 14–15, 1968–1969. C. 173–180.
Bakker 2000 – Bakker P. Convergence intertwining: an alternative way towards the genesis of mixed languages // Languages in Contact. Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 28, Amsterdam – Atlanta, 2000.
Bavin 1989 – Bavin, E. L. Some lexical and morphological changes in Warlpiri // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 267–286.
Bergsland 1966 – Bergsland K. The Eskimo Shibboleth Inuk/Yuk // To Honor Roman Jacobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. The Hague: Mouton, 1966. Vol. 1.
Berko-Gleason 1982 – Berko-Gleason J. Theoretical aspects of psycholinguistics and sociolinguistics with special relevance to language loss // The loss of language skills / Ed. by R.D. Lambert and B.F. Freed. Rowley, MA: Newbury House Publishers, 1982. P. 13–23.
Bowden 2002 – Bowden, J. The impact of Malay on Taba: A type of incipient language death or insipient death of a language type? // Language endangerment and language maintenance / Ed. by D. Bradley and M. Bradley. London, New York: Routledge Curzon, 2002. P. 114–143.
Bradley and Bradley 2002 – Language endangerment and language maintenance / Ed. by D. Bradley and M. Bradley. London, New York: Routledge Curzon, 2002.
Brenzinger 1992 – Language death: Factual and theoretical explorations with special reference to East Africa / Ed. by M. Brenzinger. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. (Contributions to the Sociology of Language 64). 1992.
Broderick 1999 – Broderick, G. Language death in the Isle of Man: An investigation into the decline and extinction of Manx Gaelic as a community language in the Isle of Man. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 395), 1999.

Campbell 1985 – Campbell, L. The Pipil language of El Salvador. Berlin: Mouton. 1985.
Campbell 1994 – Campbell L. Language death // Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 5. Oxford. 1994. P. 1961–1968.
Campbell, Muntzel 1989 – Campbell L. and M. C. Muntzel. The structural consequences of language death // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 181–196
Castrén 1854 – Castrén M. A. Grammatik der samojedischen Sprachen. Bearbeitet von A. Schiefner. St. Petersburg, 1854.
Castrén 1855 – Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. Bearbeitet von A. Schiefner. St. Petersburg, 1855.
Clyne 1992 – Clyne, M. Linguistic and sociolinguistic aspects of language contact, maintenance and loss: Towards a multifacet theory // Maintenance and loss of minority languages / Ed. by W. Fase, K. Jaspaert and S. Kroon. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. (Studies in Bilingualism 1). 1992. P. 17–36.
Crystal 2000 – Crystal D. Language death. Cambridge UK: CUP, 2000.
Dalton-Puffer 1995 – Dalton-Puffer Ch. Middle English is a creole and its opposite: On the value of plausible speculation // Linguistic change under contact conditions. Ed. by J. Fidsiak. Berlin: Mouton, 1995. P. 35–50.
Dauenhauer, Dauenhauer 1999 – Dauenhauer R., Dauenhauer N.M. Technical, emotional, and ideological issues in reversing language shift: examples from Southeast Alaska // Endangered Languages. Language Loss and Community Response // Ed. by L. A. Grenoble and L. J. Whaley. Cambridge, CUP. 1999. P. 57–98.
Dawkins 1916 – Dawkins, R. M. Modern Greek in Asia Minor: A study of the dialects of Silli, Cappadocia and Pharasa with grammars, texts translations, and glossary. Cambridge: CUP, 1916.
De Bots and Weltens 1991 – K. De Bot and B. Weltens. Recapitulation, regression, and language loss // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge, CUP, 1991. P. 31–52.
De Bots and Weltens 1995 – K. De Bot and B. Weltens. Foreign language attrition // Annual Review of Applied Linguistics 15. 1995. P. 151–164.
de Graaf 1992 – de Graaf T. Small languages and small language communities: news, notes, and comments 9: The small languages of Sakhalin // In-

ternational Journal of the Sociology of Language. Vol. 94, 1992. P. 185–200.
Denison 1977 – Denison N. Language death or language suicide? // International Journal of the Sociology of Language. Vol. 12, 1977. Pp. 13–22
Dimmendaal 1992 – Dimmendaal, G. J. Reduction in Kore reconsidered // Language death: Factual and theoretical explorations with special reference to East Africa / Ed. by M. Brenzinger. Berlin;New York: Mouton de Gruyter. (Contributions to the Sociology of Language 64). 1992. P. 117–135.
Doerfer 1975 – Doerfer G. Ist Kur-Urmiisch ein nanaischer Dialekt? // Ural-Altaische Jahrbücher. № 47, 1975.
Dorian 1973 – Dorian, N. C. Grammatical change in a dying dialect // Language. Vol. 49, № 2. 1973. P. 413–438.
Dorian 1977 – Dorian, N. C. A hierarchy of morphophonemic decay in Scottish Gaelic language death: The differential failure of lenition // Word. Vol. 28. 1977. P. 96–109.
Dorian 1980a – Dorian N. C. Language shift in community and individual: The phenomenon of the laggard semi-speaker // International Journal of the Sociology of Language. Vol. 25. 1980. P. 85–94.
Dorian 1980b – Dorian N.C. Maintenance and loss of same-meaning structures in language death // Word. Vol. 31. № 1. 1980. P.39–45.
Dorian 1981 – Dorian N.C. Language death. The life cycle of a Scottish Gaelic dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981.
Dorian 1989 – Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7).
Dorian 1993 – Dorian, Nancy C. 'Internally and externally motivated change in language contact settings: Doubts about dichotomy // Historical linguistics: Problems and perspectives / Ed. by C. Jones. Harlow: Longman,1989. (Longman Linguistics Library). P. 131–155.
Dressler 1972 – Dressler W.U. On the phonology of language death // Chicago linguistic society, № 8. 1972. P. 448–457.
Dressler 1981 – Dressler, W.U. Language shift and language death – a protean challenge for the linguist // Folia Linguistica. Vol. 15. 1981. P. 5–27.
Dressler 1988 – Dressler W.U. Language death // Linguistics: The Cambridge Survey. IV: Language: The socio-cultural context. Ed. by F.J. Newmeyer. Cambridge: CUP, 1988. P. 184–192.
Dressler 1991 – Dressler W.U. The Sociolinguistic and patholinguistic attrition of Breton phonology, morphology and morphonology // First Lan-

guage Attrition: theoretical perspectives / Ed. by Seliger H., Vago R. Cambridge: CUP, 1991. P. 99–112.
Dressler, Wodak-Leodolter 1977 – Dressler Wolfgang U., Wodak-Leodolter R. Language preservation and language death in Brittany // International Journal of the Sociology of Language. 1977. Vol. 12. P. 33–44.
Ehala 1994 – Ehala M. Russian influence and the change in progress in the Estonian adpositional system // Linguistica Uralica Vol XXX, 1994, № 3. P. 177–193.
Eung-Do Cook 1995 – Eung-Do Cook. Is there convergence in language death? // Journal of Linguistic Anthropology. Vol. 5, № 2, 1995.
Farr 1999 – Farr, C.J.M. The interface between syntax and discourse in Korafe, a Papua language of Papua New Guinea. (Pacific Linguistics C-148). Canberra: Pacific Linguistics, 1999.
Fase et al. 1992 – Maintenance and loss of minority languages / Ed. by W. Fase, K. Jaspaert and S. Kroon. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. (Studies in Bilingualism 1). 1992.
Ferguson 2000 – Ferguson C.A. Diglossia // The Bilingual Reader. Ed. by Li Wei. Routledge: London and New York, 2000. P. 65–80.
Gal 1979 – Gal S. Language shift. Social determinants of linguistic change in bilingual Austria. NY;San Francisco;London: Academic Press, 1979.
Gal 1989 – Gal S. Lexical innovation and loss: The use and value of restricted Hungarian // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 313–331.
Grenoble, Whaley 1999 – Endangered Languages. Language Loss and Community Response // Ed. by L. A. Grenoble and L. J. Whaley. Cambridge: CUP, 1999.
Gruzdeva 2000 – Gruzdeva E. Aspects of Russian-Nivkh grammatical interference: The Nivkh imperative // Languages in contact / Ed. by D. Gilbers, J. Nerbonne and J. Schaeken. Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi, 2000. P.121–134. (Studies in Slavic and General Linguistics 28).
Gruzdeva 2002 – Gruzdeva, E. The linguistic consequences of Nivkh language attrition // SKY Journal of Linguistics. Vol. 15. 2002. P. 85–103.
Gruzdeva 2004 – Gruzdeva E. Numeral classifiers in Nivkh // Language Typology and Universals. Nominal Classification / Ed. by A. Aikhenvald. Sprachtypologie und Universalienforschung. Vol. 57. № 2/3. 2004. P. 300–329.

Gruzdeva (forthcoming) – Gruzdeva E. How to orient oneself on Sakhalin: A guide to Nivkh locational terms // Festschrift in Honour of Frederik Kortlandt on his 60th Birthday.

Haig 2001 – Haig G. Linguistic diffusion in present day Anatolia: from top to bottom // Areal diffusion and genetic inheritance: problems in comparative linguistics / Ed. by A. Aikhenvald and R.M.W. Dixon. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 195–224.

Heine, Kuteva 2005 – B. Heine, T. Kuteva Language contact and grammatical change. Cambridge: CUP, 2005.

Heinsoo 1985 – Heinsoo H. Vadja keele partiaalsubjektist // Fenno-Ugristica, 12: Paul Ariste ja tema tegevus. Pühendusteos Paul Ariste 80. sünnipäevaks 3. veebruaril 1985 / Toim. A.Künnap. Tartu, 1985. Lk. 111 – 123.

Heinsoo 1993 – Heinsoo H. Subjektita tarindid vadja keeles // Minor Uralic Languages and their contacts / Ed. by A. Künnap. Tartu, 1993. Lk. 43–48.

Helimski, Kahrs 2001 – Helimski E., Kahrs U. Nordselkupisches Wörterbuch von F.G. Mal'cev (1903) // Hamburger sibirische und finnisch-ugrusche Materialien. Band 1. Hamburg, 2001.

Heller-Roazen 2005 – Heller-Roazen, D. Echolalias: On the forgetting of language. New York: Zone Books, 2005.

Hill 1978 – Hill J.H. Language death, language contact and language evolution // Approaches to language / Ed. by W. McCormack and S.A. Wurm. The Hague;Paris: Mouton, 1978. P. 45–75.

Hill 1983 – Hill J.H. Language death in Uto-Aztecan // International Journal of the Sociology of Language. Vol. 49. 1983. P. 258–276.

Hill 1993 – Hill J.H. Structure and practice in language shift // Progression and regression in language / Ed. by K. Hyltenstam and A. Viberg. Cambridge: CUP, 1993. P. 68 – 93.

Hock 1986 – Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin;New York;Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1986.

Ikegami 1997 – Ikegami Jirô. A dictionary of the Uilta language spoken on Sakhalin. Sapporo, 1997.

Jacobson 1984 – Jacobson S. Yupik Eskimo Dictionary. Fairbanks: University of Alaska Press, 1984.

Jacobson 2001 – Jacobson S. A practical grammar of the St. Lawrence Island / Siberian Yupik Eskimo language. Second edition. Alaska Native Language Center. Fairbanks: University of Alaska Press, 2001.

Jakobson 1971 [1941] – Jakobson R. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze / Roman Jakobson. Selected Writings. Vol. 1. The Hague: Mouton, 1971. P. 328–401.

Janhunen 1998 – Janhunen J. Tonogenesis in Noertheast Asia (Udeghe as a tone language) // Paper presented at the Workshop on the Production and Perception of Tones, October 1st, University of Lund, 1998.

Janse and Tol 2003 – Language death and language maintenance: Theoretical, practical and descriptive approaches / Ed. by M. Janse and S. Tol. Amsterdam;Philadelphia: John Benjamins (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV: Current Issues in Linguistic Theory 240). 2003.

Jones and Singh 2005 – Jones, M. C. and I. Singh. Exploring Language Change. London;New York: Routledge, 2005.

Joseph, Janda 2003 – The handbook of historical linguistics / Ed. by B.D. Joseph and R.D. Janda Oxford, 2003.

Junus 1936 – Junus V.I. Izoran keelen grammatikka. M.;L., 1936.

Kenny 1996 – Kenny K.D. Language loss and the crisis of cognition: Between socio- and psycholinguistics. Berlin: Mouton de Gruyter. (Contributions to the Sociology of Language 73). 1996.

Kloos 1984 – Kloos, H. Umriss eines Forschungsprogrammes zum Thema "Sprachentod"// International Journal of the Sociology of Language. Vol. 45. 1984. P. 65–76.

Krauss 1974 – Krauss, M.E. St. Lawrence Island and Siberian Yupik Literature. Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center. Typescript. 1974.

Krauss 1980: Krauss M.E. Native Languages of Alaska; Past, Present, and Future // Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center. 1980.

Krauss 1992 – Krauss, M.E. The world's languages in crisis // Language. Vol. 68. № 1. P. 1–42.

Kravin 1992 – Kravin, H. Erosion of a language in bilingual development // Journal of Multilingual and Multicultural Development. Vol. 13. 1992. Pp. 307–325.

Kulick 1993 – Kulick D. Growing up monolingual in a multilingual community // Progression and Regression in Language: Sociocultural, neuropsychological and linguistic perspectives / Ed. by K. Hyltenstam and A. Viberg. Cambridge: CUP, 1993. P. 94–121.

Laanest 1966 – Laanest A. Isuri murdetekste. Tallinn, 1966.

Laanest 1986 – Laanest A. Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia. Tallinn, 1986.

Lambert and Freed 1982 – The loss of language skills / Ed. by R.D. Lambert and B.F. Freed. Rowley, MA: Newbury House Publishers, 1982.

Larmouth 1974 – Larmouth D.W. Differential Interference in American Finnish cases // Language. 1974. Vol. 50, № 2. P. 356–366.
Leppik 1975 – Leppik M. Ingerisoome Kurgola murde fonoloogilise süsteemi kujunemine. Tallinn, 1975.
Lewis 1972 – Lewis G. Multilingualism in the Soviet Union. The Hague; Paris: Mouton, 1972.
Maandi 1989 – Maandi K. Estonian among immigrants in Sweden // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge, 1989. P. 227–242.
Maffi 2001 – Maffi L. On biocultural diversity: Linking language, knowledge, and the environment. Washington (D.C.): Smithsonian Institution Press, 2001.
Mägiste 1925 – Mägiste J. Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjooned. Tartu, 1925 (Acta et Commentationes Univ. Tartuensis B, VII:3).
Mägiste 1959 – Mägiste J. Woten erzählen. Wotische Sprachproben. Helsinki,1959 (Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia, 118).
Maher 1991 – Maher J. A crosslinguistic study of language contact and language attrition. // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991. P. 67–84.
Malchukov 2003 – Malchukov A.L. Convergence and divergence of European languages // Studies in Eurolinguistics. Vol. 1 / Ed. by S. Ureland. Berlin: Logos Verlag, 2003. P. 235–251.
Martin-Jones, Romaine 1986 – Martin-Jones M., S. Romaine. Semilingualism: A half-baked theory of communicative competence // Applied Linguistics. Vol. 7. 1986. P. 26–38.
Menn 1989 – Menn L. Some people who don't talk right: Universal and particular in child language, aphasia, and language obsolescence // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). Pp. 335–346.
Mesthrie 1990 – Mesthrie R. Language maintenance, shift, and death // The Encyclopedia of Language and Linguistics. 1994. Vol. 5. 1990. Pp. 1989–1993
Mikola 1967 – Mikola T. Enzische Sprachmaterialien // Acta Linguistica Hung. Vol. 17. 1967. P. 59–74.
Mikola 1980 – Mikola T. Enyec és nganaszan nyelvi adalékok // Nyelvtudományi Közlemények/ Vol. 82. 1980. P. 223–236.
Mikola 1995 – Mikola T. Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. (Studia Uralo-Altaica 36). Szeged, 1995

Mithun 1989 – Mithun M. The incipient obsolescence of polysynthesis: Cayuga in Ontario and Oklahoma // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 243–257.

Mithun 1990 – Mithun M. Language obsolescence and grammatical description // International journal of American linguistics. Vol. 56, № 1. 1990.

Miyaoka 1984 – Miyaoka O. Sketch of Yupik, an Eskimo Language // Handbook of American Languages. Washington D.C.: Smithconian Institution Press, 1984. Vol. 17.

Mougeon and Beniak 1989 – Mougeon R., Beniak E. Language contraction and linguistic change: The case of Welland French // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 287–312.

Mühlhauser 1974 – Mühlhauser P. Pidginisation and simplification of language // Pacific Linguistics. Series B, Vol. 26. Canberra: Australian National University. 1974.

Mullonen 2004 – Mullonen M. (toim.). Elettiinpä ennen Inkeris. Näytteitä inkerinsuomalasista murteista. Petroskoi, 2004.

Mustonen 1883 – Mustonen O.A.F. Muistoonpanoja // Virittäjä, 1883.

Mustonen 1931 – Mustonen J. Inkerin suomalaiset seurakunnat. Helsinki, 1931.

Muysken 2000 – Muysken P. Bilingual speech. A typology of code-mixing. Cambridge: CUP, 2000.

Myers-Scotton 2002 – Myers-Scotton C. Contact linguistics: Bilingual encounters and grammatical outcomes. New York: Oxford University Press. 2002.

Nikolaeva 2000 – Nikolaeva I. The Vocalic system of Udihe // Eurasian Studies Yearbook. Vol. 72. 2000. P. 113–142.

Nikolaeva, Perekhvalskaya 2001 – Nikolaeva I., Perekhvalskaya E. Udihe under Russian influence: Effects of endangerment on language grammar // Presentation at the Conference "Perspectives on Endangered languages", Helsinki, 2001.

Nikolaeva, Tolskaya 2001 – Nikolaeva I, Tolskaya M. A Grammar of Udihe // Berlin;New York: Mouton, 2001.

Nirvi 1971 – Nirvi R.E. Inkeroismurteiden sanakirja. Helsinki, 1971. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae; XVIII).

Nirvi 1978 – Nirvi R.E. Soikkolan äyrämöismurteessa // Virittäjä. 1978. №4 C. 45–54.
Nirvi 1981 – Nirvi R.E. Näytteitä inkeriläis-murteista. Helsinki, 1981. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 15).
Pallonen 1986 – Pallonen J. Moloskovitsan murretta. Helsinki, 1986. (Suomen kielen näytteitä, 26).
Parrott 2002 – Parrot J. K. Dialect death and morpho-syntactic change: Smith Island weak explicative it // University of Pennsylvania Working papers in linguistics. Vol. 8.3: Papers from NWAV 30. Ed. by D.E. Johnson, T. Sanches. 2002.
Pevnov 2004 – Pevnov A. M. Language endangerment: five generations of speakers and linguists // Lectures on Endangered Languages: 4 – From Kyoto Conference 2001 – (ELPR Publications Series C004). Osaka, 2004.
Poplack 1997 – Poplack S. The social linguistic dynamics of apparent convergence // Towards a social science of language: Papers in honor of William Labov, vol. II. Ed. by G. Guy, C. Feagin, D. Schiffrin, and J. Baugh. Amsterdam: Benjamins. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV: Current Issues in Linguistic Theory 128). 1997. P. 285–309.
Quested 1984 – Quested R.K.I. Sino-Russian relations. A short history. Sydney, 1984.
Reed, Jacobson, Miyaoka et. al. 1977 – Reed R., Jaconson S., Miyaoka O., Pascal A., Krauss M. Yupik Eskimo Grammar. Fairbanks: University of Alaska Press, 1977.
Romaine 1989 – Romaine, Suzanne. Pidgins, creoles, immigrant, and dying languages // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by N.C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 7). P. 369–383.
Romaine 1995 – Romaine S. Bilingualism, 2nd edition. Oxford: Blackwell, 1995.
Ross 1999 – Ross M. Exploring metatypy: How does contact-induced typological change come about? // Paper presented to the Annual Meeting of the Australian Linguistics Society, Peth. http://rspas.anu.edu.au/linguistics/mdr/Metatypy.pdf.
Sasse 1992 – Sasse H.-J. Language decay and contact-induced change: similarities and differences // Language death: Factual and theoretical explorations with special reference to East Africa / Ed. by M. Brenzinger. Berlin;New York: Mouton de Gruyter. (Contributions to the Sociology of Language 64). 1992. P. 59–80.

Savolainen 1998 – Savolainen H. Ethnology, museums and folk culture: views to the work of ethnologists in museums // Néprajzés nyelvtudomány. Vol. XXXIX. Szeged, 1998. P. 73–83.
Schlieben-Lange 1977 – Schlieben-Lange B. The language situation in Southern France // International Journal of the Sociology of Language. Vol. 12. P. 101–108.
Schmidt 1985 – Schmidt, A. Young people's Dyirbal. An example of language death from Australia. Cambridge: CUP, 1985.
Schmidt 1991 – Schmidt, A. Language attrition in Boumaa Fijian and Dyirbal // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991. P. 111–124.
Schmid et al. 2004 – First language attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues / Ed. by M. Schmid, B. Köpke, M. Keijzer and L. Weilemar. Amsterdam: John Benjamins. (Studies in Bilingualism 28). 2004.
Seliger 1991 – Seliger, H. W. Language attrition, reduced redundancy, and creativity // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991. P. 227–240.
Seliger 1996 – Seliger, H. W. Primary language attrition in the context of bilingualism // Handbook of second language acquisition / Ed. by W. C. Ritchie and T.K. Bhatia. San Diego: Academic Press, 1996. P. 605–626.
Seliger, Vago 1991a – First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991.
Seliger, Vago 1991b – Seliger H.W., Vago R.M. The study of first language attrition: an overview // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991. P. 3–16.
Smolicz 1992 – Smolicz, J. J. Minority languages as core values of ethnic cultures: A study of maintenance and erosion in Polish, Welsh, and Chinese languages in Australia // Maintenance and loss of minority languages / Ed. by W. Fase, K. Jaspaert and S. Kroon. Amsterdam;Philadelphia: John Benjamins. (Studies in Bilingualism 1). 1992. P. 277–306.
Thomason 1986 – Thomason S. G. Contact-induced change: Possibilities and probabilities // Akten des 2. Essener Kolloquiums zu Kreolsprachen und Sprachkontakten / Ed. by W. Enninger and T. Stolz. Bochum: Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, 1986.
Thomason 2001 – Thomason S. G. Language contact: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.

Thomason, Kaufman 1988 – Thomason, S. G. and T. Kaufman. Language contact, creolization and genetic linguistics. Berkley;California: University of California Press, 1988.
Thompson, Longacre 1985 – Thompson S. A., Longacre R.E. Adverbial clauses // Language typology and syntactic descriptions. Volume II: Complex constructions / Ed. by T. Shopen. Cambridge: CUP, 1985. P. 171–234.
Tosco 1992 – Tosco, Mauro. Dahalo: An endangered language // Language death: Factual and theoretical explorations with special reference to East Africa / Ed. by M. Brenzinger. Berlin;New York: Mouton de Gruyter. (Contributions to the Sociology of Language 64). 1992. P. 137–155.
Trudgill 1974 – Trudgill P. Sociolinguistics: An introduction to language and society. London: Penguin, 1974.
Trudgill 1983 – Trudgill P. On dialect. Social and geographical perspectives. Oxford: Blackwell. 1983.
Trudgill 1986 – Trudgill P. Dialects in contact. Oxford: Blackwell, 1986.
Trudgill 2002 – Trudgill P. Linguistic and social typology // The handbook of language variation and change / Ed. by J.K. Chambers, P. Trudgill, N. Schilling-Estes. Malden;Oxford: Carlton, 2002.
Tsitsipis 1998 – Tsitsipis L. D. 1998. A linguistic anthropology of praxis and language shift: Arvanitika (Albanian) and Greek in contact. Oxford: Clarendon Press, 1998.
Tsvetkov 1995 – Tsvetkov D. Vatjan kielen joenperän murteen sanasto, Helsinki, 1995.
Tsvetkov 1931 – Tsvetkov D. Vähäize iuttua vad'deлaisīss // Eesti Keel. 1925. S. 57–66.
Tsvetkov 1995 – Tsvetkov D. Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto. Helsinki,1995. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, XXV).
Udeghe 2002 – Udeghe (Udihe) folk tales. Ed. by I. Nikolaeva, E. Perekhvalskaya, M. Tolskaya (Tunguso-sibirica 10). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2002.
Udeghe 2003 – Udeghe (Udihe) texts. Ed. by I. Nikolaeva, E. Perekhvalskaya, M. Tolskaya. Kyoto: Endangered Languages of the Pacific Rim Publications, 2003.
Vääri 1975 – Vääri E. Verbalaffixe im Livischen // Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars 1, Tallinn, 1975. P. 395–397.
Vadja keele sõnaraamat 1990 – (Словарь водского языка) / Ред. Э. Адлер, М. Леппик. Таллинн, 1990.

Vago 1991 – Vago R.M. Paradigmatic regularity in first language attrition // First Language Attrition: theoretical perspectives / Ed. by. H. Seliger, R. Vago. Cambridge: CUP, 1991. P. 241–251.
Vakhtin 2005: Vakhtin N. Two approaches to reversing language shift and the Soviet publication program for indigenous minorities // Etudes Inuit Studies. Vol. 29, No 1–2. 2005. Pp. 131–147.
Van Engelenhoven 2003 – Van Engelenhoven A. Language endangerment in Indonesia. The incipient obscolescence and structural death of Teun, Nila and Serua (Central and Southwest Maluku) // Language death and language maintenance: Theoretical, practical and descriptive approaches / Ed. by M. Janse and S. Tol. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV: Current Issues in Linguistic Theory 240). 2003. P. 49–80.
van Kleef 1988 – van Kleef S. Tail-head linkage in Siroi // Language and Linguistics in Melanesia. Vol. 20. 1988. P. 147–56.
Virtaranta 1953 – Virtaranta P. Näytteitä Inkerin murteista Koprinan, Iisaron ja Siiverskan kylistä // Virittäjä. 1953. S. 384–405.
Virtaranta 1955 – Virtaranta P. Näytteitä Inkerin murteista Narvusin, Fyödromaan, Ropsun ja Kurkulan kylistä // Virittäjä. 1955. S. 41–70.
Weinreich 1953 – Weinreich U. Languages in contact: Findings and problems. The Hague: Mouton. 1953.
Weltens et al. 1986 – Language attrition in progress / Ed. by B. Weltens, K. De Bot, T. Van Els. Dordrecht: Foris Publications. 1986.
Williamson 1991 – Williamson R.C. Minority languages and bilingualism: Case studies in maintenance and shift. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1991.

Указатель языков, упомянутых в книге

В данный список внесены языки, упомянутые в статьях сборника, относительно которых имеются данные, что они находятся на той или иной стадии сдвига. В список не включены упоминания доминирующих языков (английского, русского, китайского и др.). Каждая статья списка дает через запятую русское и латинское название языка, его генетическую принадлежность, ареал распространения, в скобках – тот источник, на который ссылается автор статьи либо сокращение ПМА – "полевые материалы автора", и после двоеточия – курсивом фамилию автора статьи или статей, в которой (-ых) встретилось упоминание данного языка.

Шошитайшвили 1997; Муслимов 2005, ПМА): *Викторова, Кузнецова, Агранат, Муслимов*

греческий, Greek, индоевропейский, Греция (Thomason, Kaufman 1988, Sasse 1992): *Груздева 1*

гэльский (шотландский), Gaelic (Scottish), кельтский, индоевропейский, Шотландия (Dorian 1973, 1977, 1981, Sasse 1992): *Груздева 1, Викторова*

дахало, Dahalo, кушитский, афразийский, Кения (Tosco 1992): *Груздева 1*

дирбал, Dyirbal, пама-ньюнга, Австралия (Schmidt 1985, 1991): *Груздева 1, Викторова*

ижорский, Izhorian, прибалтийско-финский, финно-угорский, уральский, РФ, северо-запад (Пальмеос 1982, ПМА): *Агранат, Муслимов*

каннада, Kannada, дравидийский, Индия (Muysken 2000): *Груздева 1*

каюга, Cayuga, ирокезский, Канада, США (Mithun 1989): *Груздева 1*

кечуа, Quechua, кечуанский, Южн. Америка (Muysken 2000): *Груздева 1*

кили, Kili, (кур-урмийский д-т нанайского) тунгусо-маньчжурский, РФ, Дальний Восток (Суник 1958): *Певнов*

конкани, Konkani, индоарийский, индоевропейский, Индия (Muysken 2000): *Груздева 1*

корафе, Korafe, бинандерийский, трансновогвинейский, Папуа Новая Гвинея (Farr 1999): *Гренобль*

коре, Kore, диалект маасай, нило-сахарский, Кения (Dimmendaal 1992): *Груздева 1*

корнский, Cornish, кельтский, индоевропейский, Великобритания (Mesthrie 1994): *Викторова*

ливский, Liv, прибалтийско-финский, финно-угорский, уральский, Латвия (Вяари 1966, Vääri 1975): *Агранат*

малайский, Malay, западнозондский, малайско-полинезийский, австронезийский, Индонезия (Bowden 2002): *Груздева 1*

медиа ленгва, Media Lengua, смешанный кечуа-испанский, Эк-

вадор (Muysken 2000): *Груздева 1*

мэнкский, Manx, кельтский, индоевропейский, о-в Мэн, Британские о-ва (Broderick 1999): *Груздева 1*

негидальский, Negidal, тунгусо-маньчжурский, РФ, Дальний Восток (ПМА): *Певнов*

нивхский, Nivkh, палеоазиатский, Россия, Дальний Восток (Gruzdeva 2002; ПМА; Крейнович 1932; Панфилов 1961): *Груздева 1, Викторова, Груздева 2*

нила, Nila, юго-западный молуккский, малайско-полинезийский, австронезийский, Индонезия (Van Engelenhoven 2003): *Груздева 1*

норвежский, Norwegian, германский, индоевропейский, США (Mesthrie 1994): *Викторова*

окуилтеко, Ocuilteco (Tlahuica), отопамский, отомангский, Мексика (Campbell, Muntzel 1989): *Груздева 1*

орочский, Oroch, тунгусо-маньчжурский, РФ, Дальний Восток (Аврорин 1975): *Певнов*

пипил, Pipil, юто-ацтекский, Сальвадор (Campbell 1985, Campbell, Muntzel 1989): *Груздева 1*

помо центральный, Central Pomo, хокальтекские, США, Мексика (Mithun 1990): *Викторова*

селькупский северный, Northern Selkup, самодийский, уральский РФ, Западная Сибирь (ПМА): *Кузнецова*

серуа, Serua, юго-западный молуккский, малайско-полинезийский, австронезийский, Индонезия (Van Engelenhoven 2003): *Груздева 1*

сирои, Siroi, кабенау, мадангский, трансновогвинейский, (van Kleef 1988): *Гренобль*

суахили, Swahili, банту, нигеро-конголезский, Вост. и Центр. Африка (Tosco 1992): *Груздева 1*

таба, Taba, южнохальмахерский, малайско-полинезийский, австронезийский, Индонезия (Bowden 2002): *Груздева 1*

тайап, taiap, сепик-раму, Папуа Новая Гвинея (Kulick 1993): *Викторова*

тасманийский, Tasmanian, о. Тасмания (Mesthrie 1994): *Викторова*

теун, Teun, юго-западный молуккский, малайско-полинезийский, австронезийский, Индонезия (Van Engelenhoven 2003): *Груздева 1*

турецкий, Turkish, тюркский, Турция (Dawkins 1916) *Груздева 1*

удэгейский, Udeghe, тунгусо-маньчжурский, РФ, Дальний Восток (ПМА; Nikolayeva, Tolskaya 2001; Шнейдер 1936): *Перехвальская*

финский, Finnish, прибалтийско-финский, финно-угорский, уральский, РФ, северо-запад (Хакулинен 1953, ПМА): *Агранат, Муслимов*

эвенкийский, Evenki, тунгусо-маньчжурский, РФ, Дальний Восток (СРТ 1975; ПМА): *Певнов, Гренобль*

энецкий, Enets, самодийский, уральский, РФ, Западная Сибирь (ПМА, Терещенко 1966; ЭРС 2001): *Хелимский*

эскимосский инуит, Inuit, эскалеутский, Аляска (Hallamaa 1996): *Викторова*

эскимосский юпик, Yupik, эскалеутский, Чукотка и Аляска (Богораз 1949; Меновщиков 1967; Меновщиков, Вахтин 1990; Jacobson 2001; Reed et al. 1977; Miyaoka 1984): *Вахтин*

эстонский, Estonian, прибалтийско-финский, финно-угорский, уральский, РФ, северо-запад (ПМА): *Муслимов*

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
СПб., ул. Розенштейна, д. 21
тел./факс: (812)622-01-23
e-mail: manager_nestor@list.ru